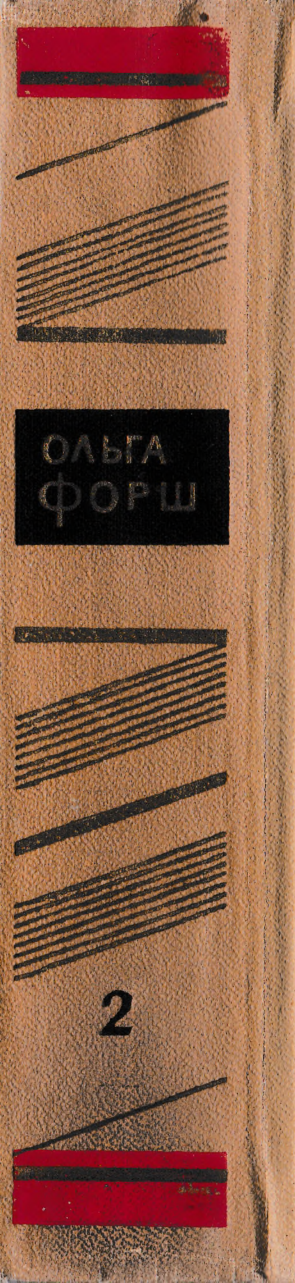


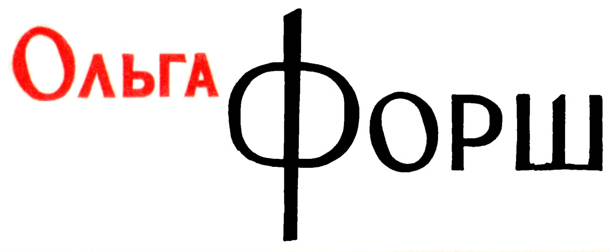
Ольга Форш

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Государственное издательство
Художественной литературы
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1962





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
2

СОВРЕМЕННИКИ

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

Государственное издательство
Художественной литературы
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1962

Примечания

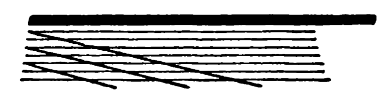
А. В. Тамарченко



О. Д. ФОРШ

1927 год

СОВРЕМЕННИКИ



ГЛАВА I

ФЛАКОН БОРДЖИА

Есть сумерки души во цвете лет.

Лермонтов.

— Он помнит вас, Глеб Иваныч; столь заметлив, да чтоб позабыть.

— Да притворяться-то что за расчет?

— А таракан-с, Глеб Иваныч? Таракан, особливо черный, чуть не по нем, сейчас — хлоп, и в мертвом виде-с! Вот и он с вами: моя, дескать, хата с краю, — украинская наша замашка.

Багрецов в упор глянул на Пашку-химика, встретился, как всегда, не с глазами его, убежавшими куда-то в кусты, а с бровями, черными и вихлявыми, как пиявки, и сказал:

— Ты-то сам с каких пор украинец? Помнится, был поляк, потом чех. Вральман ты, Пашка, неизвестного возникновения и темной профессии.

— Шехеразадой сами прозвали-с, — хихикнул Пашка. — А ведь привилось прозвище, Глеб Иваныч, даже овербековцы с горы, на што постники, и те кличут:

Шехеразада! Что же, Глеб Иваныч, выходит — у меня с князем тьмы один формуляр-с: неизвестность возникновения и темнота профессии. Однако сей образ неплохо воспет... сам лорд Байрон или наш Лермонтов, из-за которого, Глеб Иваныч, весь разброд вашей фортуны пошел, вплоть до «флакона Борджиа»...

Багрецов дрогнул, побледнел, на миг замер и так врылся в землю, словно ему следующий шаг был бы в пропасть. Пашка остро сверкнул очень умными глазами, но тут же потушил блеск и, будто не заметив волнения Багрецова, обыкновеннейшим тоном сказал:

— Сущие пустяки, Глеб Иваныч, сплошной бред в вас влюбленной приезжей барыньки. Старинная вам знакомая живет инкогнито у Карагиных. Я разговорчик слыхал, ведь при мне, что при лошади, — не стесняются!

Багрецов оправился, даже улыбнулся, взял Пашку под руку, пошел с ним в глубь широкой аллеи каштанов.

— Расскажи про инкогнито, — уронил он небрежно.

— Ручку освободите, Глеб Иваныч, в ногу с вами нам все равно не попасть, ведь я поменьше калибром-с, хе-хе...

Пашка нагло глянул на спутника. Веки Багрецова были опущены, лицо приняло вид обычного бесстрастия. Он, видимо, сдерживался.

— В декабре, как вы знаете, будет в Рим высочайший приезд. Так вот из свиты его величества заблаговременно уже приехала жена одного адъютанта, вам до брака знакомая-с, фамилии не разобрал, но подруга княжны Карагиной. С ней при мне и совет был по слу-

чаю маскарадных костюмов. «Я, говорит, хочу нарядиться флаконом с надписью «флакон Борджиа», и пусть все с Багрецова глаз не спускают. Держу пари — вздрогнет он и побледнеет как смерть. Ну, тогда я кое-что про него расскажу...» Женская глупость, Глеб Иваныч, не иное. Вот я вам рассказал, а вы решительно ничего-с, разве что под ручку взяли, впервые меня удостоили-с за промежуток немалых годков-с, хе-хе...

Багрецов в бешенстве бросился к Пашке, схватил его за плечи, но тут же осекся, выпустил и молча сел на скамью.

— Вы ошиблись, Глеб Иваныч, — сказал без шутовства Пашка, — я вам вовсе не враг.

Однако рядом не сел, а продолжал речь, стоя у дерева:

— И последний разбойник, Глеб Иваныч, имеет свои увлечения. А я умнее вас никого не встречал, уж не отторгайте-с. А беспокойство от женской дури теперь вам какое же? Благодаря мне о главной козни вам все известно, так что в неудобное положение вы не станете. Остается инкогнито разъяснить — это тоже обдумано-с. С той недели княжна Карагина с этой новой своей другиней в развалине форума рисовать собирается, вы же утречком сходите и накроете. Нет, Глеб Иваныч, я вам друг и союзник всегда-с.

— Довольно об ерунде, — оборвал Багрецов. — Мне до Гоголя дело, Гоголь меня рассердил, а ты с сплетнями... Да что ты стоишь-то, сядь рядом, ведь не убью.

— Помилуйте, Глеб Иваныч, — заегозил Пашка, — я довольно сам понимаю, что несоизмерим интерес ваш к персонажу, так сказать, отечественно-гениальному

или к некоей жене адъютанта, хотя бы вам с детства знакомой...

— Мне помнится, — сказал Багрецов, — тогда, в именинный обед, старика Аксакова в погодинском саду не было?

— Вот память-то! Истинно, не было. Старик заболел флюсом, прислал одного Константина. А ведь правда, Глеб Иваныч, сколько б народу ни нашло, Аксаковы, как шмели между пчел, всех слышней? Не любили вы их!

— Старику я завидовал, — сказал Багрецов, — он был моложе нас, молодых, полон здоровья и особой, коровьей силы — от скотного, что ли, двора? Знай удит свою рыбу и набирается...

— А с Гоголем, Глеб Иваныч, ведь совершенно как в басне «Пустынник и медведь»! Кто голосистей кричал: «У написавшего «Ревизора» нервы нам не чета, его общим судом не судить...» А сам-то дубиною — хвать! Как же-с, я своими глазами видал, как он Гоголя, совершенно больного, убегавшего от рева публики, тащил опять на эстраду, и корил, и пенял — все любя-с. А едва друзья разгласили о некоей его хлестаковщинке с чинопроизводством...

— Ты зарапортовался, — осадил Багрецов.

— И вот нет, Глеб Иваныч, ей-ей, после выпуска «Вечеров», проездом через Москву, Гоголь на заставе прописался не коллежским регистратором, а чином много повыше-с — коллежским асессором! Так и в «Московских ведомостях» я самолично прочел. И отметил-с.

— Да не для себя же, дурак, — для ослов, столь им гениально воссозданных...

— Как знать, Глеб Иваныч. Гений — тот же человек, хоть диапазона-с несоизмеримого. Впрочем, я держусь мнения: *кто всему знает цену, тот и сам может делать все-с!* А вы как, Глеб Иваныч?

И, не ожидая ответа, Шехеразада встал.

— Мне некогда, Глеб Иваныч, — делишко-с. Разрешите уйти. Ужо после обеда, в остерии Лепре, я весь ваш.

— Иди себе, — махнул рукой Багрецов и, проводив глазами егозливый облик Пашки в нелепом халате отечественного происхождения, глубоко задумавшись, остался сидеть на скамье.

Да, именинный обед в погодинском саду был Багрецову особенно памятен. В тот день игрою судьбы дан был толчок его воле на так называемое *черное дело.*

В тот день много пили, ели, говорили тосты. Гоголь был чопорно натянут — казалось, он в какой-то собственной пьесе играет «хозяина дома». И нарочно волнуется, все ли в порядке, все ли как «у людей».

После обеда в саду он сам варил жженку, и когда легкое пламя охватило сахар, сказал, объединяя синий тон огня с синевою жандармских мундиров:

— А нуте-ка, принимайте в желудок своего Бенкендорфа!

Гоголь сам подал бокал одному гусарскому офицеру, который, если бы не форма, заметная среди большинства штатских, не показался бы Багрецову ничем замечательным. Он был безмолвен и не искал выделиться. И немало были все удивлены попозднее в саду, под сенью лип, когда большинство гостей разбрелось по аллеям и Гоголь, обратясь к этому бледноватому офицеру, сказал вдруг с необыкновенной лаской:

— А нуте, Михаил Юрьевич, скажите-ка нам из «Мцырей», народу поредело.

Да, офицер этот был Лермонтов. Он тотчас, просто и естественно, не заставляя просить себя, вышел перед всеми и прислонился к стволу дерева. Оглядывая всех и никого не видя вдруг вспыхнувшими огромными глазами, он начал отрывисто и глухо, будто невольную жалобу:

Я мало жил, и жил в плену...

Багрецов вспомнил, как пронзительно и внезапно полюбил его. Вспомнил, как Лермонтов открылся ему в необычайной нежности и простоте, как понял он, что все грубое и плохое, о чем кругом про него говорили, была лишь защита человека, *иного, чем все, для возможности жить между всеми.*

Проскрипел, как тогда, прямо в ухо, голос Пашки-химика, — он пришел тоже с группой украинцев:

— Этот Лермонт невиннее всех великих людей-с, недаром и демон его, как девушка, верует в бога!

А с другой стороны рядом Гоголь...

Гоголь стоял, руки в карманы, больше сгорбившись, чем обычно, длинные волосы его упали прямою стеною, срезав навкось к подбородку круглое лицо, отчего нос вытянулся еще непомернее и заострился. Он как бы слушал еще некоторое время после того, как Лермонтов кончил, и, не дожидаясь оценки, укрылся в глубь сада.

Волнение Багрецова было чрезмерно. Он получил последний, недостававший его воле толчок. На что именно — он еще не знал. Одно он почувствовал: *совершу!*

Но тут же, испугавшись себя самого, он неудержимо потянулся к Гоголю, как к старшему, к учителю, к отцу... Вдруг поверил: он угадает, придет на помощь. Преодолевая обычную застенчивость, Багрецов тронул Гоголя дрожащими пальцами за руку и сказал:

— Николай Васильевич... эти стихи как порох! Ведь они могут взорвать; как же мне быть?

Он не кончил. Гоголь обернулся весь, кругловатым лицом. Багрецов навеки запомнил лицо. Необыкновенное. В профиль выраженное носом без меры, оно, склонившись в улыбке, с тончайшим лукавством приподнявшей подстриженный ус над полноватой губой, вдруг все засияло в глазах. Небольшие, острые, они прощупали всю подноготную, на миг вобрали в себя и тут же сплюнули, как плюют шелуху подсолнуха.

— А ты себе, хлопче, взорвись! — хватил Гоголь и припечатал по-украински крепчайшей печатью. Кругом так и грохнули смехом.

Багрецов и сейчас, через десять лет, покраснел. Он вспомнил, как вдруг, по-детски, совсем глупо вспыхнув, сказал Гоголю:

— Это грех, это грех...

Чуть не плача, он в тот же миг кинулся прочь из сада к себе на Васильевский. Пашка-химик теперь божится, будто Гоголь тогда потускнел и раза два с тревогой произнес:

— Ишь какой... недотрога...

После этого Николина дня неделю тому назад встретились здесь, в Риме, в остерии Лепре. Александр Иванов, старый одноклассник, назвал Гоголю Багрецова. Гоголь глянул сонно, пренебрежительно сунул руку, мертвую, без рукопожатия.

Багрецов встал со скамьи. Пока он тут сидел то в отупении всех чувств, то переживая вновь бывшее, быстрые итальянские сумерки сменились ночью. На синее небо томительно вышла луна, застрекотали цикады. Из-за акведука Клавдия мужской голос, аккомпанируя себе на лютне, то выводил арию, то срывался, разражаясь по-итальянски целым фонтаном отборнейшей ругани.

Багрецов сказал maestro di casa [1] не пускать к нему никого и, пройдя в свою комнату, на ключ запер дверь, спустил на окна зеленые жалюзи. Потом он отпер дорожную шкатулку и отобрал из нее одну из переплетенных тетрадок.

Как просвещенный современник Евгения Онегина и Печорина, Багрецов, подобно «герою нашего времени», для беседы с собою исписывал тонким почерком не одну десть бумаги.

Найдя место, в подробностях воскрешавшее то, что сегодня забыть уже не было силы, он стал читать:

«...Я ехал полями и перелесками нашей губернии, безлюбовно узнавая родные места; я ненавидел свое детство. Чудовищный эгоизм отца пожрал мою юность, разбил нервы, изуродовал навсегда, сделав неспособным к действительной жизни.

Прошло много лет, как я отсюда выехал в Петербургскую Академию, но при виде белого, в колоннах, хотыновского дома встало предо мной все, что было. Бессонные ночи, зеркальный паркет залы с двойным светом, хождение под руку с отцом до восхода. Встали воскрешенные бессонницей, обилием выпитых рюмок

[1] Хозяину дома *(итал.)*.

призраки войн, походов, путешествий по Европе, лекций по истории, по конским заводам, игре в рулетку — все вперемежку, как придется.

Эти путешествия безумного старика с подростком продолжались до тех пор, пока легко розовело и расступалось небо, чтобы принять юное солнце, пока не появлялся в строгом фраке, с почтительным зовом, лакей Илья:

— Пожалуйте в ванную, Иван Никитыч!

Отец не сек людей; не продавал в розницу, даже не терпел, чтобы его звали барином, но все это не от гуманности, а лишь от брезгливости умного человека с европейским развитием. По своему непомерно строптивому нраву он себе испортил большую карьеру, заперся в деревне, ушел в книги.

Восхищенный моей быстрой сметкой, он облюбовал меня для ночных разговоров. Сначала мне это было лестно, но вскоре я изнемогал уж под бременем яростных впечатлений и сложнейших взаимоотношений мира. Впрочем, я кончил тем, что втянулся, отравившись безграничностью воображения. Больше того — фантазия, развитая за счет других сил души, навсегда меня сделала чувствительным только к острому и необычному.

Днем, как и отец, я спал до сумерек, потом шли занятия, потом бессонная ночь. Так перевернуто, неслыханно для здорового деревенского быта прошла моя ранняя юность. Вероятно, к годам двадцати я просто спился бы, не вмешайся тут моя тетка, такая же крутая, как батюшка. Тетка, узнав о моих способностях, поместила меня своекоштным в Академию в Петербург. По тогдашнему времени это было просто чудачество:

в художники шли кантонисты, мещане, в лучшем случае сыновья живописцев. В нашем классе я был один потомственный дворянин. Отец и тут рад был случаю поступить не как все...»

Багрецов бегло просмотрел унылый ряд лет, где полуневежественные учителя отличались один от другого лишь тем, что у каждого была своя манера драться, где ученики, полуголодные, одичалые, ложились в холодных дортуарах с чадной лампой, чтобы на рассвете, вскочив по звонку, начать новый день, подобный вчерашнему.

«...В эти опасные годы пробуждающегося сознания один замечательный человек, пейзажист Рабус, имел для меня решающее значение. Квартира его представляла из себя целый музей. Он интересовался всеми отраслями знания: прекрасная библиотека, модели военных кораблей, обсерваторийка, устроенная на крыше собственного дома. И все это кроме живописи, которой он предан был совершенно. Да, Рабус дал мне впервые постичь, насколько наслаждения умственные богаче всех прочих. Впрочем... это познание пошло мне, пожалуй, не к добру.

Рабус необыкновенно пленил меня. В серой академической жизни это был первый человек — не узкий специалист, а широкой европейской хватки. И я поставил себе задачу — стать таким же. Это для начала... дальнейший мой план был иной. Уже давно я не жил только живописью, моя мысль работала. Меня увлекала история иных, свободных народов; мне была невыносима забитость понятий и чувств, в которых нас держали насильственно. Но средств для широкого образования у меня не было. А для того, чтобы получить

наивысший здесь жребий — заграничную поездку, — мне надлежало, задушив все прочие мысли, работать на конкурс по двенадцати часов в сутки, подделываясь под вкусы начальствующих.

Необыкновенные обстоятельства пришли на помощь моей жажде широкого знания. В последнем классе я получил от отца эстафету и, теряясь в догадках, поехал после многих лет домой.

Я нашел отца очень постаревшим. Вокруг были незнакомые мне приживальщики из мелкопоместных дворян, экономка из немок. Родных детей никого: почему-то отец вызвал только меня.

Встретил с ласкою необычной, увел к себе в кабинет, весь день все расспрашивал, как бы экзаменовал.

Поначалу я отвечал нахохлившись, готовый к отпору, но отец проявил столько просвещенного интереса по разным вопросам, что я, вдруг утратив чувство отчуждения, стал сверкать смелыми парадоксами, предвосхищая открытия в науке, создавая новую живописную школу.

Как скоро пришлось мне раскаяться в моей искренности!

Вечером старик призвал меня в свой кабинет, закрыл двери, сказал:

— Экзаменом, который я тебе произвел, я доволен весьма. Вижу, что задуманное мною для твоей дальнейшей судьбы задумано с умом и подлежит выполнению. Слушай: имений своих я, как ты знаешь, не прибавил, а значительно пропустил. Детей и внуков у меня до полсотни, дураков не обобраться, лишь у тебя и характер и ум. Приятно поражен и расположением твоим

к европейскому ходу жизни. А посему вот: наследства я тебя лишаю вовсе, в пользу тех, дураков...

Отец остановился и, любопытствуя, глядел на меня. Я молчал, полагая, что старик заговаривается или ломает каприз.

Он угадал.

— Я в своем уме, и преостерейшем, что тебе сейчас докажу.

Он отпер ящик и по толстой слоновой бумаге стал читать длиннейший реестр движимого и недвижимого.

— Ну, это до завтра не кончить! Словом, на твой век довольно. Это не что иное, как приданое твоей будущей жены, княжны Котовой.

Я, впадая в тон затеянной отцом с неизвестной мне целью интриги, сказал небрежно:

— Кто же это без моего ведома меня сосватал?

— Я сам, — сказал отец. — Невесту я примерял как бы для себя, вообразив себя в твоих летах и в твоем положении. Мы ведь необыкновенно с тобой сходствуем. Если не пожелаешь противопоставить ложного самолюбия, не замедлишь во всем согласиться. Вот слушай, держа в руках этот портрет.

Отец передал мне дагерротип, изображавший молодую женщину, худощавую, с чертами резковатыми, с черными глазами, с печатью грусти на всем гибком ее существе.

— Сплошное разбитое сердце, — сказал я. — И это героиня?

— Она грустила после измены недавнего жениха, который предпочел ей еще богатейшую. Но дело было уже год назад, сейчас снова весна. Жизнь вступает в свои права. По гордости княжна любит утверждать, что

личное счастье ее кончено, что теперь она выйдет замуж лишь из самоотвержения. Преотличная женская разновидность, и к тому же не болтлива! Сейчас у нее особая склонность к исправлению павших: возится с ворами и пьяницами. Я этот пыл ее верно учел; на приманку клюнет... Она тебя старше годков на пять, что совершенная ерунда. В швейцарских кантонах испокон века каждая жена старше своего часовых дел мастера, что не мешает Швейцарии славиться отменной семейственностью. Тебе ж такая жена — просто клад для качеств обратных. Ты в меня — посуди, каков будешь семьянин? Полагаю, для тебя уже не секрет, что так называемая любовь не для умных людей. Умному не забыть ни из-за чьих милых глазок: один человек рождается, один помирает! Что же до мгновенных вспышек страстей, воображения, сердечного чувства и просто каприза или похоти, то удобнее всего производить их при постоянной жене такого именно типа, как княжна. В придачу повторяю: родовита, богата и — важнейшее — малословна.

— Но она чего ради пойдет за меня?

Отец хитро улыбнулся.

— Я изобразил ей тебя совершеннейшим негодяем с проблеском сердечного чувства, которое, будучи отогрето умелой рукой, даст прекраснейший урожай. Натурально, княжна возгорелась спасать. Дагерротип твой я ей показал невзначай. О том, что ты недурен, тебе нечего разъяснять. У княжны оскорбленное самолюбие, здесь глушь.

— Словом, вы затеяли упражнение произвольного спаривания? — сказал я не без яду.

— Если бы к этому способу спаривать юное поколение прибегали с умом их родные, человечество было бы много счастливее. Скрытая жизнь страстей — бездна, кишащая чудищами, из коих каждому легко тебя проглотить. Не удобнее ли проделывать сии эволюции, держась за канат, который в случае чего всегда может вытянуть в безопасность.

Я расхохотался. Мы с отцом обнялись...

Отец сказал:

— Математические принципы и в жизни самые достоверные, на них надлежит строить историю не только отдельного рода, но всего человечества. Если две величины порознь равны третьей...

Каким способом установлена была связь между этой формулой и необходимостью моей женитьбы на Котовой — я уже не слыхал.

Давно соблазненный тончайшей отравой опасных для юности чар развратников XVIII века из подобранной отцом библиотеки, я уже торопился к себе, чтобы обдумать план действий, речи, костюм.

Ведь, кроме занятной игры, предо мной раскрывалась с женитьбой свободная жизнь, поездка в Италию — словом, все то, о чем злобно мечталось как о недоступном.

Одевшись к лицу, но небрежно, с миной поэтического негодяя, я сошел вниз к обеду, где представлен отцом был княжне, приехавшей вместе с теткой, прескучной старухой. Княжна оглядывала меня горящими от любопытства взорами, наконец первая завела разговор о мастерах старой школы. При отъезде я был приглашен к ней на завтрак в имение.

Начатое по программе сближение пошло вдруг само собою. Я не был влюблен, но Марья Юрьевна ко мне действительно подходила, обладая характером нежным, живущим в собственных мыслях. Очень скоро я мог быть с ней даже вполне откровенен. В расчете избавить себя от грядущих сцен ревности, я готовил ее к своей непригодности для прочной семейственной жизни, на что она очень мило сказала:

— Умные жены ревнуют молча.

Скоро отец справил свадьбу со всею возможною в деревне роскошью. Мы уехали в Петербург.

Академию я бросил. Прекрасно обставив квартиру, пустился жадно расширять свои знания, чем еще больше пленил свою жену, отчаянную домоседку.

Помню, в Академии, когда я сказал Александру Иванову о перемене своего положения, особенно о том, что я женюсь,— он изменился в лице и с испугом спросил:

— А как же с заграничной поездкой? Ведь женитьба тебя по закону лишает...

Я снисходительно улыбнулся и, как разбогатевший лакей, отпустил:

— Я теперь довольно богат, чтобы ехать в Италию на собственный счет!

Иванов побледнел еще больше, так что я подхватил его, боясь, что он упадет. Как ни знал я его подверженным сильному чувству дружбы, подобное волнение приписать лишь одной перемене в моей личной судьбе я не мог.

В одну из суббот у Рабуса я понял все.

Когда вместе с отцом, музыкантом Гюльпеном, вошла его дочь, прелестное легкое существо, Иванов так вспыхнул, что сомнений быть не могло. Он влюблен.

Больше того — я тут же узнал от товарищей, что он хочет на ней жениться, но Академия лишала женатых поездки, и перед ним встал роковой выбор: искусство или личное счастье? Италия, дивные мастера, совершенство в развитии дарования или... Пример был перед глазами: родной отец. Талантливый, нежный, запуганный вечной зависимостью, ради семьи забивающий педагогикой свободное творчество.

Весь этот год Иванов колебался и страдал до нервического расстройства. Однако при твердой поддержке Рабуса он отказался от брака с дочерью Гюльпена и всего себя отдал безвозвратно искусству. В половине июня тридцатого года мы его наконец проводили в заграничную поездку.

— До скорой встречи, счастливец, — сказал он мне, намекая на то, что я против него вдвойне взыскан фортуной, и прибавил, поникнув:

— О, горе художнику, рожденному нищим! Нищета нас лишает свободы.

Да, я знал это слишком хорошо, когда шел на сделку, предложенную отцом. И первой наградой этой мною добытой свободы будет поездка в Италию. Мы с женой порешили — через год. Но в жизни не то, что в мечтах.

Через полгода после свадьбы умер внезапно отец. По завещанию оказалось, как он мне и сказал, что я, женившись на богатой, им исключен из числа сонаследников. Отец оставил мне лишь свою библиотеку развратников XVIII века.

В этот день, как выражаются повествователи, появилась первая черная туча, предвозвестница жестокой грозы на моем супружеском горизонте.

Узнав о завещании отца, моя благоразумная жена улыбнулась лукаво и произнесла:

— А ведь при всем уме твой отец и не понял, что я его перехитрила. Сейчас, когда мы так счастливы, я раскрою тебе свою тайну. Я отлично видела, как отец твой готовил меня тебе в жены. Я любовалась его стариковским прехитрым маневром и с охотой пошла ему навстречу, увидав твой портрет. Но, признаться тебе, я тебя не любила. Горько оскорбленная в своем поруганном юном чувстве, я к браку влеклась лишь потребностью материнства. Уверившись в твоих качествах, я остановила на тебе свой выбор; за корысть я тебя не корю. Мы квиты. Мы взаимно, по разным соображениям, но сыграли одну и ту же роль. Тебе выгодной показалась такая жена, как я, ты мне подошел как отец моих грядущих детей. Но теперь, когда первенец наш должен явиться, я тебя люблю, милый друг, от души.

Я сидел за большим рисунком, скрывавшим лицо и помогшим скрыть мое бешенство. Жена, растроганная своей длинной тирадой, оставила работу, поцеловала меня, охватив руками мне голову.

Я остался сидеть как окаменелый. Ничего особенного не было сказано, а предо мною разверзлась бездна, в которую, знал я, неминуемо полечу. Мы с отцом думали, что распоряжаемся наивной женщиной, а она в свою очередь распорядилась мною, определив меня себе в производители.

И я вспыхнул внезапной ненавистью к ней и к этому, ни на что не нужному, первенцу. Я был слишком молод, к тому же я предчувствовал и дальнейшее... в чем не замедлил удостовериться на другой же день.

В такой же вечерний час, когда жена в маленьком будуаре шила что-то из детского приданого, я ей сказал:

— А ведь, пожалуй, пора нам подумать о подыскании кормилицы, я надеюсь, появление ребенка не задержит назначенный отъезд наш в Италию?

— Мой милый, — чуть хмурясь, сказала жена, — я посторонней женщине свое сокровище не отдам, поездка же будет зависеть от здоровья ребенка. — И, пытаясь смягчить слова улыбкой, с отвратительным мне доктринерством промолвила: — Привыкай к мысли, что детям в нашей семье принадлежать будет первое место!

Она говорила как человек, имеющий в своих руках всю власть, говорит другому, зависящему от нее всецело.

— Я не люблю отступать от задуманного, — возразил я с твердостью. — Надо привести в ясность урожай с твоей Пустоши и, если окажется недохват, поторопиться с продажей, чтобы нам хватило жить на два дома.

Жена встала. Со свойственным ей тактом, уже не подходя ко мне, а направляя шаг к двери, остановилась.

— Милый мой, раз навсегда... я не желаю что-либо продавать, считая своим долгом передать в наш род все угодья в том виде, как их получила сама.

Она очень естественно вышла. Мое бешенство не имело границ. Лишенный своей части в наследстве отца, я был теперь нищим. Между тем в расчете на средства я порвал с Академией и уже избаловался роскошью. Но что же мне предстояло теперь? Смотреть из рук женщины в награду за то, что я, как в экономиях жеребцы,

выбран ею на завод? Ее упоминанием о детях уже во множественном числе гнусно подчеркивалась эта моя роль специального производителя.

Характер у Марьи Юрьевны оказался твердый, с дьявольской выдержкой. Все женственно-милое, что раньше она выдвигала приманкой, с беременностью отошло.

Теперь предо мною стоял равносильный боец, с тем преимуществом, что он был вооружен, а я нет. Мне оставалось превзойти ее хитростью, на что я и пошел. Еще сам хорошенько не зная конечной своей цели, усилием воли скрывая злобу, я необыкновенным вниманием к ее положению восстановил поколебленное было доверие.

Но вот жена моя заболела, домашний врач настоял на осмотре ее знаменитостью. Тот объявил, что роды жене моей будут смертельны вследствие каких-то больших уклонений, и предложил произвести их искусственно и преждевременно. Жена, охваченная психозом материнства, не хотела и слышать об операции, где наверное спасалась только она, тем более что другая знаменитость города, враждебная первой, сумела убедить ее в благоприятном исходе, с сохранением жизни доношенному ребенку.

Почти без усилий мне удалось расположить жену к себе в такой мере, что она написала духовное завещание, где все имущество оставляла ребенку, делая меня его пожизненным опекуном. Через несколько дней, в минуту особенно горьких предчувствий, она прибавила и роковую последнюю строчку: «В случае смерти ребенка наследником всего движимого и недвижимого является мой муж...»

Как это ни удивительно, мысль добыть яд зародилась у меня впервые тогда, в Николин день, на именинах у Гоголя.

Тот заряд энергии, тот зов к свободе, который большой поэт заключил в алмазный стих «Мцыри», коснувшись меня, сосуда грубейшего, лишенного музыкального строя души, явился толчком лишь на то, чтобы разрядиться в преступлении.

Я мало жил, и жил в плену...

До боли острая, стрелой пронзающая жажда свободы, до потемнения в глазах и мозгу... О, почему Гоголь не понял меня!

Но он не понял. И вот одно имя, как вспыхнувшие тогда в темноте именинные шкалики, одно имя огнем в черном мраке души:

Амичис ди Гамма!

Я боролся два дня, на третий пошел. Амичис был просто Андрей Иванович Гамов, брат одного нашего ученика, влюбленный в эпоху Возрождения. Он был фармацевт, занимался химией и алхимией, имел слабость к сбиранию ядов. Я заставил его показать себе коллекцию им добытых. Наметив подходящий, я решил принести схожий по виду и цвету флакон — подменить.

Для поддержания в себе того разрывающего душу чувства свободы, без которого, раз вкусив его, я не хотел больше жить, — мне стал нужен яд. Пока без определенной цели, на всякий случай. Конечно, виной тому были книги... Да, книги были моя жизнь и погибель. Роман Шодерло де Лакло «Les liaisons dangereuses»,[1]

[1] «Опасные связи» *(франц.)*.

дьявольски подсунутый мне отцом, в его увлечении психологическим экспериментом, оказался для меня роковым развратителем. Ведь первая ударившая по сердцу книга — что первая любовь. Это призма, через которую впоследствии преломится бессознательно все мироощущение человека. В этом романе предвосхищены и «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени». Де Вальмон взят автором заостреннее и с тем окончательным цинизмом, который про себя держит каждый свободный ум, не знающий иных авторитетов, кроме собственной воли...

Однако я обладал немалой силой внушения: Амичис, подстрекаемый моими хвалами, показал мне заветнейшие коллекции, особливо гордясь некиим флаконом... «флаконом Борджиа», без следа и без боли усыпляющим навсегда.

Мне блестяще удалось подменить эту унику. Я был как хороший актер в ответственной роли, и все же достаточно трезв, чтобы отмечать свои настроения. Меня, помню, очень тогда поразило, что чрезмерное напряжение, чем бы ни было оно вызвано, дает одинаковое сознание мощи и радости. Тогда же я сделал, быть может, опрометчивый вывод о прирожденной аморальности человека.

У Лермонтова, Пушкина, Шодерло де Лакло герой богат, образован и убивает других: пулей, игрой, насмешливым словом, так себе — с жиру. И все же читатель подобным героем любуется. Почему же, думалось мне, почему, усвоив себе всю психологию этого образа, не убить мне из жажды свободы и просвещения? Я нашел, что моя цель благороднее. К тому же, при моем напряженном вкусе к благам интеллектуальным, все,

что носит печать только жизни инстинктов и рода, у меня, как у брамина вид парии, вызывает одну лишь брезгливую отчужденность.

Моя жена донашивала последний месяц. С лица ее не сходило выражение самодовольства. Она была окончательно уверена в благополучном конце. Приданое шилось двумя партиями: на случай рождения девочки — с розовым бантом, и мальчика — с голубым.

Поглощенная своим материнством, жена как человека перестала окончательно меня замечать. Она требовала только восторгов при виде пеленок, свивальников и каких-то гнусных подгузников.

Что касается похищенного мною «флакона Борджиа», я, признаться, не слишком-то доверял, что он усыпит навсегда и без муки, так что, когда я его всыпал жене, мое воображение не было поражено неизбежностью смерти и «макбетовский трепет» мне не пришлось испытать. Я почти мальчишески играл в «чет и нечет». Впрочем, как холодный и умный герой, я на всякий случай наметил себе в бессознательные союзники доктора Радина, очень слабого, неуверенного в себе человека, в определении болезни поддававшегося диагнозу о себе самого больного и близких ему.

Неделю тому назад, когда у меня уже был в кармане яд Амичиса, я зазвал к себе доктора Радина и долго наставлял его относительно слабого сердца моей жены, ссылался на определение знаменитостей, приводил и свои опасения, основанные на внезапной гибели от разрыва сердца ее сестры.

Радин удостоверил при некоторых знакомых все, чего мне хотелось. Прописал порошки и обещал захо-

дить ежедневно. Давая порошки доктора Радина, я к ним прибавил и свой.

Наутро жена моя была мертва.

Радин, видя мое сильное расстройство, растерянно, как виновный, меня успокаивал. Родня жены была далеко. Подозрений я не возбудил. Жену похоронили. Впрочем, нет, подозрения были у одного существа. У ребенка двенадцати лет. Это была сестра моей жены, которая жила по сиротству вместе с нами.

Галина, или, как уменьшительно ее звали, Гуль, была неприятная девочка. Смуглая, с румянцем, вдруг загоравшимся, обличавшим потаенную страстность, Гуль каким-то угрюмым, безмолвным добавлением входила в нашу жизнь. Порой мне казалось, что она очень несчастна. Но я был слишком занят собой и не мог войти в жизнь существа, которое меня к себе ничем не влекло. Совсем напротив: меня крайне раздражали ее недетские следившие за мною взоры. Нередко я перехватывал ее, выбегавшую из моей комнаты.

В тот день, как я всыпал жене содержимое «флакона Борджиа», я, вернувшись тотчас к себе, стал искать пустой пузырек, только что бывший в моих руках. Пузырька не оказалось.

Вне себя от ужаса, я кинулся с допросами к Гуль. Добиться признания ни страхом, ни лаской мне не удалось. Дня через два, потрясенная смертью сестры и жестокостью моих тайных допросов, она заболела нервной болезнью. По выздоровлении я заметил, что несчастная девочка безумно в меня влюблена, и успокоился на естественном предположении, что пустой «флакон Борджиа» был взят ею на память и давно, быть может,

затерян. Во всяком случае опасностью разоблачения эта выходка мне не грозила.

Прошло полгода. Мое положение огорченного, от всех удалившегося мужа было упрочено. Скоро я сам отвез Гуль в пансион, пересмотрев на всякий случай очень тщательно все ее вещи. Среди них флакона не было...»

Багрецов закрыл тетрадь, спрятал ее в двойное дно шкатулки. Шкатулку запер дважды ключом и снес в шкаф.

Конечно, Багрецов угадал, едва Пашка-химик доплел свою сплетню, что женщина, замышлявшая маскарадный костюм — «флакон Борджиа», была Гуль.

ГЛАВА II
ОСТЕРИЯ ЛЕПРЕ

> Если вы любите искусство, то хоть пешком, но будьте в Риме.
>
> *С. Гольдберг.*

На длинных скамьях в остерии Лепре было набито немало народу. Русские pittori,[1] длинноволосые, с бородкой, в черных плащах, подбитых алым, скульпторы и даже овербековцы в своих чопорных черных сюртуках. Они с любимым учителем, «папашей Овербеком», жили для настроения в католическом монастыре и в пирушках не участвовали. Были здесь разного чина и

[1] Живописцы *(итал.)*.

звания иностранцы, жадные до разнообразия итальянской кухни и римских сплетен.

За суматохой гости и не замечали, что кушанья те же самые, а меняются лишь приправы; что престарелая курица, сдобренная специей и начинками до неузнаваемости, идет за птицу высшего ранга, в чем не уставал, впрочем, заверять servittore,[1] ловко скидывая по две нагретых тарелки с каждой руки и поспевая принять в настороженные уши десять разных заказов risotto,[2] узнать альковную тайну знатной римлянки, перехватить последние слухи о планах «Юной Италии».

Голоса прерывали друг друга, ножи стучали, споры велись через головы, с разных концов стола, без возможности спорящим в страшной давке сесть ближе.

Своим нескрываемым восхищением выдавались лица молодых, только что приехавших из Петербурга пенсионеров. Забитые академической дрессировкой, они уже заметно ожили, как недоморенные цветы, обласканные жарким солнцем. Вместе с серебряным воздухом Италии их пьянила дивная красота акведуков, портиков, базилик — словом, все, что давно знали они по сухой выучке, и потрясены были, увидав здесь во всей волшебной действительности. Они были как восторженный юноша, очарованный заочно красавицей, внезапно узнающий ее живую.

Старшие товарищи взапуски посвящали молодых в подноготную заметных римлян и героев дня. Поминали

---

[1] Слуга *(итал.)*.

[2] Кушанье из риса *(итал.)*.

и прошлое. Не переставал волновать всех «великий Карл», с его никем еще не покрытым успехом «Последнего дня Помпеи».

Не без зависти всю удачу замысла приписывали влиянию некоей девицы Дюмулен, причем влиянию, выраженному в форме необычайной. Новоприбывшему всю историю начинали ab ovo,[1] с самого Сильвестра Щедрина.

Этим славным пейзажистом русские художники гордились особенно, а красотой выдвигали его первым против красавца римского исторического живописца Каммучини. Уезжая в Сорренто, Щедрин передал (таковы были нравы) свою временную подругу пресловутому Карлу Брюллову, прожигавшему свой гений в разнообразнейших похождениях и хотя блестящей, но разбросанной живописи.

Как водится, девица Дюмулен весьма скоро опротивела Карлу ревностью, и он стал от нее отдаляться; но в то же время, со свойственным ему озорством, не удержался, чтоб не подразнить ее. Живя напротив, окно в окно, он устраивал нежнейшие амурные сцены с манекеном, бесподобно загримированным женщиной. Девица Дюмулен посылала отчаянные письма, которые Брюллов позабывал прочесть, и наконец, отчаявшись в просимом свидании, бросилась в воду с ponte Molle. Ее спасли. Брюллов пуще затосковал от внутренней пустоты, завертелся в попойках. Графиня Самойлова, ценя его живопись и желая его образумить, увезла с собой в Неаполь. Угрызаемый раскаянием за беспутную трату сил, в расположении к сюжету грусти, Брюллов полю-

[1] С начала *(лат.)*.

бил Помпею и, бродя по мертвому городу, вдохновился его «последним днем».

Из этого мораль, учили бывалые молодых: обзаводись скорей девицей да топи ее в Тибре, авось выудишь себе пышный сюжет.

— Dio vuol carnavale, e non vuol cardinale! [1] — вдруг крикнули в углу. — В праздник кардиналов хлестало как из ведра, а в карнавал всегда чудесная погода!

— Ставлю две фульты, — кто со мной? «Русалка» Моллера как раз будет в меру картины Лапченко.

— А ну пройдем к обеим, померяем...

— Да что далеко ходить, вон синьор Алессандро со своим ментором. Он наизусть знает.

Спорившие, брыкая товарищей, выбрались из-за скамьи и подбежали к входившему мелкими шажками невысокому плотному человеку в синих очках. Занятый разговором со своим спутником, забиравшим место у раскрытого окошка, он не сразу понял вопрос, с которым на него наскочили молодцы.

Лицо его, славянского облика, несколько иконного письма, изобразило внезапное беспокойство. Но тут же, разобрав причину напора юношей, он вдруг засмеялся, детски приоткрывая приятный рот, обрамленный окладистой русой бородкой, и сказал, слегка пришепетывая и торопясь:

— Ну конечно, «Русалка» Моллера аккурат в меру «Сусанны» Лапченко и, как и она, вся нагая-с. Но полезно нам узнать, интересуясь Моллером, и всю силу его трудолюбия, — ведь им уже отосланы в Петербург «Пастушка», «Поцелуй» и «Профиль»...

---

[1] Бог хочет карнавала и не хочет кардинала! *(итал.)*

— Собственноручной возлюбленной, знаем!

Повесы захохотали и, оборвав на полуслове, так же дико, как появились, убежали на свои места.

— Ей-богу, наплюйте на них да садитесь, все простынет... — сказал спутник Иванову, так низко склонившись над своей тарелкой, что темно-русые волосы, очень длинные, упали у него на кушанье.

— Совершенно оголтелый народ-с эти молодые пенсионеры, — сказал Иванов, — мало кто работает, а в Академию отписываться умеют похитрей нас, стариков. Один лодырь вчера мне показывал, сплошное вранье-с, а к начальству с этакой патокой... Оно и то сказать, преподлая нас сопровождает инструкция, на лицемерство сама наталкивает. Вот если любопытствуете, Николай Васильич, для картины нравов, я вам ее наизусть...

Спутник с длинными русыми волосами, усердно подбиравший с тарелки risotto, поднял острые глаза и, не слушая, сказал:

— А знаете ли, у Фальконе, что у Пантеона, жареный баран поспорит с кавказским, телятина много жирней, и такая, черт ее дери, crustata из вишен, что производит слюнотечение на три дня. У Фальконе, что у Пантеона, бес ему в рифму... Едали?

— Гоголь в духе, будет представление, — зашептали кругом. Иные бросили свои места и подсели ближе к окну. К столу подошел человек, невысокий, с большим лбом. Лицо твердое, честного немецкого колониста, сразу обличало нерусское его происхождение. Верхняя губа была длинновата, отчего выражение лица, когда он молчал, было неумно. Он одернул бархатный жилет с искрой и сказал медлительно:

— Что за диво Фальконе? Вот я намедни так в дрянном трактирчике был свидетелем жанра, достойного вас, Николай Васильевич, бытописателя нашего именитого.

— А нуте, Федор Антоныч, нуте...

Гоголь оживился, заулыбался, помолодел лицом.

— Вчера засиделся я в театре, вышел последним, ищу, где бы закусить. В нашем трактирчике свет. Вхожу. Только у русского стола лампа. За столом Рязанов с батареей полуфульт. В руке стаканчик красного. Любуется им на свет... Этакая поза! А пьян вдребезги. «Ортодокс, — кричит мне как резаный, — посмей сказать, что есть чудеснее кóлер!»

Иванов залился хохотом, так, что прыгали щеки, колыхалось брюшко, а пальцы, пухлые и короткие, теребили в восторге салфетку. Гоголь молча вынул салфетку у него из рук и отложил в сторону. Иванов этого не заметил и, продолжая перебирать пальцами в воздухе, все еще прерываясь хохотом, сказал:

— А ведь это Иордан не врет! Рязанов точь-в-точь. Шутка ли — батарея полуфульт. А если, боже упаси, ему сервитторе надумает поднести сразу хоть одну целую, — какова обида! «Я, крикнет, тебе не пьяница, чтобы дуть по целой фульте». Помнишь, Федор Антоныч, мы с тобой слыхали? Еще он по-свойски тебя обложил, когда ты рассмеялся.

— Это было... сейчас я скажу когда. — Обстоятельный Иордан, припоминая, водил по-заячьи длинной губой. — Есть! В тот самый день, когда в кафе «Del buon Gusto» ты наконец мне объявил, что порешил написать свою картину больше размером, нежели

«Медный змий» Бруни, а я тебе сказал — *большая* картина будет занимать *много* места!

Иордан самодовольно расхохотался. Гоголь бочком глянул на него. Лицо его сморщилось, стало важным и умильным.

— Совершенно справедливо, необыкновенно справедливо, в высшей мере справедливо, маленькая вещь занимает небольшое место, а большая вещь место занимает больше.

Все вмиг узнали, кого Гоголь изобразил; грянули аплодисменты.

— Попугай святой коллегии, il pappagallo del santo collegio.

Это был живой кардинал Маццофанти, всем известный старичок-полиглот, любивший щеголять своим знанием русского языка вплоть до стихотворения, начинавшегося так:

> Люблю российских муз,
> Я голос их внимаю.
> И некие слова их
> Часто повторяю...

Гоголь мастерски обличал секрет плавной русской речи маленького кардинала. Видно было, как он, твердо заучив немногие фразы, поворачивал одно и то же, слегка переставляя слова. Впечатление при итальянской, стучащей, быстрой манере говорить получалось как от беглого и богатого разговора.

Между тем Иванов прервал смех и стал грустен. Он сказал Иордану:

— Ну что с тебя взять, Федор Антоныч! Ведь вот и Жуковский не стыдясь говорит про картину. Мне Чижов передал. Порицает размер: кому, говорит, продать

да куда повесить? Будто и сам я не знаю, что для коммерции много выгодней писать вещицы да картинки жанра. Но не все же коммерция!

Высокий человек, до того безмолвно сидевший напротив, прервал речь Иванова:

— А ты, Александр Андреевич, так и не сказал текста инструкции пенсионерам, который было припомнил. Мне б особливо интересно его услыхать, — ведь я здесь не от Академии, а, как ты знаешь, на собственный счет. Любопытствую, чего я столь счастливо избежал?

Гоголь быстро и недовольно окинул говорившего. Это был человек с очень бледным лицом, богато и скромно одетый. Лицо его почти могло быть красивым, но все же не было. И каждого тянуло выяснить тому причину. Приятны были волосы того тусклого тона, который зовется пепельным, прекрасен лоб. Но глаза, спокойно и умно глядевшие, были странно мертвы. Ничто не заставляло их вспыхивать и меняться. Тонкий рот, бледные губы и эти глаза носили печать какого-то остановившегося существования, оторванного от общей жизни.

Багрецов знал, что люди при постоянном с ним общении, несмотря на его вежливость и приятную с ними манеру, чем-то в нем оскорблялись и скоро отходили навсегда. Впрочем, в редких случаях, когда ему надо было их удержать, он пускал в ход разнообразное очарование своего граненного скептицизмом ума.

Но Александру Иванову Багрецов, старый приятель по Академии, сумел стать исключительно нужным человеком благодаря знанию языков. Он усердно переводил ему все труды по искусству и философии. Сейчас

Багрецов затеял разговор в надежде втянуть в него Гоголя или по крайней мере обратить на себя его внимание.

— Итак, если тебя не затрудняет, скажи, Александр Андреич, пресловутую инструкцию.

— Она преподлая-с, и, признаться, я ее желал бы забыть... Но изволь, изволь!

«Не скрывайте ваших чувствований и мнений ни о чем. В начальстве вы имеете людей, имеющих способ быть вашими *благодетелями*. Надобно это чувствовать, быть *признательну*, а потому *откровенну»*.

— Поначалу, признаюсь, бывало невыносимо. Я забываюсь в созерцании красот искусства, но внезапно вспоминаю, что приказано о сем восхищении оповещать в известные сроки с непременною благодарностью — и все благородное во мне замирает. Ох, тяжко быть нищим художником, Николай Васильич!

Гоголь не желал замечать Багрецова, ни отвечать на взволнованный тон Иванова. У него будто было собственное внутреннее раздражение, которое то замирало, то возрастало.

— Servittore! — перехватил он острым глазом человека, который извивался, как угорь, чтобы одновременно дать два разных обеда в противоположные углы.

— Subito, signor Niccolo? [1]

— Что это у вас пошли за беспорядки: макароны сырые, рис переварен? — И, ворча, продолжал по-русски, подмигивая на хозяйку, синьору Пепиту: — Ишь ее, расселась, как индюшка, на толстой своей бригадирше!

---

[1] Сейчас, синьор Никколо? *(итал.)*

Гоголь надул щеки, подморгнул и стал вдруг хозяйкой остерии. Сервитторе прыснули и разбежались с тарелками.

— Что это вы с ними вяжетесь, Николай Васильич, — прошептал опасливо Иванов, — предрянной народец, захотят — изведут... Я никому здесь не верю.

Вдруг вся остерия поднялась, забубнила, как рой:

— Шехеразада! Ура!.. Что на хвосте принесла, каковы новости?

Пашка-химик, он же Шехеразада, был неизъяснимого пола. Лицо под сорок, налито желтым жиром; по расплывшимся, сразу будто добрым чертам оно подходило бы к иной хозяйке-матушке, осевшей плотно в деревне, но брови, две ярко-черные пиявки, гнули сходство на китайского мандарина. А шустрые, как мыши, острые карие глаза обличали просто-напросто беса. И костюм был необычен: большая, когда-то драгоценная кашемировая шаль драпировалась на холщовом халате. Халат этот в деревне известен под именем пыльника, и набрасывают его при поездке в летний день, когда в бездождье пыль стоит паром в дорогах.

Пашка-химик, человек почти научных занятий или художник из неудачных, — кто его разберет! Врал он много и разное, не затрудняясь. Когда и как он возник в колонии русских — никто не запомнит. Его приняли, он стал необходим. Промышлял он чем попало: от позирования натурщиком до подделки древностей, будто изысканных в Колизее. К обеденному часу у Лепре у него всегда была свежая сплетня или измышлены два-три сюжета.

Последнее качество ценилось особенно кучкой тупоумных уличных pittori, стряпавших картинки на вкусы

разнообразнейших форестьеров. Сюжеты обеспечивали Шехеразаде блюдо макарон или ризотто.

Сегодня он принес не сплетню, а потрясающую новость о художнике Коневском, написавшем папский портрет.

— Синьоры, — пропищал Пашка голосом бабьим, подходящим к его виду евнуха, — отныне среди русских питторов есть «кавалер золотой шпоры»! Как же, из рук его святейшества, самого папы, принят орден!

— Неужто Коневский? Пролез-таки!

И сразу, со всех углов:

— Пусть ставит выпивку!

— Сами себе и ставьте — Коневский, братики, фью...

Шехеразада вставил пальцы в рот и свистнул, как свистят лаццарони. Синьора Пепита шагнула было грозно к нему, но по пути только гневно сплюнула и, как монумент, утвердилась снова за стойкой.

— Ну и к черту его! Сыпь свой сюжет, Шехеразада! Англичан вчера понаехало, сваляй такое, чтобы лестно было ихнему гонору. Здоровей наврешь — сытей будешь!

Шехеразаду усадили в средину стола. Он прехитрым взором обвел собрание, с особой лаской задержался на вновь прибывших из Академии пенсионерах. Их лица сияли. Здесь все так выходило из петербургской забитости, что непритязательная вольность остерии им ударила в голову, как вино.

— Пашка, ассигнации глазом не выберешь, к делу, подавай свой сюжет!

— Синьоры, сюжет отменно хлебный для форестьеров-инглезе: *«Коронация королевы Виктории»*. Роскошь и великолепие, церемониал древнейших времен. Куды

ни плюнь — Вестминстерское аббатство. Судьи в громаднейших париках, герольды в негнущихся парчовых рубашках. Коннетабли, епископы сплошь кен-тер-берий-ские! Королеве вручают меч, казначей бросает в публику доллары — *момент!*

Для справок: одежда королевы — два миллиона франков; бедным роздано сто тысяч — приблизительно конец шлейфа Виктории.

Сюжет хлебный, сюжет-кормилец для подковки островных дураков! А второй... Да вот Бенедетту просите, — указал Пашка на входящую красавицу.

— Бенедетта... — И десяток молодых кинулся к входившей прекрасной итальянке. Она была в национальном костюме, как позировала одному из пенсионеров. Ее сопровождал итальянец, по виду и манере не римлянин, а приезжий из южного города. Бенедетта улыбалась знакомым.

— Бенедетта, дай сюжет, достойный картины, кроме тебя самой.

Бенедетта о чем-то горячо говорила со своим спутником. Она повернулась к художникам и сказала:

— Какой же сюжет может предложить итальянка, кроме самой Италии? Италия, а вокруг герои... Каждый город может назвать героев, павших за отечество.

— Ну, для подобных героев у твоих властей недурно отточен топор...

— «Юная Италия» отточит кинжал поострей!..

— Бенедетта, — дернул ее за рукав сервитторе, — здесь только остерия, а не карбонарский ваш клуб, и тайные агенты наравне со всеми за столом жрут ризотто.

— Тем лучше, — сказала Бенедетта, — сейчас мы решили, что для дела нужны аресты.

Бенедетта прошла к столику, где сидел Иванов.

— Бенедетта, приди завтра позировать! — раздавалось со всех сторон. — Ко мне, нет, раньше к нам в студию!

— Синьоры, я уезжаю, берите Джулию...

Джулия и Бенедетта были сестры-близнецы, такого необычайного внешнего сходства, что могли заменять одна другую.

— Синьор Алессандро, — сказала Иванову Бенедетта, — завтра будете рисовать? У меня для вас одного отложено все утро...

— Ты видишь, опять я в синих очках — разболелись глаза. Перенеси мое утро на ту неделю.

— Придется кончать вам по Джулии, я на месяц уеду из Рима, что она, что я — то же самое, я ей скажу...

— То же, да не то, — засмеялся Иордан, — как бурное море и одна рыба из этого моря...

— Федор Антоныч метил складно, а вышло что-то неладно. А кто твой кавальере, Бенедетта? — спросил Иванов. — Уж не он ли тебя похищает?

— Кавальере? Да это же брат мой... Доменико! — крикнула она своему спутнику. — Иди знакомься с синьором Алессандро.

К столу подошел человек с нежданными у итальянца мягкими чертами лица и особенной привлекательностью в улыбке.

— Как он чем-то вызывает облик Вьельгорского, — прошептал Гоголь Иванову и вдруг насупился, умолк, ушел весь в свой галстук.

Необыкновенный нос его, не смягчаемый улыбкой и общей жизнью лица, выдвинулся, поражая своей длиной.

— Скажите, сегодня не отменено «благословение полей» папою, — он, слышно, болен? — спросил Иордан итальянца.

Доменико, усевшись на краю стола, блеснул зубами и весело сказал:

— Что вы, разве отложат... да кардиналы для этого дела совлекут папу и со смертного одра, папская власть только помпой и держится! Без помпы она — пустое место.

— Но общеизвестно, что итальянцы благочестивы, — как из книжки сказал Иордан.

— Совсем недавно, в холерный год, мы видели, что стоит их благочестие! Разве не та же чернь, что шла босая, нанося себе в грудь удары, к церкви Maria Maggiore, не та ли самая, отчаявшись в чуде, надругалась над свежими трупами сестер святого Сердца Иисуса?

— Но ведь это вне себя, в исступленье безумства...

— А в трезвом виде скоро будет и почище... — Доменико понизил голос так, что его слышали только те, к кому велась его речь. — Поверьте, стоит лишь итальянцам понять, что Италия — добыча каждого, кто ее хочет взять, и это благодаря папам, — они и этих пап пошлют к черту! Идеал единого римского союза заложен в крови римлян.

— Значит, еще раз прав Макиавелли в своих «Discorsi», [1] — сказал Багрецов, — итальянцы обязаны церкви и духовенству тем, что у них нету веры.

— Однако все лучшие произведения искусства имеют своей базой веру, — вступил робко и смущаясь Александр Иванов.

---

[1] «Речи» *(итал.)*.

Доменико подхватил:

— Брать красоту оболочки еще не значит брать сущность, к тому же наше искусство воскресло только в язычестве Возрождения. О, Италия — страна крайностей, она легко переходит от грез Савонаролы, зовущего Страшный суд, к грезам Кампанеллы, к мечте о рае здесь, на милой земле... Поверьте, фанатическое суеверие — лицевая сторона неверия, аскетизм и разгульные новеллы Касти — все одно! Но оттого, что так сейчас есть, не значит, что так и будет!

— Можно надеяться, что кровавые перемены произойдут не при нас? — спросил опасливо Иордан. — Ведь мне сдается, Григорий — предобродушный папа?

— Как сытый тигр, прикрывающий когти, — вспыхнул Доменико, — нынешний папа — злобный иезуит, с особой склонностью давит мысль и науку. Разве вы не слыхали, что он запретил ученым Папской области участвовать в конгрессе естествоиспытателей в Лукке? Прямое следствие его брефа...

— Если не ошибаюсь, вы говорите о брефе тридцать второго года, — спросил Багрецов, — где объявлено, что свобода совести — «сумасшедшая ложь», свобода мнений и слова — «чума»?

Доменико утвердительно кивнул. Гоголь и Иванов молчали.

— Если это не секрет, — сказал, еще понижая голос, Багрецов, — расскажите, что сейчас за волненья в Болонье?

— Волненья вызваны невероятным самовластьем таможенных чиновников. Народу ничего другого не оставалось, как, соединившись с вооруженными контрабандистами, на *самовластье* отвечать *самоуправством*,

а уж Риму почудилась демагогия... В Болонью послана чрезвычайная военно-судная комиссия, тюрьмы переполнены, и если демагогов еще не было — конечно, они народились.

— А как к волнению относится «Юная Италия»?

Опять подошедшая Бенедетта, вдруг вспыхнув, ответила за брата:

— Если guerra di banda [1] — путь, которым начнется освобождение народа, то соединение не только с бандитами, а с самим чертом нам благословенно! Однако, Доменико, нам пора идти, прощайте, синьоры!

— Ну, этим не сносить головы, — сказал неодобрительно Иордан, когда брат и сестра вышли.

— Типун тебе на язык, — махнул Иванов, — это семейство отменных людей, до собственной гибели преданных родине. Имя отца их с почетом произносит весь Рим — он при предыдущем папе погиб в изгнании; Джулия и Бенедетта — девицы особенной складки, скромнейшие... Бенедетта к тому же образованна и открылась мне, что единственно ради удобства вести дела «Юной Италии» она укрывается под маской натурщицы, не вызывающей подозрений у папских шпионов.

Но сейчас у них, видимо, решено лезть на рожон... Приезд этого Доменико... Он, представь, удивительных дарований, сподвижник Мицкевича...

— Александр Андреич, довольно тебе зря выбалтывать, пойдем, — оборвал Гоголь, встал и, не глядя, следует ли за ним спутник, направился к выходу.

— А ты, без сомнения, скоро зайдешь? Премного тебе обязан... — Иванов крепко жал руку Багрецову. —

[1] Партизанская война *(итал.)*.

Без тебя я теперь точно без глаз! Почитаем, поспорим, твои толкования...

Но тут, спохватившись, что Гоголь уж вышел, он вдруг бросил Багрецова и, торопясь, вперевалку засеменил к двери.

У дверей Гоголя неожиданно задержал Шехеразада:

— У меня анекдотец вам, Николай Васильич, специальный, на вашу тему-с. Охота бы рассказать. Когда прикажете? Может, нынче после лицезрения его святейшества? Очень повеселит вас. Не выбалтываю, вам одним берегу-с. Так сегодня?

Гоголь, нахмурясь, слушал Шехеразаду. И, нимало не улыбаясь, хотя тот был презабавен, по-бабьи одергивая шаль и топочась в своем пыльнике, мрачно сказал:

— Ну, приди поздно вечером!

Гоголь и Иванов ушли. Багрецов позвал:

— Павел Иваныч! Ше-хе-ра-за-да!

Он сидел поодаль один, пред ним стояло вино. Молча налил два стакана, молча дал.

— Люблю Глеб Иваныча за серьезность, — похвалил Пашка и, опрокинув вино, вздернул черные брови. Стал ждать, ничуть не балаганя, глядя с умом. — Что прикажете-с?

— Я слыхал, ты сегодня вечером напросился к Гоголю, ну так вот: деликатным манером узнай, точно ли он не помнит меня или делает вид?

— Насчет того случая вспоминаете, в день именин? Что говорить, обремизил он вас, Глеб Иваныч... а фамилийку-то записал. От меня узнавал, от меня...

— Не егози, — оборвал Багрецов. — Вот теперь разузнай, помнит он, что я *есть, дескать, тот самый...*

— Вызнаю, Глеб Иваныч. Прибегу-с, доложу-с.

ГЛАВА III

«ФЛОРА» ТЕНЕРАНИ

> Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника!
>
> Боже, что за жизнь наша! — вечный раздор мечты с существенностью!
>
> *Гоголь.*

Этот день всегда был Гоголю труден: годовщина смерти Вьельгорского, безвременно погибшего друга. Итальянец Доменико его к тому же чем-то напомнил. Впрочем, какие напоминания были нужны тому, у кого вовсе не было прошлого, у кого ничто из пережитого не съедалось временем, ничто не тускнело, а все тут: стоит, мучает.

И вот сегодня с утра этот час, роковой не для одного покойного. С утра пред глазами, высоко в белых подушках, желтое, восковое лицо с трепетными ноздрями, жадно ловящими воздух. Рядом в черной сутане аббат Жерве и она, стареющая, с остатками большой красоты, все еще великолепная княгиня Зенеида Волконская.

Простая, добрая Черткова то выступит, то ее нет; но эти трое неотступны. Они в остерии Лепре, они вот здесь, в базилике св. Каликста.

Иосиф Вьельгорский слабеющей рукой снимает с пальца перстень, чтобы отдать его милой Чертковой, одними глазами благодаря ее за долгие терпеливые ночи без сна, и вдруг, как хлыстом, этот шепот княгини:

— Mais c'est immoral! [1]

И, повернувшись к аббату Жерве:

— Не правда ли, последние минуты не должны быть о земном?

И мягкий, извиняющий глаз аббата, которым он как бы покрывает неумную черствость княгини.

Напрасно, напрасно... Тончайшие нити очарования и надежд, которыми они так настойчиво сумели вот-вот оплести, уж рвались...

В последнюю минуту этот аббат, много проще и глупее княгини, оказался все-таки человечней.

— Необходимо, чтобы он умер католиком, обращайте его, обращайте, — суетилась она, желая завоевать изможденное тело друга хоть перед тяжким концом, на что аббат с укоризной сказал:

— В комнате умирающего должен быть полный покой!

Тогда она сама, шурша шелками, склоняется над Иосифом, напряженно что-то шепчет, пока тот в последний раз не глотнул жадно воздух и, дрогнув всем телом, не умер.

Чуть всплеснув маленькими белыми руками, она воскликнула радостно:

— Я видела, душа его вылетела католичкой.

И помыслить хоть миг, что эти люди облегчат в неслыханной муке, что их «единая кафолическая» даст

---

[1] Но это безнравственно! *(франц.)*

ту опору творить, как давал Пушкин?! Вместо него, ушедшего *освободителя,* чье разрешающее слово снимало все путы, искать заместителей в этаких...

Гоголь в полутемном храме в глубокой задумчивости стоял под огромной мозаичной пасхальной свечой, а Иванов восхищенно оглядывал древние трибуны и разбирал устройство амвона в стиле ранней архитектуры. Он подбежал к Гоголю с записной книжкой и, не обращая внимания на его оцепенелое состояние, увлеченный одним своим делом, сказал:

— А ведь базилика Каликста в своих трех ярусах запечатлевает три разных периода из жизни Рима. Ярусом ниже девятый век-с, там, где мощи святого Климента, принесенные Кириллом и Мефодием с востока. А еще пониже знаете что?

И вдруг шепотом, хотя, кроме безучастного сторожа, в базилике не было никого:

— Еще пониже ярусом — храм языческого божества Митры! Каков диапазон-с? В Риме каждый камень дышит историей, каждая пядь земли напоена кровью народов: язычников, римлян, варваров... Под землей, в катакомбах, несчетны мученики христианства. И художник все это богатство чует каждым нервом своим... Где же художнику жить, кроме Рима?! Николай Васильич, вы только прикиньте в уме: храм Митры — и церковь! Несовместимое благороднейше совместилось и сколь радует глаз!..

Гоголь наконец понял восхищение Иванова, тускло глянул на него и сказал, кривя усмешкою рот:

— В искусстве несовместимое радует, ну а в человеке? Спасибо, если можно пропеть ему: «в огороде

бузина, а в Киеве дядько...», то еще добрая скотинка, хотя чаще просто дурень. А если забрать по линии подобной разнопесицы поглубже да поумней — так от вони придется нос зажимать да швиденько втикать! Однако и тут не какое-нибудь важное амбре от пыли веков, ходимте на воздух.

По длинной и широкой аллее, которая лежала вдоль цветистых зеленых лужаек от Капитолия к Колизею, шли они тихо и молча.

По лугу паслись коровы из соседних домов.

Стояли телеги с бочонками вина и выпряженными лошадьми. На обломках античной колонны сидели погонщики, ели сыр, запивая вином. Ослы их, развьюченные и ленивые, катались по земле, выбрыкивая ногами.

— Присядем и мы, — сказал Гоголь, — до папской церемонии добрых два часа.

Гоголь сел на один из обломков, а Иванов продолжал вслух свои мысли, пробужденные базиликой св. Каликста, семеня мелко вокруг, сопровождая свою речь неразмашистыми движениями рук.

— Простой народ зовет римский форум campo vaccino — коровье поле, а священный Капитолий, где венчали героев, — campo d'olio, масляное поле — вот и все-с. Буден день знай себе копошится на поверхности, и невдомек ему, что он унавоживает свои огороды историческим прахом веков...

Вдруг опять, как тогда у Лепре, Гоголь прервал его, не в силах сливаться с собеседником, под налетом собственных тяжких дум. Так в иной гущине леса, где крикнешь, по привычке ожидая в ответ эхо, вдруг чаща задушит тебя, выслав хлопанье крыл, чей-то посвист и гогот.

— Все эти дни... — начал Гоголь и костлявой рукой одернул за плащ Иванова. — Да не крутитесь же, как бес пред заутреней. Сидайте...

Иванов тотчас послушно сел.

— Все эти дни у меня, как болезнь, потребность забежать к Тенерани... он кончает свою «Флору». О, что за линии представляет она, особенно сзади. Красота линии потеряна у женщин везде, кроме Италии. Если взглянуть тут на иную в одном только одеянии целомудрия, так воскликнешь невольно: она с неба сошла! А возьмешь поучения Исаака Сирианина...

— Я слушаю, Николай Васильич...

Иванов, сидя несколько ниже, глянул сквозь синие очки настороженными глазами на друга, нахохленного и так странно носатого при огневистом закате.

— Исаак Сирианин о женщине в слове девятом говорит так: «Лучше тебе принять смертоносный яд, нежели есть вместе с женщиной, хоть будь это мать твоя и сестра».

Вот и примечайте: базилика, соединенная с храмом Митры, гармонии не нарушила, а человеку-христианину язычество в себе надлежит вырвать. Вырвать, хотя бы с самим сердцем.

— Да чего же вы так смотрите да молчите, — вспылил Гоголь, — прежде вы бывали тех же мыслей, хоть и прегрешали по слабости с Аннунциатами...

Иванов покраснел и страшно смутился, как смущаются одни лишь маленькие дети, пойманные у буфета с краденым пирожком.

— Мне о таких вещах сейчас не хотелось бы говорить, я еще не додумал свои новые мысли. Ведь я,

Николай Васильич, теперь не тех мыслей... я не полагаю, что язычество надлежит зачеркнуть... там есть свой гений. Язычество надо в искусство включить, для полноты истории человека... а впрочем, это все мне новое-с.

— С которых пор? — спросил грубо Гоголь.

— Как сказать? Отчетливой мыслью встало впервые на выставке Овербека. Подумать только, четырнадцатилетний труд его, писанный с молитвою и постом, выражает один скудный, бесчувственный аллегоризм... а живописи нет никакой-с. Пред вами не скрою. И между прочим Перуджин — слыхали по биографии? — утратил веру, поддался легкомысленной жизни и дал незабвеннейшие по чувству вещи...

— Что вы хотите этим сказать? Да вы что... отвечаете за такие слова?

— Отвечаю-с, — сказал твердо Иванов, — хотя не вполне умею сказать. И говорю это, — обратите внимание, Николай Васильич, — говорю вам одному. Важнейшему для меня соотечественнику. Ни батюшке моему, сколь с ним ни близок, никому, кроме вас, не мог бы сказать... Николай Васильич, я ныне твердо узнал: *трагедия художника в покорстве своему гению, куда б он его ни завел!*

Гоголь еще сгорбился, весь как-то сжался и повторил как бы для себя:

— *Покорство своему гению, куда б он ни завел? А если на гибель?*

Иванов вскочил, поправил нервно очки, заходил взад и вперед своим дробным шагом.

Они давно так не говорили. Каждый отошел в свою сторону. Оба, загнанные внутрь, нося для людей

обманные личины, привычной скрытностью слившиеся в воображении всех с их личностью, на короткий миг дружеской встречи сбрасывали их, как ненужный хлам.

Гоголь, оставив свой вечный дозор за собой и другими, как раненный насмерть орел, долетевший до родного гнезда, уже не хорохорясь из последних сил, не стесняясь, страдал просто и больно. Он верил Иванову совершенно. А тот забыл слово-ерик, подхохатыванье, юродство, весь нелепый облик, защищавший нежнейшую в мире душу.

Он сказал:

— Если б знали, Николай Васильич, какие муки терплю! Что болезнь глаз? Я ей рад. Она — отсрочка такому решению, такому...

Слушайте, я разорван, как жалкий червь. И присужден сам взирать, как бьется в предсмертных муках отмирающая моя половина...

О боже! Сказать себе: работа всей твоей жизни, съевшая молодость, личное счастье, твой гений... эта работа остаться может примером лишь того, как не надо, слышите? как *не надо* работать.

Но нет! Пусть лучше не выдержит мой тленный состав, нежели я предам искусство! Я не поступлюсь мне данным прозрением, я раскрою все, что увидел, я докажу миру, чт́о может художник русский! Недаром *самоотвержение вполне* — наш исконный удел.

Николай Васильич, вы мне важнейший из всех людей, слушайте: мой старый храм разрушился, и мне его не удержать. Но я воздвигну новый, и уже для всего человечества, я прослежу и выведу путь к свободе духа от самого зарожденья культуры, от пелен...

Афродитой, выходящей из пены морской, Гераклом в колыбели, удушающим змия, я бескощунственно окружу ясли младенца Христа, я объединю уже не нацию, а все человечество...

— Замолчите! — вскричал Гоголь. — Это не ваши речи, вас опутал бес... бес гордости. В ущерб спасению души нельзя служить искусству. Еще повторяю: язычество надлежит вырвать, хотя бы вместе с сердцем! Да, вырвать и растоптать.

И, не замечая несоответствия в дальнейшей своей речи, продолжал уже совсем вне себя:

— Что мне до того, что Галаган меня славит новым Гомером! Речь женщины, умудренной религией, мне зазвучала глубже... а она что мне сказала? «Ваше фантастическое и смешное еще не есть высокое... Христос никогда не смеялся». Этакая мысль! Да, ее сплеча не срубить одним махом...

Гоголь обеими руками уперся в колени, уронил на ладонь голову и еще прошептал:

— Христос не смеялся.

Долго молчали.

Иванов сел рядом на камень.

— Николай Васильич, и мне ведь близко подобное жестокое двоение, — сказал он тихо и робко. — Но ведь эти вопросы вовсе не умом решаются. Не смею, конечно, учить вас, но скажу про себя, Николай Васильич, дражайший, я держусь любовью за каждую травку, за малый камешек в Субиако, где я в работе забываю себя...

— Совершенствуясь в искусстве, много ль двинулись как человек? — Голос Гоголя был строго брезглив. — Картины не вечны. Сколь ни гениален да Винчи,

от «Тайной вечери» — одни пятна сырости на стене... Впрочем, все, все, чем внутренне строится человек, вы узнаете скоро из моей новой книги.

Глаза Гоголя заблистали, румянец выступил на широких скулах.

— *Этой книге настало время явиться в свет,* — сказал он торжественно. — Одна высокая душа мне недавно сказала: «Вас осязательно посещает благодать: прежде одна ирония прорывалась из вас, вы будто кололи всех своим носом, палили глазами, а ныне сколь вы добры, сколь дышите христианством!»

Отныне мой компас в трудном деле писателя — не отзывы литераторов, а мнение высоко настроенных душ. И скоро я смогу успокоить их, укорявших меня, что чтение «Мертвых душ» — сплошное утопанье в грязи. Грязным двором, ведущим к изящному строению, останется точно лишь первый том... *Том же второй...*

— Это страшно, что вы говорите, — воскликнул Иванов, — как вам отказаться от первого тома, гордости всех русских! Николай Васильич, не верьте оценке светских ваших дам, — им неведомо, им не свято само слово русское. Улещивая вас как человека, они разве ценят художника? Их проклятый круг сгубил нам Пушкина, сгубит и вас... Вспомните хотя бы чтение «Ревизора» на вилле Волконской.

Гоголь, как от боли, дернулся, хотел что-то сказать, Иванов не дал.

— Простите, я только наедине с вами, и то впервые, решаюсь сказать искренне, раз вышел такой разговор... даже батюшке в Петербург, клянусь вам, я написал, что все вышло превосходно, но вам скажу: превосходного было одно лишь намерение ваше, вопреки

нездоровью, великодушно помочь несчастному художнику...

— Да ведь Шаповалову не худо и собрали, по скуди шел билет. Для этого случая и зал был освещен превосходно, и чай с лакеями, и мороженое, все, кроме самомалейшего аплодисмента!

Гоголь усмехнулся. Улыбка медленно проползла от изогнутых полноватых губ к прищуренным острым глазам, ядовитой волной вывела только что бывшее на этом лице изображение смиренника.

— Эти чопорные, безмозглые люди разве сумели вас понять? Вас, отечественного лучшего писателя нашего! Сочли они за счастье вас слушать? Вся эта светская конюшня, не удостоив вас и единого хлопка, после первого же акта вытопала вон из залы... и к концу обступили с восторгом и благодарностью вас мы, одни горемычные русские питторы...

Николай Васильич, бесценный, важнейший из людей... — Голос Иванова пресекся от волнения. Он схватил худую руку Гоголя своими теплыми толстоватыми пальцами. — Не верьте вашим святым женщинам, ни всему аристократству, которое вы хотите считать своим. Поймите ж, им не ценно слово русское. Не стану вам повторять: они не сберегут в вас художника, как светские сестры их не сберегли Пушкина...

Наконец, при вторичном упоминании Пушкина, Гоголь как бы дрогнул и пришел в себя. Он, видимо, чем-то так был расстроен сегодня, что малейшее прикосновение к чувствительному месту души вызывало в нем боль нестерпимую. Глаза его блеснули острей, болезненный румянец разошелся по всей щеке. К тому же, что бы ни говорил его язык, когда вставал перед ним

тот вечер на вилле Волконской, его охватывала свойственная ему тяжкая злоба, не находящая обыкновенного человеческого выражения. Она разрешалась только наедине, одному ему ведомыми припадками...

Страшным усилием воли он отмел подступившее чувство и обрушился вдруг на Иванова совсем в неожиданной для того форме:

— Да что вам дался «Ревизор»? Плевать я на него хочу! Стыдно вам и предполагать во мне столько мелкой, честолюбивой дряни. Да если б появилась такая моль, которая съела бы экземпляры «Ревизора», я бы благодарил судьбу. Идемте, не то опоздаем к церемонии.

Иванов, привыкший к мудреному характеру друга, притаился и умолк, чтобы больше его не рассердить. Впрочем, Гоголь уже принял обычный свой сдержанно-замкнутый вид, только глаза его чудно блестели и румянец не сходил со щек.

Увидев на площади Иоанна Латеранского огромную нарядную толпу, Гоголь повеселел. Небо было такой прозрачной голубизны, что далекое Альбано приблизилось. Горы невыразимой нежностью очертаний ласкали глаз, выглядывая то из-за огненной мантии кардинала, то из-за белых платков, особенным манером прилаженных на прическах красавиц, болтающих с мужчинами в широкополых соломенных шляпах. Разноцветные перья военных трепетали то тут, то там, как крылья редкостных птиц.

— А гляньте-ка, монахи да аббаты как маком посыпали площадь, — сказал Гоголь, — доминиканцы ни дать ни взять — наши богаделки в кофейных платьях. А этих вот в треуголках и черных натянутых чулочках

я особенно люблю после одного случая... Как увижу, развеселюсь.

— Какого же случая? — Иванов был рад, что Гоголь разошелся.

— А знаете, я своей любовью к Италии так умею другого взвинтить, особенно, когда я вдали от нее. Просто потребность какая-то расписать и серебряный воздух, и голубые, как матовая бирюза, вот эти Альбанские горы, и Фраскати, и Тиволи... Вы представляете: у женщин глаза уж горят, а сердце слыхать, как бьется. А тут-то и поддать пару: а ночи-то, скажу, звезды блещут сильней, чем у нас, по виду больше. О, когда все вам изменит, идите к ней, к Италии!

И так я одну раззадорил, что и сам, как кур, влопался. Представьте, взяла с меня слово, что если я первый попаду в Рим, то от нее поцелую колонну да поклонюсь непременно первому встречному аббату в туго натянутых чулочках. И до того я как-то расшалился, что проделал и то и другое, только колонна в ответ поцелую не дрогнула, а аббат говорит: «Извините, синьор, не могу вспомнить, где виделись».

— Он превежлив, аббат-то, — заливался Иванов.

— Я взял да ему и рассказал про данное поручение, он улыбнулся и премило сказал: «Знакомство, начатое так необычно, надлежит непременно нам продолжать». Вообразите, оказался недурным поэтом. А у нас, пожалуй, за невинную шалость дали бы в морду...

Вдруг говор смолк, площадь опустилась на колени. На балконе Иоанна Латеранского появился папа с двумя зажженными свечами в руках, окруженный кардиналами. Папа благословлял поля Рима.

Заходящее солнце нестерпимо усилило пурпур мантий кардиналов, блеск золоченых крестов, фонарей, белизну трепетных, как чайки, уборов кармелиток. Тяжелая красота римских женщин, загорелые лица мужчин, полные силы и страсти, невольно заставили художника прошептать:

— Что за чудный народ!

И над этим морем неистовых красок, яростной силы жизни, в таком же пурпуре последних лучей, вознесенный над всеми, грузный и вялый старик, венчанный тиарой.

Папа невнимательно и бесстрастно, как старая стряпуха исполняет надоевшую, хотя ставшую второй натурой привычную работу в кухне, подымал и опускал руки. Лицо его не выражало ровно ничего. Мертвыми глазами обводил он площадь и, совершив свою повинность, ушел с балкона.

— Александр Андреич! — окликнул Иванова протиснувшийся Багрецов. Он легко вскарабкался на каменную площадку строящегося дома, где стояли Гоголь и Иванов.

— Чудеснейший отсюда вид — не правда ли? — сказал Иванов, без нужды протягивая обе руки для опоры.

Багрецов был, видимо, озабочен.

— В толпе очень волнуются, — сказал он. — Болонские дела, о которых в остерии говорил нам Доменико, у всех на языке. У многих родственники в тюрьмах, надеялись сегодня на прекращение дела, на амнистию... но папа, напротив того, высказался за строжайшие новые аресты. Этот старик — мастер бесстрастно и бездушно засаживать в тюрьмы. Он передал все дело своей тайной полиции. А эти — уж раздуют...

Багрецов не кончил: из-за левого крыла базилики с победными криками: «viva la guerra di banda!» вынеслись какие-то люди, потрясая кинжалами, за ними вслед толпа, вооруженная палками, разъяренные сбиры. Грянули выстрелы. Мгновенно откуда-то выросли папские швейцарцы с сверкающими алебардами, прилетела кавалерия. Когда толпа рассеялась, на площади остались раненые и арестованные, которых полиция грубо втискивала в кареты, и витурино, бешено стегая лошадей, уносил их куда-то вскачь. Вдруг молодая девушка в ярко-красной юбке и бархатном корсаже, подхваченная двумя полицейскими, подняла голову и крикнула еще и еще, с необыкновенным упорством: «Viva, viva la guerra di banda!»

— Бенедетта! — воскликнул Иванов. — Она это, спасите ее, — молил он Багрецова, — бежимте вместе, заступимся...

— Полно дурака-то валять, — одернул его Гоголь за плащ, — кто вы для полиции, чтобы ей вас послушать? Здесь нужны хитрость и подкуп.

— Останьтесь, Александр Андреич, я разузнаю...

Багрецов спрыгнул вниз и почти бегом направился к карете, увозившей Бенедетту. Но она уже скрылась на повороте, и он попал только в взметенную на площади пыль, золотым столбом заигравшую в последнем луче.

Багрецов, поговорив с одним из полицейских, пошел куда-то с ним вместе.

— Бенедетта — чудеснейшая девушка, — чуть не плача, твердил Иванов.

— Да в голове-то, видать, толку не много, — рассердился Гоголь. — Если охота бунтовать, пошла бы в путный заговор, а не то зря, на площади. Ну, подержат

да выпустят, успокойтесь, придет к вам позировать. Однако пойдемте, сейчас сумерки; на моей strada Felice[1] прекрасно: ни козлов, ни иностранцев.

Комната Гоголя была в два окна с решетчатыми ставнями изнутри. Рядом с дверью кровать, а посреди круглый стол, тот самый, за которым он ежедневно диктовал Анненкову «Мертвые души». Против другой стены — высокая конторка. Гоголь любил писать стоя, по временам отхлебывая из стакана ледяную воду, которую почитал для себя лекарственной. На мозаичном полу, звонко отдававшем каждый шаг, книги, платье, белье в беспорядке...

Единственной драгоценностью, любимой Гоголем, была в этой комнате лампа проконсула, на высоком подставе с красивой светильней для масла.

Гоголь поправил фитилек и зажег. Болезненно и неприятно сочетались на миг, пока он закрывал решетчатые ставни, два света: ранний лунный, осеребривший дома и сады и даже непроницаемую плотность литого черного кипариса, легчайшей дымкой разлился было по комнате, заголубел по деревянному полу, скользнул по книгам, овеял лицо — остроносое, как маска, с надетым будто бы париком прямых русых волос. Но желтое пламя древней римской лампы без игры, ровным одноцветным покровом легло сбоку.

Разбитое двойным освещением лицо друга вдруг Иванову почудилось неживым. Но закрылись ставни, и Гоголь, подмигивая и лукавясь, сказал:

— Вы что? На боковую, чтобы с рассветом в Субиако, или дернем в бостончик?

---

[1] Счастливая улица *(итал.)*.

— Я лягу, — сказал Иванов, — завтра точно с восходом в путь, да и вам то же советую предпринять, коль не раздумали, со мной вместе. А в бостон я вам нонче навру, — Бенедетта не идет из ума.

— Подержат да выпустят! Повторяю: придет к вам же на пытку. А я б предпочел в тюрьму сесть, чем вашей братье позировать. Вот Моллер, хоть скоро работает, замучил меня на портрете...

Иванов простился, ушел в соседнюю комнатушку и весьма скоро захрапел. Гоголь сел в кресло, упер локти в колени, положил голову на руки, как часами мог сидеть в одиночестве, и задумался.

Он уже знал: сна не будет.

Лампа проконсула стала коптить. Гоголь встал, поправил фитиль. Глаза его скользнули на библию, ярче всего освещенную. Он откинул кожаный переплет и в бесконечный раз увидал дрожащей рукой надписанное:

Дорогому другу — Николаю.

Это был подарок Вьельгорского.

Гоголь поднял крышку конторки, вынул мелко исписанную тетрадь. Перелистав ее, прочел:

«Ночь первая. Они были сладки и томительны — эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах. Я при нем. Сон не смел касаться очей моих. Он безмолвно и невольно, казалось, уважал святыню ночного бдения. Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него. Уже две ночи, как мы говорили друг другу ты. Как ближе после этого он стал ко мне! Он сидел все тот же кроткий, тихий, покорный. Боже, с какой радостью, с каким весельем я принял бы на себя его болезнь! И если б моя смерть могла возвратить его к здо-

ровью, с какой радостью, с какой готовностью я бы кинулся тогда к ней!

Ночь восьмая. Он не любил и не ложился почти вовсе в постель. Он предпочитал свои кресла и тоже свое сидячее положение. В ту ночь ему доктор велел отдохнуть. Он приподнялся неохотно и, опираясь на мое плечо, шел к своей постели. Душенька мой! Его уставший взгляд, его теплый пестрый сюртук, медленные движенья шагов его — все это я вижу, все это передо мною...»

Гоголь дальше не мог читать, закрыл тетрадь, положил ее в ящик.

Стоял перед глазами заострившийся профиль друга, в тщетной жажде не задохнуться запрокинутый на высоко взбитых подушках.

И вдруг... что ж это? «Матушка, — прошептал, бледнея, Гоголь, — матушка, заступись...» Не дав принять последнего вздоха Иосифа, совсем рядом, заслоняя восковую желтизну его тела, возникла своей слепящей белизной мраморная «Флора» Тенерани. При мигающем пламени лампы мрамор был как розовое трепетавшее тело.

— Начинается... — прошептал Гоголь и, склонясь, как подстреленный, уйдя головой в плечи, вдруг рухнул на кресло.

Жестокий круг принудительных галлюцинаций сомкнулся над ним. Конечно, он знал, что его болезнь имеет свою регистрацию и свой латинский термин в отделах бессчетных страданий человечества, — что пользы! Средств от сверхчеловеческой муки, его посещавшей, там не было.

В дверь постучали. Сначала тихо, потом настойчиво.

— Кто там? — очнулся Гоголь и, радуясь, что сейчас войдет хоть кто-нибудь живой, поспешил открыть дверь.

Гостем оказался Пашка-химик, Шехеразада. На нем был надет не обычный смехотворный халат с кашемировой шалью, а черный сюртук. Он был чисто выбрит, слепило белье белизной. В манерах сдержанно строг, похож на иностранного консула, знакомого Гоголю. И, приняв Пашку за этого консула, с недоумением Гоголь привстал.

— Не извольте беспокоиться, Николай Васильич, это точно я-с, Шехеразада, или Пашка-химик. Присядемте!

Пашка себя вел с достоинством и, как хозяин, пригласил рукой Гоголя сесть.

— Ну и шут ты гороховый, братец! — повеселел Гоголь. — А ведь я думал, право, что это консула черт принес!

— Точно, консула-с, или по-французски — conseiller, советника-с. С советом я к вам, Николай Васильич!

— Нуте, выпьем-ка нашей украинской запеканочки, земляки ведь с тобой...

Гоголь испытывал то, что испытывает человек, когда, разбуженный грубой вседневностью, вдруг постигает, что смертный ужас был испытан лишь во сне.

Приход Пашки отсрочил час. Гоголь был готов шалить, как в лицее.

Но Шехеразада впал в мрачность и будто обиделся:

— При свете дня, Николай Васильич, я мог быть, точно, и шутом. Но ночь, прошу вас отметить, ночь — время иное. Я, быть может, ночью пишу мемуары-с. Ночное время мне дорого, и я буду краток.

— Запеканку-то облюбуй...

Шехеразада выпил, вытер уста белым новым платком и сказал:

— Я пришел, Николай Васильич, не по своему, а по чужому делу-с. Обед именинный на Девичьем поле не вспомните ль? И между всем прочим стихи-с: «Я мало жил, и жил в плену...», и волнение юного Багрецова, и вашу отменно крутую печать-с? Припомнили? Хе-хе-хе, — меленько и дробно, как-то внутрь себя, без движения губ прохихикал Шехеразада. — Багрецов от вас в слезах и отчаянии убежал, а вы у меня про фамилию спросили. Я тогда был в украинцах и с вами рядом стоял. Как же, в книжку вписали-с, видал сам, как вывели: Баг-ре-цов.

— Ну, и дальше? — Гоголь насупился.

— Ах, событие не сразу чревато последствием... верней: очевидность чреватости не сразу ясна-с.

— Ты, брат, того, — сказал Гоголь, — зарапортовался. О чем анекдот твой?

— О философе Канте, Иммануиле Канте, хе-хе... том, что в Кенигсберге всю жизнь прокорпел. Книгу *вечную* написал-с. По Кенигсаллее час в час ежедневно прогуливал и на зицштуле платном час в час порционно просиживал-с, под дубками. К механизму совершеннейшему себя приводил-с: для ради окончательной политуры практиковал еженедельно два раза — освобождение от страстей, по некоему библейскому образцу, так сказать! В записной книжечке помечал. Как же, дознано, дознано... почитатели-с, что поделаешь! В примечанье под звездочкой взяли да вынесли. Не скрою, сам не читал, кто видал — тот сказал. А я вам-с...

— Грязный ты, Пашка, субъект, — поморщился Гоголь, — этакой дрязг про великого человека выудил...

— Какой дрязг, помилуйте? И грязи нет никакой. Ухо ваше вас обмануло, ибо *не та* совершенно тональность! Да это впору одним педагогам не отличить сего дерзания от деяния, гимназисту обычного и законно наказуемого! *Но мыслителю тождество фактов, можно сказать, еще не весь факт!* А в данном мною примере оный факт есть следствие весьма пышного мироощущения с проекцией на свободу от грубой персти, умнейшего человека-с...

Да ведь это, Николай Васильич, в некотором роде «восхищения во вселенную» с утратой тленного естества. Это родственно браку с природой — «Великой Женщиной», как звал ее Гете-с! Это то состояние освобождения от уз, которое Рейсбруг Восхитительный воспевал: «Восторг несказанный! Все, что объемлет око, входит в тебя. Горы, леса, и ручьи, и лужайки, и вся земля, зараз мать и жена — *отдается тебе одному...»*

— Ты передернул «Одеяние духовного брака», передернул!.. — болезненно крикнул Гоголь.

— Единственно для уяснения темы-с, — подскочил близко Пашка и вдруг с вкрадчивой ласкою зашептал: — Оставим опыты иностранцев. *У вас,* Николай Васильич, *у вас самих* первоклассное есть письмо насчет брака с Природою.

Не вы ли доселе о том не знающих научили, как узнать *«бесовски сладкое чувство и какое-то пронзающее томительно страшное наслаждение, когда кажется, что и сердца вовсе нет, а только слышишь, как звенят голубые колокольчики, склоняя свои головки»*. Напе-

чатано и подписано-с: *Н. Гоголь*. Но как не подумали, дражайший вы мой...

Пашка все ближе, наглее, — а Гоголь как в тяжком сне: ни крикнуть, ни рукой.

— Как это вы не подумали, беря на себя, что после познания толиких необычайностей одним лишь дурням будет охотка входить в обычную цепь, когда кровь в голову и все равно кто... как в стаде бугаю, Оксана ли, Гапка ли.

Да ведь после подобных состояний от брака с Природой или хотя бы с Италией, которая, по вашему неоднократному при мне признанию, представляется вам черноокой женщиной в пурпурном плаще, — какое убожество чувству может дать любая женская персональность, будь она хоть столь дарами осыпана, как, к примеру, Смирнова-Россет, смуглая ласточка, воспетая самим Пушкиным... Дражайший мой, — Пашка гнусил уже в самое ухо, — при Александре Иванове, помните, вы помянули (мое присутствие вам было не в счет), что эта Смирнова как-то сказала вам: «Уж не влюблены ли вы в меня?» А вы за одну эту мысль столь великое возмущенье учуяли и как бы лишенье свободы, что прекратили ее дом лицезрением на долгий срок времени? И, как признавались, приравняли ее в воображении к штаб-офицерше, которая подпоручику своему сказать может: «милашка!» Конечно, Смирнова, чарующая и отменно умная женщина, так вам не сказала. Это злобно сказали вы себе сами.

Но уже за одно то, что могли так сказать, ненавидели ее долго и при встрече с ней мыслили в злобе: милашка...

— Лгун, пасквилянт... — задыхался Гоголь и, собрав силы, оттолкнул к дверям Пашку.

— Помилуйте-с, Николай Васильич, ни капли не лгун, а всего-навсего ваша памятная книжка-с! Еще в «первый петербургский период», как про вас пишут теперь в биографиях, на вашей квартирке вас дозирал-с! Еще там, на Морской улице, отмечал я, какой вы любитель в других править низшей стихией, чтобы самому быть с волшебною силой Цирцеи и тихесенько хохотать, как они себе, землячки, доведенные вашим хохлацким перцем да салом до последнего взвода, хрюкают пятаками.

— Вон отсюда, вон!

Гоголь вскрикнул, привстал и вдруг осел, смертельно бледный, без чувств.

Шехеразада вмиг налил воды из графина, прыснул в лицо.

— Может, вам раздеться помочь, свести в постель?

Он говорил без фиглярства, и лицо его так изменилось, что, придя в себя, Гоголь принял его за врача и охотно из рук его выпил воду. Потом откинулся на спинку кресла и долго не мигая смотрел в одну точку.

Шехеразада раскланялся церемонно и сказал:

— Спокойнейшей ночи, Николай Васильич!

Однако, подойдя уж к дверям, опять не стерпел.

— Не беспокойтесь, дражайший мой, — с отвратительной фамильярностью сказал он, — я вошел так, что меня никто не видал-с, и наш разговорчик в учебную хрестоматию не включат.

А в заключенье от консула — conseiller — вам совет: если вы над смертными хотя в единой точке уже вознеслись и не вкушаете от корыта-с, то надлежит вам, для оправдания себя, вознестись и прочим всем над низкой перстью... да, да. Рейсбруг Восхитительный

жил в лесочке, отшельником, Симеон-столпник на столпе стоял-с. И заметьте себе, на одной лишь на правой ножке, левую, ту, что от лукавого, он поджимал-с, и в вёдро и в дождь поджимал. Вот и вам, первейший наш сочинитель, не до содомского, а до святого конца надо бы! А исходная точка одна-с, хе-хе, одна... адью вам!

Шехеразада толкнул дверь и исчез.

Гоголь долго сидел неподвижно. Потом встал, пошатываясь прошел к двери, накинул железный болт. Сейчас он уже боялся, чтобы кто не вошел. Вдруг он выпрямился, глаза его чудно сверкнули. Иным, легким и твердым шагом прошел он к своей конторке, обмакнул перо и, как всегда стоя, начал писать:

«О сердце мое... сердце, исполненное нежности и пламени небывалых...»

Раздался тихий и сладостный смех... в его комнате стояла Италия. Да, он знал ее, эту сверкающую черноглазую красоту в пурпурном плаще!

Схватившись дрожащей рукой за ящик старинной шифоньерки, он невзначай его дернул. Выпало в беспорядке белье, расшитые шелком подтяжки, носовые платки и фуляры той нежнейшей желто-розовой розы, какими окрашены с внутренней стороны огромные раковины-красавицы Средиземного моря...

«Матушка... заступись!»

И, бесшумно рыдая, он упал на пол.

С восходом солнца желтый и постаревший Гоголь будил Александра Иванова для поездки в Субиако, предварительно приведя в нарочитый беспорядок свое несмятое ложе, чтобы хозяйке были невдомек его бессонные ночи.

ГЛАВА IV

«ВЗАИМНЫЙ ЭКИЛИБР»

> — Кто бы мог подумать, чтобы моя картина «Иисус с Магдалиной» производила такой гром? Сколько я ее знаю, она есть начаток понятия о чем-то порядочном.
>
> *А. Иванов.*

Для поверхностного взгляда Джулия и Бенедетта были действительно одно лицо. Все художники, начав писать Бенедетту, сейчас кончали по Джулии. И Багрецову пришла мысль...

— Джулия, — сказал он, — что бы вам обменяться с сестрой? То одна, то другая была бы на воле. Да и тюремщиков превесело одурить. Поучитесь у Казановы, Бенвенуто Челлини.

Джулия молча уставила волоокие итальянские глаза. Она бесила Багрецова безмолвием. При неразличимом почти сходстве с сестрой она в той же мере была тупа, как та блистала жизнью и умом.

Багрецов составил хитрый план для освобождения Бенедетты. Действовать он решил через виллу Волконской. Княгиня Зенеида была в тесном общении с иезуитами, в чьих руках при папе Григории находились дела политических. Надо было влиять на Иванова и на Гоголя. Разговор с Гоголем не выходил. Он вдруг страшно уединился перед скорым отъездом в Неаполь, хотел что-то закончить...

При встрече с Багрецовым Гоголь вспыхивал, несколько пугаясь.

— Должно быть, Шехеразада перехватил в разговоре, — догадался Багрецов.

Но Пашка-химик как провалился; говорили — уехал с кем-то на юг. С Ивановым у Багрецова была большая напряженность, хотя они будто дружили и вместе читали Штрауса. Но Багрецов знал: не сегодня-завтра его неукротимой волей исследователя произведена будет на другом та жестокая проба, которой опытный ювелир подвергает ценные камни, капая на них разъедающей жидкостью. Фальшивый разлетается — неподдельные остаются.

Багрецов знал Иванова с юных лет, с Академии, где они были одноклассники. Когда Александра Иванова привели учиться, ему было лет двенадцать. Он отличался от заброшенных полууличных юнцов как маменькин сынок, нисходящий до игры с дворовыми. Его невзлюбили за чистый вид и белые воротнички. Разница в положении была велика: в то время как одичалые академисты свободное время глушили в разгуле и водке, Иванов, балованный сын почитаемого профессора, видал дома всех выдающихся живописцев, слыхал просвещенные мнения об искусстве. Не мудрено, что впоследствии, в старших классах, многие встретили с злорадством несправедливый поклеп профессора Егорова о том, что Иванов выполняет свои программы не сам, а при помощи отца. Эта ранняя обида легла в основу того душевного расстройства, которое позднее стало болезнью.

Душевная гармония была нужна Иванову, как воздух для дыхания. Для этого как нельзя более кстати им был взят от отца, из рук в руки, какой-то готовый порядок, упоение красотой православия. Там, где ученики

Академии, стиснув кулаки от бешенства на «утеснительство высших мира сего», с глубоким сочувствием твердили запретные изречения, — Александр умело развертывал безмятежную схему, которую впитал с детских лет: «иерархия земная — несовершенное отражение иерархии небесной».

Багрецов молчал до времени, пока Иванов был сильнейший. Он уже знал идеи, которые надо было ему противоположить, но пока был слабо вооружен и не умел их защищать.

Однако, по страстной злопамятности своего ума и унаследованного от отца желания власти, он знал, что наступит тот час, когда он взорвет огражденное здание Александра и неотразимой логикой, во имя культуры и вечно поступательного бега истории, убьет его голубиную веру. Однако не она ли, эта вера, давала такие восторги и упор вдохновению друга, что уже юношей, когда так мучительно говорят страсти земные, он весь был охвачен одним лишь огнем героическим?

. . . .

Багрецов стал особым предметом забот Иванова, склонного к дружбе. Со слезами он выговаривал ему сухость сердца, ядовитое и жестокое направление воли, убеждал, что живопись его от этих качеств останется вялой и «от проходящего века». Иванов вовлек Багрецова в изобретенный им *«союз взаимного духовного экилибра»,* где каждый должен был служить другому примером, взаимно исправляя свои недостатки.

Увы, союз распался, едва возникнув. Кроме Иванова, все были слишком грубы, забиты холодом жизни и слишком знали, что борьба — закон каждого дня. Багрецов стал Иванова чуждаться, скоро они встречались

только раз в неделю по субботам у общего знакомого, пейзажиста Рабуса...

. . . .

После похорон жены Багрецову Александр Иванов вспоминался единственным человеком, которого он мог бы видеть без тяжкого принуждения. Но Иванов давно был уже в Риме.

После ввода во владение Багрецов стал богатым человеком, но странно, ни в Италию, никуда он ехать теперь не хотел.

Первое время он весь ушел в наблюдение за собою. Он раздвоился: сам себе стал дозорным. Просыпался рано от здорового сна, и вот уже становился у своего изголовья, как бы жадно вглядываясь в свое млеющее смуглым румянцем лицо, слушая сердце. Бьется ль сердце? Вот заноет... и начнется.

Ничего не начиналось — из того, чему принято быть в делах убийства во всех обнародованных доселе случаях: рассказов, уголовщины. Ни призрака жены, ни грызущей жалости — ничего.

Багрецов даже начал думать, не был ли он игралищем случая и смерть жены не произошла ли сама собою, от ее плохих органических свойств, а вовсе не от дилетантского, проблематического порошка Амичиса. Он напряженно ждал, что Амичис спохватится в пропаже, испуганный прибежит, решив, что он над ним подшутил. Он так и решил обставить дело.

Но Амичис куда-то уехал, получив новое место.

Мысль удостовериться, был ли ядом его порошок, чуть не стала Багрецову ловушкой. Ему вдруг назойливо захотелось жену выкопать, вскрыть, посмотреть. Еле убедил он себя, что такой прием самообличения

взят им от криминальных авторов, и силой воли отклонил свои мысли от этого дела.

Впрочем, он был слишком здоров, чтобы любить щекотку самоистязания, тем более — понимая опасность ее в своем положении. По природе страстный исследователь, Багрецов, отметив пагубу мысли, мог уже к ней не возвращаться. Но отметить, в себе ли, вокруг ли себя, он должен был решительно все.

Шли дни. И внезапно он понял: да, он не тот. Порошок Амичиса отравил, кроме жертвы, и ее палача. Сколько б ни повторял Багрецов, кривя рот с сардонической усмешкой: да здравствует общее место — народная мудрость веков — «Преступление влечет к наказанию», — наказание было налицо.

Непосредственность, необходимейший спутник всякого творчества, была в нем с корнем разрушена. Это почувствовал он при первых усилиях композиции, которая прежде ему так давалась.

«Я совершил преступление, и мой талант погиб — какая пошлость! И глупее всего, что эту мысль о непременном воздействии я внушил себе сам».

Багрецов был в бешенстве. Наконец он решился: пошел к одному модному магнетизеру-месмеристу, прося его сделать внушение в том, что он обладает в полной мере своим дарованием, особенно блестящим по композиции, объяснив, что сейчас, из-за нервного страдания, уверенность в этом им вовсе утрачена.

Модный болван, скрестив руки и пронзая его глазами, властно потребовал кучу денег и признанья, с каких лет он предается онанизму.

Багрецов послал его к черту и решил предоставить свое состояние всеисцеляющему времени. Но поездку

в Италию отложил. Увидать великих творцов, без надежды попасть в их семью, хотя бы и младшим членом, было ему невыносимо... Он забросил живопись.

Один знакомый заинтересовал его было кружком недавних студентов его факультета — Огаревым и Герценом.

Насколько Багрецов понял из восторженных речей этого зеленого юнца, подбор молодых людей был объединен наивнейшей верой, что им предназначено обновить и спасти мир посредством собственных прекрасных качеств души. Багрецову чужды были люди с гуманными побуждениями, не умевшие возвыситься или до спокойного созерцания идей, или до решительных действий. Но сейчас, после смерти жены, в нем пробудилась своеобразная тяга именно к обладателям веры и истины субъективной. Едва он перестал быть творцом, неудержимо захотелось ему стать разрушителем. Утверждение чьей-либо веры или убеждения уже волновало его сладкой властью эту крепость разбить. Особенно потянул его Герцен. Но, как нарочно, его тогда в Петербурге не оказалось, он, скомпрометированный нелепой студенческой историей, был сослан в Пермь.

Из всех прежних знакомых только с одним человеком у Багрецова сохранились отношения. Больше того: из ученически-почтительных они превратились в привязанность. Выходило, будто сама судьба опять связала его косвенно с другом, который еще в годы учения столь великодушно искал с ним союза «взаимного эквилибра». Через старика Иванова Багрецов стал узнавать все тайны вдохновения его сына.

Простодушный старый ребенок! Он бы самого дьявола мог натравить на своего сына, не понимая, что

делает. Отношения старика Иванова к Багрецову начались с случайной встречи на улице. После того как Багрецов разбогател и завел свой особняк, бывшие товарищи при встрече кланялись с ним неохотно, подчеркнуто звали по имени-отчеству, тем выражая безмолвное ему осуждение. Как-то утром, после ночи, проведенной в загородном кабаке, — таков стал у Багрецова обычай, — он, чтобы освежиться, с островов пешком шел домой. У самой Академии его окликнул Андрей Иванович, шедший на лекцию. То, что старик по-прежнему назвал его «Глебушка», нежданно тронуло его, как ребенка.

— Что ж не зайдешь? Тебя сынок мой особо любил, да и мне охота тебе похвастать его итальянским успехом. Да вот, не откладывай, приди нонче обедать.

Отвыкший от бескорыстного человеческого привета, Багрецов с удовольствием пошел к шести часам, через знакомые академические коридоры, отдавая поклоны постаревшим сторожам и натурщикам, в квартиру Иванова, так памятную с детства. Едва он перешагнул порог этих необыкновенно опрятных комнат, увидал моложавую мать Александра за пяльцами, неоконченную акварель сестры, лампады перед образами, как уже весь был окутан атмосферой особой, тепличной нежности. Не она ли являлась главным источником повышенной чувствительности Александра? Семья Ивановых была не только сплочена, как редкие русские семьи, она была ярким выражением своего времени, и при всей привлекательности сердечной там царил дух трудно выносимой приниженной покорности. В своей крепкой обрядовой вере отец смиренно принимал все виды произвола, от царского самодурства до самоуправ-

ства чиновников, как установленные волей божией. Это был талант запуганный, обезличенный требованиями Академии насаждать искусство «строгое, безвредное и высокоумное», с предписанием: Микеланджело именовать «дерзким», Рафаэля — «добронравным». Но все же это был талант.

Мать, рожденная Демерт, происходила из артистической семьи, была очень красива, с чертами правильными, типа Тициановых женщин. Особенного влияния на сына она не имела. Отец был единственной поглощающей привязанностью Александра Иванова как человек и художник-учитель. Это чувство у него обострилось сейчас на чужбине, особенно после отказа от радостей первой любви.

Старик Иванов, запуганный интригами товарищей, бесцеремонностью сановного академического начальства, наряду с нескрываемым восторгом к успехам сына, чуть-чуть, как и он, пришепетывая, то и дело вставлял:

— Пишу Александру, ох, бойся высокоумия, беседуй с священниками, избегай разговоров, внушающих надменность! Впрочем, сын мой далек от гордыни. Вот гляньте, он пишет, что счастлив одобрением именитого Каммучини. Под его влиянием отменный эскиз свой «Сусанна и старцы» положил переделать...

Старик вынул из старинной шкатулки черного дерева, полной римских писем сына, листок и прочел:

«Каммучини сказал: бегущие старцы ни в коем случае не допустимы. Я их выбросил...»

Багрецов особенно помнил эти нехитрые слова старика, они были ему живым документом силы его теперешнего влияния на его сына. Не на днях ли Александр

Иванов про этого же римского премьера сказал Багрецову его же словами: это мастер надутый!

Подрыв влияния Каммучини, чья слава не стоила и мазка гениальной кисти Иванова, был началом иных предполагаемых воздействий Багрецова, решающих...

Не зная, для каких соблазнов, в своей старческой болтливости отец Иванова предавал Багрецову тайные мысли, и характер, и все интимное содержание творчества сына. То он подробно расчленял композиции присланных из Рима копий с «Братьев Иосифа», с «Самсона и Далилы», то, перебивая себя сам, восклицал:

— При такой мощи рисунка, думаешь, Глебушка, он зазнался? Нимало. Он все тот же, скромнейший. Да вот выслушай, что говорит...

Старик надевал на свой крепкий коротенький нос очки и читал из письма сына:

«...Я работаю, чтобы удовлетворить *вечно недовольный глаз мой,* а не для снискания чего-либо».

— Глебушка, — воскликнул добрейший профессор, — ты молод и невинен, отдайся, как Александр, всецело искусству! Поверь, нет счастья большего на земле, как, имея *вечно недовольный глаз,* продвигаться все дале, в область радостей бескорыстнейших. Отдайся живописи!

Но Багрецову было трудно работать. Он еще долго, бесплодно и грязно болтался в России. И странно, на отъезд в Рим толкнул его снова он, отец Александра Иванова. Это было осенью, на выставке прекрасной картины его сына «Христос в вертограде»...

Невольно залюбовавшись Магдалиной, ее улыбкой сквозь слезы, Багрецов не заметил, как старик Иванов

оказался с ним рядом. Он был в вицмундире из уважения к итальянским успехам сына. Эта встреча была для Багрецова окончательной, и он помнил ее до пустячных подробностей.

— Какова сила письма, — шепетнул старик, не здороваясь, а беря под руку и как бы продолжая давно затеянный разговор. — Ну, разве не живая жена-мироносица? После бесконечно пролитых слез, «утру глубоку», как поется в пасхальной песне, она лицезрит учителя живого! О, сколь натурально разведены в удивлении руки, а тело? Оно восхищенно склонилося долу, а полные слез глаза уже сияют неудержимой нечеловеческой радостью. Представь себе, Александр заставлял натурщицу для натуральности резать крупную луковицу, что вызывало в ее глазах слезы, а он ее при этом изрядно смешил... Я боюсь, не плохой ли он уже христианин? Вот ведь и у Христа торс Аполлона, и нет обычных к этому евангельскому тексту атрибутов садовника. Мы с ним письменно пререкались...

И вдруг испугавшись, не предал ли сына, старик с новым жаром подхватил:

— Вся Академия в восхищении от свободы драпировок, от глубины картинной плоскости! Президент Оленин удостоил меня, как отца, поздравлений, сам император соизволил высказать похвалу...

Похвале императора, которой старик хвастал, Багрецов уже знал цену от академистов. При всей своей забитости они осмелели оценку царя назвать *жеребцовой.*

И по справедливости. Едва завидев картину, неспособный оценить ее достоинства живописного, Николай

выпалил про Магдалину: «Могла бы быть попригожее!»

Старик опять затащил Багрецова к себе, и он должен был слушать о том, что говорит о картине критика «Северной пчелы», о мнении Кукольника, находившего, что признание картины копией с древних мастеров, как это произошло с кем-то на выставке, есть уже для нее наивысшая похвала.

— Ему дали *академика,* — сказал старик со слезами на глазах, — но самое неизъяснимое и прекрасное — это все же собственная душа его. Пойдем ко мне в кабинет!

Андрей Иванович провел Багрецова к себе, запер двери, посмотрел, нет ли кого чужого в коридоре, и дрожащими от волнения руками, держа последнее письмо сына, прочел:

«Как жаль, что меня сделали академиком! Мое желание было никогда не иметь никакого чина...»

— И, представь, еще юношей он, бывало, говаривал, и с каким азартом: *«Художник должен быть свободен совершенно, никогда ничему не подчиняться!»* Но, Глебушка, узнай и главнейшее — слушай: моего сына с детских лет окружала восторженная вера всей нашей семьи. И вот я опасаюсь, не гордость ли это? Сюжет так необычаен по внутреннему расположению. О, что он замыслил! Вообрази: он решил всех *обратить ко Христу.* Да, да, ни более ни менее. Такого написать Христа, такое дать несказанно благодатное его появление, с такой силой перелить свою веру, заразить ею, передать из рук в руки неверующему, чтобы, едва подойдя к картине, он бы в сердце своем пал на колени, тут же, не отходя, смыл в духовной Иордани все преступления,

все грехи и, восстав в чистых ризах, с Иоанном воскликнул бы:

— Се агнец вземляй грехи мира!

. . . .

Растративши безумно юность, опустошенный и разоренный, Багрецов стал вдруг неотступно мечтать о встрече с Александром Ивановым. Сперва без ясно очерченной цели, с одним острым волнением охотника, которому вдруг указали давно желанную дичь. Но с каждым новым посещением старика Иванова, с каждым свежим письмом из Рима — мысль его наливалась жестокостью. Сам бесплодный, он присутствовал при развитии громадного замысла, который художник почитал уже событием мировым.

Да, мысль Багрецова наливалась жестокостью, и напряженная злая воля знала: или картина Иванова, которой отдал он целую жизнь, будет им брошена неоконченной, или я вместе с ним еду в Иерусалим, куда он так долго и горько просится у бездушных властей, я на его дело отдам состояние, стану слугой и хранителем его дарования.

И вместе с тем в тайнике сердца, про который человек сам себе уж и не хочет сказать, Багрецов, разбитый собственной пустотой, нет-нет, а мечтал о некоем «чуде»: заткнув уши, зажмурив глаза, неровен час, самому выкликнуть вслед за Ивановым, как кликуша: «Credo, credo, quia absurdum!» [1]

Прежде чем уйти к черту, попробовать надо б и это.

И Багрецов уехал в Италию.

---

[1] «Верую, верую, потому что бессмысленно!» *(лат.)*

ГЛАВА V
СЕВЕРНАЯ КОРИННА

> Перо терзает иногда сильней,
> Чем пытка! Чтобы уничтожить
> царство,
> Движения пера довольно; даже рай
> Дает перо отца святого папы.
> Ты веришь в эту власть?
>
> *Лермонтов.*

«...Царица муз и красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений», — так писал ей Пушкин, посылая «Цыган». Стихами менее прекрасными, но не менее лестными восхвалили ее Баратынский, Иван Киреевский, Козлов и безнадежно влюбленный юноша Веневитинов. Адам Мицкевич был с ней связан восторженной дружбой, или, как это лучше звучит: amitié amoureuse.[1] Император Александр посылал ей письма с особым курьером. А Глеб Иванович Багрецов замыслил против нее предерзостный и хитрый план.

— Ты уверен, Гоголя ничем не заставить пустить в ход свои связи с княгиней, чтобы освободить Бенедетту? — спросил он как-то Иванова.

— Пропащее дело. Гоголь говорит, что княгиня не станет просить за пошедшую против ватиканского управления. Она всецело под руководством умелых патеров, которые гонят ее золото в свой карман, а силы души только в небо, где — уверили ее — знают лучше, кому что давать. Не так давно близкого ей юношу, некоего

[1] Любовной дружбой *(франц.)*.

сироту Владимира, первоначально взятого на воспитание как сына, она, не поставив на ноги, выбросила просто писцом к банкиру Валентини: признаюся, я немало был изумлен...

— Ужели тебе не прискорбно видеть, — сказал Багрецов, намеренно задевая слабую струну в чувствах приятеля, — как дорожит Гоголь ее обществом? Не сам ли ты намедни мне говорил, что даже его матушка мучится, как бы патеры не свернули его в католичество? Сердце матери чутко: и не оглянемся, как Рим прибавит к именам аристократов имя славнейшего писателя русского. Ты полагаешь, что это возможно?

Иванов приподнял синие очки и для верности глянул в зрачки Багрецова внимательными, необыкновенно умными глазами.

— Это возможно, — сказал он с печалью, — Николай Васильич сейчас в таком разоренье. Намедни сказал мне: *«Забвенья, глубокого забвенья жаждет душа моя!»* Потом глаза его зажглись и пророчески, как ихний ксендз с кафедры, он вдруг возгласил: «Все и вся должны исчезнуть, не только литература русская. В нетленном мире тленное не будет иметь места!» О, сколь хитры ковы иезуитов.

— Вот видишь, — подхватил Багрецов, — и я боюсь за Гоголя. Вовлекут в сети твоего «важнейшего» так, что потом и не вызволить... и потому вот предложение: входи со мной в заговор против святых отцов на пользу Бенедетте. Строчи немедля Гоголю, чтобы он выпросил у княгини позволения привести к ней, ну, отгадай, кого? Конечно, Доменико. Он в ярости не похуже патеров сумеет погнуть на свою линию, а до новых впечатлений княгиня, побожусь, что падка и сейчас.

— Что ты, что ты, большие могут выйти неприятности, — отмахнулся Иванов, но, подумав, прибавил: — Однако посоветуюсь с самим Николаем Васильичем.

Через несколько дней все по обыкновению встретились под вечер в кафе Греко. Вдруг Гоголь в отличнейшем расположении духа сам сказал Багрецову:

— Передать вашу просьбу княгине и подготовить ее к революционным речам Доменико я не берусь, но подобное свидание считаю сам не без пользы ввиду Бенедетты, из-за которой работа Иванова стоит. И знаете что? — Он прелукаво ухмыльнулся и шепнул: — Повалимте-ка этим же вечером в виллу гуртом, без никакого зова, как истые северные медведи? А нуте, обработайте для этого дела того голосистого...

И вдруг, пристально вглядываясь в Багрецова, будто впервые его увидал, Гоголь сказал:

— А ведь вы были *тогда на Николин день у меня?* Еще в погодинском саду Лермонтов нам читал, аль запамятовали?

— Вы отлично знаете, что я *этот вечер* забыть не могу, и сами меня сразу узнали, но по капризу признать не хотели.

— Ишь вы какой, — ухмыльнулся Гоголь, — заметливый! Ну, зайдите, тогда и побалакаем, а сейчас того... брата Гракхов раздобудьте, да швиденько, пока на виллу черных сутан не набралось. Я свободный от них час знаю...

Багрецов, не торгуясь с возницей, понесся из одного конца города в другой — захватить Доменико на одной из известных ему квартир. Доменико видался с ним в последнее время ежедневно и, польщенный его непритворным интересом к планам «Юной Италии», был с

ним доверчив. Он оказался в крохотной комнатке за кухней в остерии Лепре, которую толстая синьора Пепита, к изумлению Багрецова сочувствовавшая революционерам, давала ему безвозмездно.

— Синьор Доменико, — вскричал Багрецов, — если вы хотите увидеть на свободе вашу сестру, чудесно пополнить тощую кассу «Юной Италии» и в придачу натянуть длинный нос отцам иезуитам, идемте со мной нынче вечером к древним Клавдиевым акведукам!

— Вы раскопали клад? — спросил Доменико, не отрываясь от работы.

— Да, и как всякую неподдельную ценность, его блюдут драконы. На этот раз не огнедышащие, а медоточивые, в черных сутанах.

— В таком случае, и не будучи архистратигом, я сразиться готов! Но в чем дело?

— Мы сегодня идем с вами на виллу Волконской, где Гоголь вас представит княгине, а вы, как маэстро в бенефис, превзойдите себя самого: чаруйте ее какими знаете чарами, но вовлеките в круг своих интересов.

— Но княгине я покажусь самим дьяволом, через два слова она мне велит замолчать.

— Ваше дело направить верно подкоп, и Троя взята была не оружием, а лишь деревянным конем. Княгиня чувствительна и полна благородных стремлений. Троньте ее страданьем несчастной страны и, когда «пламя голубое» ее воспетых поэтом, когда-то прекраснейших в мире глаз затуманится слезою сочувствия, идите смело в атаку!

— Однако у вас выработан целый комплот, — улыбнулся Доменико. — Есть сообщники?

— Иванов и Гоголь. У последнего внезапный каприз

нам помочь. Надо спешить, пока он не остыл. Гоголь проведет всех в час, когда нет никого. Он же изобрел этот истинно варварский способ ввалиться «без никакого зова», как он выразился, одной сплошной гурьбой. Княгиня — артистка с головы до ног. И, сколь ни забивают ее ловкачи-патеры страхом ада, прежде всего неравнодушна ко всему яркому и даровитому. Вдохновитесь же, милый Доменико, в ваших руках свобода Бенедетты!

Смуглое лицо Доменико не вспыхнуло, а покраснело медленно и тяжело. Он был взволнован.

— Если дело серьезно, — сказал он, — то расскажите мне все, что знаете про княгиню. Признаюсь, то, что я знаю про нее сам, меня немало смущает: то она ставила оперы, то выступала на конгрессах певицею и поэтом, то писала научный трактат, то отдалась благотворительности. Но есть ли этот всеобъемлющий дилетантизм прирожденное легкомыслие? Но то, что восхищает в гостиной, всего меньше бывает способно к серьезному бескорыстному одушевлению. Однако расскажите мне про нее на совесть, без излишнего красноречия, попротокольнее, вроде как пишут «жизнеописание».

— Извольте: княгиня родилась в Дрездене, где отец ее был посланником. Детские годы ее прошли в Турине. Мать ее умерла рано, ее заместила мачеха, отчего у девочки возник восторженный мечтательный культ покойной матери. Как видите, сразу: ни крепкой нормальной семьи, ни родины, ни своего языка. Отцу ее — князю Белосельскому-Белозерскому, блестящему стилисту и только из-за дипломатической карьеры не литератору, Вольтер писал: «Вы владеете нашим языком лучше, нежели все молодые придворные французы».

Естественно, что и дочери французский заменил русский.

Отец был помешан на искусстве, его салон являлся сборным пунктом всех знаменитых артистов и писателей. Стихийная любовь к искусству и религиозность в наследство от бабки Татищевой — вот две линии, по которым пошло развитие княжны Зенеиды.

Очень рано она выходит замуж за брата декабриста Волконского, и начинается для нее ряд непрерывных блистательных успехов. На Венском конгрессе она набирает труппу из поклонников Россини, ставит его оперу на частном театре, вызывая бурные восторги. В Вене выступает певицей с таким успехом, что знаменитая Марс говорила: «Жаль, что такое дарование у дамы большого света, ей не дадут сделаться артисткой». И, конечно, ей не дали. Император Александр, говорят, не однажды пенял ей за страсть к публичным выступлениям, а за ним великосветские осы жалили как могли. Я много подробностей из жизни княгини слыхал от моего отца, приятеля старого Белозерского. В двадцатых годах княгиня в Риме. Теперь она — композитор. Написала оперу, в которой, как здесь многие еще помнят, сама исполняла главную роль. Бруни и Брюллов писали ее портрет...

На Веронском конгрессе новые выступления, новые лавры. Затем в Петербурге княгиня углубляется в археологию и историю. Задумывает повесть о первобытных славянах, не без некоей мистической подкладки, пишет поэтому об Ольге, великолепной язычнице и проблематической христианке, которую родословная князей Белосельских считает в своем родстве. Работа ее оказалась настолько интересна, что ученое общество

российских древностей избирает ее своим почетным членом. В двадцать шестом году салон ее особенно блистал: в нем появились Пушкин и Адам Мицкевич... В позднейшее время княгиня занялась проектом эстетического музея при Московском университете, готова была жертвовать свои средства на закупку мраморов, на заказы копий с классиков, но прекрасный и нужный проект отклонили. Этот отказ порвал последнюю надежду, которой она пыталась связать себя с жизнью родины. Да, наша грубая и жесткая родина оказалась тоже мачехой по отношению к этой необычайной по дарам и энергии женщине. Русский быт парализовал возможность таланту ее завершиться во что-нибудь окончательное. Княгиня расточила себя по мелочам, нигде не выразившись в совершенстве. Но зато она сумела объединить вокруг себя художественную жизнь России. Ее имя навсегда связано с именем Пушкина, с блистательным мигом истории нашей культуры.

Как видите, вы неправы, — закончил Багрецов, — обвиняя княгиню в легкомыслии и дилетантизме. Всему виной ее биография. Повторяю, Зенеида Волконская характера благородного, способная увлекаться до самозабвения, но жизнь с рождения бросила ее в мир фантазий. Сама она не умеет спуститься на землю, но благородная, твердо устремленная воля может направить ее на какой угодно подвиг. Словом, мой друг Доменико, отбейте эту прекрасную душу у святых отцов!

— Во имя сатаны, патрона всех отважных, я ее отобью! Но куда же идти? И когда?

— Сию минуту, сборный пункт у Гоголя, оттуда на виллу.

. . . .

Вилла княгини стояла на холме. Если взглянуть на нее снизу — необъятная корзина цветов. От подножья до верху стены заткал темный плющ. А по нему пышно разбросались розы, чайные и розовые, и мелкие сорта банкций. Благоухание гелиотропа, лакфиолей, глициний и горький дух повилики дурманили голову. Гордый акант, увековеченный греками в роскоши коринфской капители, как изваянный из темного камня, вырезывался на легком зеленоватом небе. Княгиня приютила свой казино под сенью колоссальных арок древнеримского акведука. Вот здесь любил в одиночестве лежать Гоголь, теряясь взорами в пустынях Кампаньи.

Пониже тянулись густые аллеи, где между листвой кипарисов, платанов, маслин сверкали обломки пьедесталов, колонн архитравов, которые помнили времена Цезаря и времена еще более ранние. На монументах золотились надписи о незабвенных людях: иных великих по человечеству, других просто близких сердцу.

Они четверо шли по громадному винограднику, разделенному полуарками Клавдиева водопровода. В этих арках, как в рамах, открывался то древний собор, то голубые Альбанские горы. Внизу змеилась дорога, обсаженная орехами и платанами. Вокруг четырехугольного дворика, как солдаты на смотру, выстроился лоза к лозе кудрявый, усатый, пышно разросшийся виноград.

— А гляньте-ка, вон и княгиня, — сказал Гоголь, — она в «аллее друзей», в самом конце, у колонны Байрона. — И, понижая голос, продекламировал: «Звездой полуденной и знойной, слетевшей с Тассовых небес, даны ей звуки песен стройных и гармонических чудес...» —

А ведь это ей было писано в юности и не от кого-либо — от крупнейшего из людей.

Все свернули на «аллею друзей». Здесь уже в известном порядке, чередуясь с кипарисом, мимозой и лавром, возвышались обломки древностей с надписями.

— Никак это Campo Santo[1] княгини? — спросил быстрый Доменико.

Глаз схватывал то тут, то там посвящения. Пред одним камнем Гоголь всех задержал движением руки.

— Александр Пушкин, Евгений Баратынский, Жуковский.

Сняли шапки, молча стояли. Потом блеснули буквы:

A Goethe. Il fut l'oréole de sa patrie.[2]

— А вот и Веневитинов, прекраснейший юноша, полный души и таланта, беззаветно отдал свою лиру и сердце этой женщине... — начал с нескрываемой досадой Иванов.

Но Гоголь, строго взглянув на него, кончил сам:

— Дмитрию Веневитинову посвящена прекрасная строчка из его собственного стихотворения: «Как знал он жизнь, как мало жил!»

На колонне Байрона, около которой стояла княгиня, ярко светилось: «Implora pace!»[3]

— Вот я привел вам, княгиня, — сказал без всякого предисловия Гоголь, — своего приятеля, пламенного патриота среди итальянцев, синьора Доменико.

Княгиня с естественностью очаровательной сказала:

---

[1] Кладбище, украшенное памятниками *(итал.)*.
[2] Гете. Он был славой своей родины *(франц.)*.
[3] Молю мира *(итал.)*.

— И отлично сделали, что привели.

— «Implora pace», — прочел вслух Доменико, — но разве покоя хотел этот неукротимый? Его ль он искал, когда бежал из отечества, живя у нас близ Равенны, принимал участие в заговоре карбонаров, хранил их оружие в своем замке? И в бою за чужую свободу нашел себе смерть в Миссолунге? Зачем же молить о том, чего человек *себе сам не хотел?*

Княгиня с милостивым снисхождением, как на интересного ребенка, смотрела на Доменико. Гоголь поспешил сказать:

— «Implora pace» адресовано совсем не к земному поприщу поэта. Однако именно здесь, в Италии, приятно было бы каждому прочесть благодарность от страны, столь им дивно воспетой. Вот и просим мы вас, княгиня, сказать нам хотя бы собственное ваше стихотворение в прозе по этому поводу.

— И очень просим, — поклонился Иванов.

Тотчас княгиня со всей естественностью, ее отличавшей, сказала прекрасным грудным голосом:

— Венеция! Волны морские могут залить тебя, твои дворцы и храмы, смыть радужные краски Тициана, но имя твое, Венеция, звучит навеки на золотой лире Байрона. Стихи великого поэта — неразрушимый Пантеон.

— Теперь вы довольны? — обратилась она к Доменико.

Княгиня, все еще прекрасная в своем увядании, была охвачена поэтическим чувством. Ее большие голубые глаза, столько воспетые, лучисто засияли.

— Прикажете быть искренним, княгиня?

У Доменико, при виде этого изменчивого, живого лица, явилась надежда на успех своей проповеди.

— Если для этого нужно мое приказание, я приказываю, — улыбнулась она.

— Ну вот: для меня никакие стихи Байрона не могут сравниться с его прекрасной готовностью бросить жизнь *за свободу* чужого народа; будь это лишь вспышка благородного сердца, одна она достойна бессмертия. О, если бы вы знали, княгиня, что значит отдать свою жизнь народу, жить не одной, жить тысячью жизней, горем и радостью всех!

— Но я очень понимаю вашу страстную любовь к такой чудной родине, — прервала княгиня чрезвычайно любезно, но вдруг с той же светской сдержанностью, которая неуловимым холодком предупреждает неприятную чужую экспансивность. И, желая свернуть разговор в знакомое русло искусств и науки, она обратилась к Гоголю и Иванову, жестом приглашая их в свой союз.

— Не правда ли, все страны — должницы Италии? Она положила начало европейской науке, создала мировое искусство и мировую литературу. Ведь Данте только по языку принадлежит вам... — И она очаровательно улыбнулась Доменико, как человек, осыпающий нежданными милостями.

Голова Доменико, кудрявая, чистого римского типа, была так хороша среди древних руин, что Иванов, не сводя глаз, едва ли слыхал разговор. Зато Гоголь, сидя по обычаю своему нахохлившись и уйдя в воротник, весь насторожился и зорко глядел то на княгиню, то на Доменико.

— Что, не довольно вам торжества? — сказал он ему. — Слышали: все страны вам должники? По искусству вы — первейшая страна...

— К сожалению, это первенство в искусстве мы купили ценой своего политического существования, — отрезал Доменико так желчно, что княгиня с испугом оглянулась кругом.

Иванов, как бы спрятавшись за синие стекла своих очков, упорно молчал. С лица Гоголя не сходило лукавство. Багрецов, как всегда не в интимном кружке, умел настолько стушеваться, что никому не приходило и в голову его замечать. Но внутренне он был в сильном волнении от того, чем разрешится визит Доменико. Его революционным речам здесь до грубости неуместно было звучать. Вдруг Гоголь придумал ловкий маневр.

— Княгиня, — сказал он, — к вам не долее как через час придет ваш аббат, и вы будете под надежной защитой. Выслушайте же пока, не оскорбляясь их смыслом, речи Доменико. Тем более, если молодой друг наш заблуждается и пришел к вам с полным доверием, вы должны его выслушать хотя б для того, чтобы узнать, от чего именно его вам придется спасать! Доменико — такое же дитя народа, как и те, что зовут вас «beata» и к кому вы столь бесконечно добры.

— Только разрешите держать мне свою речь в более уединенном месте, — попросил итальянец.

— На моем акведуке, — подсказал Гоголь.

Княгиня ласково улыбнулась. Артистка проснулась в ней. Горячее лицо Доменико, необычайный в ее доме тон — все ее заинтересовало. Она сказала:

— Разумеется, на акведуке всего безопаснее. К тому же, кроме Николая Васильича, туда любят лазить только коты. Еще несомненное преимущество: там сухо и даже этот малярийный час не опасен.

По каменной лестнице они вошли на просторную террасу, вознесенную высоко над городом. Солнце село, и набежавшие сумерки уже поспели заполнить весь город лиловою мглою и отнять у зданий их дневную отчетливость. Пустыня Кампаньи отодвинулась дальше и казалась затихнувшим в безмерности океаном.

— Я люблю этот тихий час, — сказала княгиня, — когда Рим замирает пред тем, как ему вспыхнуть огнями. Даже пения не слышно. Я вас слушаю, — повернулась она к Доменико.

— Княгиня, — начал он в заметном волненье, — я буду говорить вам о том, что поглотило все мои мысли и чувства, всю кровь до последней капли. Я буду вам говорить о судьбах Италии. Простите, если это выйдет немного похоже на лекцию, но ведь в истории без беглого обзора прошлого нельзя понять, чего мы жаждем в настоящем.

— Охотно вас слушаю, — сказала княгиня, — хотя, признаться, если это политика — я всех менее могу вам помочь...

— Вы наблюдали, княгиня, в силу вашего положения всегда только внешний ход событий, не зная их корня. Вы имели влияние в высших сферах, но были устранены от самого *процесса жизни*. Но ведь только участие в этом процессе и дает человеку сознание своей неразрывной связи с целым. Княгиня, припомните, как прекрасно вы понимали страдания патриота Адама Мицкевича, как глубоко хотели их облегчить. Так вот: эти страдания сейчас — удел *целого народа,* которым вы окружены, который, как сказал сейчас Гоголь, зовет вас «блаженной». Узнайте же эти страдания!

— Говорите, — сказала княгиня.

— Еще среди хаоса средних веков мечтой о едином итальянском союзе были живы мы — итальянцы. Мы помнили, что мы римляне. И, как мощный разорванный организм, мы знали боль свою и жаждали воссоединения. Мы рано поняли: на стороне какого бы из владык, папы или императора, ни оказалась победа — *жизнь нации связана только со смертью обоих*. Уже Ломбардский союз — разительный пример обаяния идеи свободы и единения городов. Благодаря папам и королям, бессильная составить единое тело, нация стремилась к единству, хотя бы отвлеченному. Вы только подумайте: как сейчас, и тогда каждый жил своим маленьким виноградником, своими мелкими распрями... Но едва иноземец Барбаросса посягает на права городов, разорванные клочья встают мощным Ломбардским союзом! О, не будь предательства папы, мы тогда уже свергли бы чуждое иго! Не раз, не раз хоронили папы зарождавшуюся свободу Италии.

— Простите меня, — прервала княгиня, — однако недавний опыт Бонапарта, наводнивший вашу страну республиками, нашел тоже немало хулителей. Какая же свобода еще вам нужна?

В ее голосе слышалось раздражение, и руки, легко лежащие на коленях, дрогнули.

— Княгиня, ваша речь — вода на мою мельницу. Ваш пример был у меня на устах. Но совсем с иным выводом. Тот, чье убеждение было: tout *par* le peuple, rien *pour* le peuple, [1] — разве мог дать народу свободу? Да он искромсал несчастную страну ножом по живому телу. Он раздавал, как вотчины, своей родне наши

[1] Все руками народа, ничего для народа *(франц.)*.

древние республики, он приносил народ в жертву чуждым ему замыслам. Нет, напрасно бонапартисты клянутся, что замысел Наполеона был — единство Италии. Но за урок мы ему благодарны: французское владычество и преобразования закрепили в нас сознание бесповоротное, что народ освобождается только *собственной силой.*

Дальнейший опыт — Венский конгресс. Он превзошел и Наполеона. В самом деле, что дали Италии все эти герцоги и короли, водворенные на старые места? Трудно поверить, но уже это — история.

Ботанический сад в Турине разрушен, как произведение французского вольнодумства. По той же остроумной причине отменена прививка оспы и освещение города фонарями. Больше того, король Фердинанд отказался ездить по главной улице, проведенной французами, и велел прекратить раскопки Помпеи. Восстановлена инквизиция, папская булла прокляла книгопечатание. О, Макиавелли еще раз прав. Никакие неистовства Борджий не могли быть так гибельны для Италии, как тот путь, на который толкнула ее сейчас власть духовная. И что за дикость — *над нами монах государем!* Объявляет себя главой христианского мира, из которого три четверти не признают его вовсе, а половина второй четверти терпит его из нужды...

— Нет, таких речей я слушать не желаю!

Княгиня встала.

— Простите его, княгиня, — заторопился Иванов.— Про папу это зря он болтнул. У него настоящее дело есть к вам, кровное, уж дайте ему досказать.

Но Доменико летел, как в бою. Забыл этикет, наступал на княгиню, кричал:

— Благодаря стольким испытаниям люди нашего поколения пробудились к страданию! А страдание научает мыслить.

Княгиня подняла руку, Доменико и тут не дал ей сказать:

— Простите мою резкость, но я говорю о том, что для меня дороже жизни! Своим положением в свете вы были отрезаны от действительности, я вырос в нужде, я знаю ее слишком хорошо. Все страны мира — должницы Италии, — это ваши слова. Так заплатите же ей хоть за вашу страну. Помогите вы, восхищающаяся ее Рафаэлем, ее Микеланджело, помогите завоевать ей то, что есть у каждого поденщика, — родину!

И прежде всего, княгиня, помогите освободить бойцов, восставших за достоинство народа, о котором намедни один из королей себе позволил сказать: «Мои провинции должны забыть, что они итальянцы. Они должны быть соединены только общими узами — повиновением моему дому».

Княгиня, всем известно, что вы благородны и чувствительны, повторяю: недаром народ наш прозвал вас «beata», но вы в заблуждении, вы не знаете правды, вопиющей человеческой правды ни о чем!

На Веронском конгрессе, когда вы пожинали восторги и лавры, выступая публично, вам не приходило в голову, что делали с нашим народом эти герцоги, дипломаты и короли, целуя ваши руки и выражая изысканно свой восторг! Знали ли вы, что на этом самом восхищавшем утонченное чувство конгрессе было решено, что австрийский корпус в двадцать пять тысяч человек займет Неаполитанское королевство и весь наш Пьемонт?

И сейчас, княгиня, у вас дурные советники. Их черные сутаны закрыли вам свет солнечный...

— Только не сбейте одного из них с ног, — шепнул Багрецов, одергивая за руку Доменико, который, в пылу речи отступая назад, чуть не столкнул с ног аббата, подымавшегося на террасу.

Доменико отскочил, как ужаленный, но аббата уж не было. Увидав, что княгиня здесь не одна, он скользнул в боковую нишу.

Княгиня сделала несколько шагов к Доменико и сказала с мягкостью, но очень решительно:

— Между нами пропасть, и говорим мы с вами на разных языках. Поясню примером: когда император Николай спросил митрополита Филарета, освобождать ли ему крестьян, тот ответил, что для церкви ему не важно, *свободны они или рабы;* для церкви важно, чтобы они были *православными.* Так для меня сейчас, когда я узнала истину о вечности, мне тоже кажется достойным заботы только одно: чтобы все люди стали *католиками.* Все же прочее, вплоть до исторических судеб народа, — суета сует.

Бешенство, как огонь, пробежало по лицу Доменико. Гоголь схватил его за руку, а Иванов выбежал вперед и, растопырив ладони и нелепо трепыхая своим черным плащом, заговорил, пришепетывая, торопясь спасти положение:

— Но есть, княгиня, поприще, где люди даже противоположных убеждений могут не быть враждебными, это — *сострадание,* простое человеческое сострадание! Сестра Доменико, прекрасная Бенедетта, почти ребенок, томится в тюрьме. Похлопочите об ее освобождении!

— Я не делаю ни единого шага, не посоветовавшись со своим духовником, — сказала, заметно побледнев, княгиня.

— Тогда во имя чести забудьте весь наш разговор! — крикнул Доменико. — В Италии каждый служитель алтаря — предатель народного дела.

И, не оборачиваясь на спутников, Доменико стремглав кинулся вниз по лестнице.

ГЛАВА VI

ВЫСОЧАЙШИЙ ПРИЕЗД

> Вдруг двери студии распахнулись, и вбежавший стремглав Александр Андреевич Иванов в вечном плаще с красным подбоем от поспешности чуть не растянулся на пороге. — Государь здесь близко, в базилике Maria Maggiore, и сейчас будет к вам! — вскрикнул он.
>
> *Ставассер.*

Александр Иванов жил на горе. Пройдя с улицы Сикста через чудесный сад, затканный гроздьями винограда и цветущими розами, Багрецов прошел к нему в мастерскую. На огромном окне стояла ширма в полтора стекла, чтобы убить яркую зелень рефлексов от деревьев: миндаля, фиг, орехов, древней змеевидной лозы.

Гигантская картина «Явление Мессии» была задернута драпировкой. Внезапно отдернув ее, художник, словно посторонний, мог глубже отмечать недочеты.

Больше двухсот этюдов природы и фигур было развешано по стенам.

— Александр Андреич, — сказал Багрецов, — ты еще долго намерен, как муравей, из римских камней здесь лепить Палестину? Сколько раз предлагал я тебе: дай свезу на свой счет. Перестань чудачить. Общество поощрения тебе денег на поездку не даст. Я доподлинно знаю, что в Петербурге по этому вопросу говорят: Рафаэль писал первоклассные вещи, не выезжая из Италии, подобное может и Иванов.

— Нет, уж я дождусь, чтоб художника русского для славы родины послала б, как мать, она сама, родина... А пока что из окрестностей Рима как-никак я создаю иорданский ландшафт. Вообрази: наиболее подошел Субиако, в горах сабинских. Скалы голы и дики, река чудесной быстротекущей воды. Обидно одно: приходится втягиваться в развлечения, до которых я не большой-то охотник. Но, не вызывая злобы у братий «питторов», нельзя отказать с ними поужинать и прочее... даже ломать комедию под гром барабана. Эх, если бабка не наворожила, как тебе, — трудна дорога художнику русскому!

Мало того, что картине жертвуешь жизнью и удобствами, — как удары плетьми — этот обрыв беспрестанный в работе: то болезнь глаз, то натурщик неплочен, то голых людей искать надо — близок свет — в Перудсжии! Ведь эти аспиды, содержатели римских купален, ни самомалейшей щелки для глаз наблюдателя не оставляют.

Однако хоть и питаюсь я одной чечевицей, но на предложения Общества поощрения я, братец мой, не пойду.

— А что пишет оно тебе неприятного?

— Предлагают любовь мою разорвать другою, и это убийство зовут «легким занятием кисти». Говорят, что, изготовляя картины жанра для лотерей, я смогу найти себе и дальнейшие средства к жизни. Варвары люди!

И, вдруг вспомнив о чем-то совсем недавнем, еще и еще с гневом воскликнул:

— Варвары, варвары... о, что они сделали с Бенедеттой! Да я ведь было бежать к тебе хотел, если б ты сам не пришел...

Багрецов вспыхнул. Вдруг при имени Бенедетты забилось сердце, и тут же мелькнуло в уме: как, неужто влюблен? Он даже не сразу понял, что толковал ему Иванов, торопясь, перебиваясь и дополняя речь руками.

— Прибегал на заре Доменико, ее брат, переодетый, с привязной бородой. Его ищет полиция... наспех сообщил: слуга, который склонялся за подкуп выпустить Бенедетту, на другой день после нашего посещения виллы Волконской отказался наотрез. Хуже того: Бенедетту перевели в сырую камеру, запретили свидания. В этом деле видны руки монахов. Я побежал к Гоголю, просил, молил идти немедля к княгине. Гоголь был недвижен, сам чем-то крайне удручен. Представь, он сказал: «Хлопотать не стану. Как попало, зря, в этакую кашу нечего и мешаться. Довольно того, что раз уж напутали, приведя на виллу заговорщика».

Он мрачный такой, Гоголь. «Вопрос по существу решать надо, говорит, кого именно вы считаете на земле хозяином? Ежели себя, то и суйтесь в дрязги политики! Я же признаю над собой хозяина, важнейшего себя. И этот хозяин повелевает мне одно: заниматься грехами собственной моей души, мирным устроением общества,

а не какими-нибудь заговорами и подкопами под властей... Поверьте: вы своей картиной, а я книгою сделаем сильнейшую революцию в мире, нежели глупым вмешательством в дела итальянской полиции».

— И ты в душе с ним согласился? — с гневом вскричал Багрецов. — Когда же ты выйдешь из порабощения Гоголю? Да ты слеп, что ли? Не видишь, что все биготство его, весь тон проповедника — от дьявольского самолюбия? Да он ведь ни с кем из людей не вяжет себя чувством, а каждый ему лишь средство или предмет наблюдения. Ну вот, предлагаю тебе: проделай с ним опыт. Жизнь всего лучше докажет мою правоту. Помнишь, ты мне говорил о своем проекте новой инспекции над художниками, где бы взамен чиновника стоял человек к художникам близкий? Чего ближе поэта? Вот и твоему Гоголю предложи для мирного исправления общества писать о всех вас отчеты своим гениальным пером. Пусть научит власть имущих и все варварское общество наше вернейшей оценке произведений искусства! Это ль не достойное служение отечеству? Вот предложи-ка ему разработать хорошенько проект.

— Изумительный совет, необыкновенное измышление, — сказал Иванов, обнимая Багрецова. — Не сомневаюсь, что порадую этим проектом Николая Васильича в его жажде служить отечеству. А в секретари я приглашу профессора Чижова. Но как жаль, что Гоголь на днях едет в Неаполь! В один миг проект не испечь, а я такой копотун...

— Ну и копайся, над тобой не горит, — сказал Багрецов в досаде, что этот «блаженный», влюбленный в одну лишь свою картину, как глупая рыба, идет на каждый крючок. Гоголь, которым он так дорожит, при

бешеном своем самолюбии, конечно, с ним насмерть поссорится за подобное предложение...

— Ну и черт с ними!

Багрецов был особенно зол: не переставая наблюдать за собой, он немало был поражен сердечным волнением — чувством, давно необычным, которое не оставляло его при мысли о Бенедетте.

«Недостает, чтобы я в это дело ввязался!» — подумал с досадою Багрецов и тут же невольно сказал Иванову:

— Я попытаюсь добиться помощи у Волконской, но без свидетелей...

Иванов пустился обнимать его и благодарить, будто он делал ему личное большое одолжение. И, конечно, так было: Багрецов снимал с нежной совести этого чувствительного человека то, что в нем порождало непосильное чувство ответственности.

Отец Багрецова, живя в Италии, близко сошелся с отцом княгини Волконской. Будучи на много его моложе, он испытывал род юношеского ему поклонения, восхищаясь необычайной просвещенностью, изяществом, грансеньерством князя. Тем более, что по сухости своей природы он подобных размягчающих чувств не любил испытывать по адресу пола слабейшего, боясь утратить свободу.

Княгиня Зенеида была тогда уж подростком и отлично запомнила красивого юношу. Как-то она даже намекнула Багрецову, что отец его был ее первой и, вероятно, единственной, *несчастной* любовью.

Багрецов помнил с детства рассказы об уме и пышности старого князя и почему-то очень раздражительные отзывы теток о молодой княжне Зенеиде. Одна особенно едко приводила слова фрейлины Волковой другой

светской даме, Ланской, по поводу поведения княжны на Воробьевых горах при закладке храма Спасителя: «Уж так-то компрометировать себя, как она с синьором Барберини! Ведь уехала с ним в Одессу. Ей мало и горя, что сам государь недоволен».

Багрецов шагал к вилле Волконской и думал о том, какое бы это было счастье, если б он действительно мог любить Бенедетту. Но нет... Он знал слишком трезво, что́ за чувство им движет... Все та же капризная жажда власти, что гнала деда с полком неприступные брать высоты, гнала отца в увлечении модным научным вопросом — за шальные деньги выписывать негров, венчать их силком в церкви с девками, за каждого ребенка шоколадного цвета выдавать премию...

Честолюбие военное и штатское было чуждо Глебу Ивановичу, но в жизни себя ощущал он хозяином. Да, так было с юности...

Багрецов вдруг, как вчерашний, припомнил один случай с отцом. Старик в тех же целях естествоиспытателя принудил обвенчаться свою побочную дочь Анну, существо недалекое и забитое, с псаломщиком сельской церкви, жадно ожидая, как живописно сам говорил, чем отрыгнется военное семя предков в кутейных кровях псаломщика. Потомства не последовало. Но назло чванным теткам старик ежедневно приказывал лакею звать «зятя» на бостон. Изрядно подпоив дьячка, старик говорил: «А ну, дьяче, дерни-ка мне Иону во чреве китове, али Троицу фигурально».

Закрывал дьяк руками лицо: «Вот он един-с».

И, вдруг развернув на обе щеки ладони, сияя покрасневшим от жертвы Бахусу носом: «А вот он, между протчим, и троичен в естестве-с».

Как-то, идя за книжкой в библиотеку, Глеб Иванович наткнулся на эти увеселения, пришел в мгновенную ярость, схватил, что мелькнулось в глаза — большой хлебный нож, — и кинулся на отца.

Все помертвели. Старик вовремя отскочил. Очень бледный, сказал: «Уважаю вас, Глеб Иванович, и при вас скоморошить не стану».

Слово сдержал, но до последнего приезда из Академии сына звал его на вы и по имени-отчеству, как бы тем закрепляя свое от него отчуждение.

Багрецов так погрузился в прошлое, что очнулся, лишь споткнувшись об обломок капители, нежданно забелевший в изумрудной зелени. Он уже давно был в парке княгини и беззаконно топтал ее чудесные травы, сбившись с тропы. Багрецов решил войти в виллу без доклада, почему-то уверенный, что встретит княгиню в парке. И правда: белое платье уже мелькнуло ему в четырехугольном дворике, обсаженном густо лозами.

Княгиня была одна на скамейке. В руках она держала кожаную золотообрезную книгу. «Фома Кемпийский», — угадал Багрецов. Глаза ее смотрели вдаль, в голубое Альбано, и полны были грусти невыразимой.

Уважая ее печаль, Багрецов в нерешимости остановился. Княгиня сама его увидала. Обыкновенно столь сдержанная, ушедшая в свою особую жизнь, она вдруг в детской доверчивости, как бы не в силах удержать радость, пошла к нему навстречу, протянув обе руки.

Багрецов смутился, что княгиня по близорукости его спутала с кем-либо иным и сейчас он попадет в гнуснейшее положение, определяемое французами непереводимым словом — ridicule.

Изумление его возросло, когда княгиня заговорила:

— О, как хорошо, что это именно вы, вы — русский, и через Татищевых будто бы даже родной. Не правда ли? К тому же образ вашего батюшки со мной навсегда...

Она улыбнулась тою улыбкой, которая, должно быть, некогда кружила головы поэтам, и проговорила с нежною грустью:

— Есть минуты, когда сердце так слабо, что хочет только родного по языку, родного по крови, по родине.

Багрецов вмиг представил себе лицо ее молодым, как он видел его на картине Брюллова: огромные, голубые как небо глаза, сияющие, ликующие вдохновением, золотистые, отлетевшие под зефиром кудри, благородство и нежность сверкающего умом белоснежного лба и эта несравненная легкость, как бы крылатость и сейчас тонкого, стройного стана.

— Предо мной воскресло мое прошлое с такой силой, какой я в нем и предположить не могла. И знаете что? Москва и два вечера у нас, на Тверской... Но присядем здесь.

Она опустилась на скамью в густой беседке вьющихся роз.

— Пушкина, едва привезенного фельдъегерем из двухлетней ссылки в Михайловском, привел ко мне вдруг Соболевский. Я пела ему. О, как он слушал... Румянец то вспыхивал, то угасал на его необыкновенном лице. Так выражалось у него всякое сильное волнение. И поверьте: я пела ему лучше, нежели четырем императорам на Венском конгрессе со всею их свитою. Это была его элегия, положенная на музыку композитором Геништою: «Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман...»

А торжество мое, когда я получила поэму «Цыганы» с большим листом почтовой бумаги, где его крупным, размашистым почерком написаны были единственные по гармонии стихи...

— Я их помню, — сказал Багрецов и, заражаясь ее волнением, понизив голос, сказал:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы,
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновенья...

Он прочел до конца чудесное посвящение. Слезы брызнули из прекрасных глаз «северной Коринны».

— А второй незабвенный вечер, — сказала она, — это когда Мари Волконская приезжала проститься. Она ехала к мужу, в снежную могилу Сибири, где погребены были декабристы. Избранной музыкой хотели мы ей, музыкантше, усладить горечь разлуки с сыном, благословить ее на долгие годы страданий.

Как сейчас слышу: я пою отрывок из Agnès, вот я его оборвала в том месте, где несчастная дочь просит отца простить ее. Внезапно я сделала сближение горя Алисы с горем Мари, которая ехала к мужу против воли отца, и рыдания сжали мне горло. Я кинулась на шею несчастной Мари, и, заливаясь слезами, мы обнялись.

Горькие и светлые, о, незабвенные дни на родине, в этом белоколонном доме на Тверской...

Княгиня закрыла глаза белым платком. Багрецов вдруг догадался, что с ней приключилось что-то необыч-

ное: быть может, ей нужна помощь. Багрецов, растроганный, с глубоким сочувствием сказал:

— Княгиня, как соотечественнику, как сыну друга вашего дома и, если разрешаете, — родне, доверьтесь мне, скажите, что с вами случилось?

Есть простые, задушевные звуки, пред которыми самые скрытные, окруженные загородками люди выходят из своего уединения. Княгиня, по природе полная доверия и прелестной доброжелательности к людям, вдруг сбросила запуганность последних лет, забыла горечь опыта, клевету близких, угрозы муками ада, гибелью души, всю тяжкую эгиду черных сутан и, кладя руку на руку Багрецова, с забытым доверием сказала:

— Мой духовник передал мне вчера постановление святой коллегии в ответ на мою просьбу похоронить меня в церкви святого Анастасия, где хранятся сердца пап со времени Сикста. Но под каким условием они согласны на это! О, как мне оно тяжко! Вообразите, под тем условием, если я собственноручно подпишу вот под этим документом свое имя.

Княгиня вынула из книги лист крепкой белой бумаги и, не в силах прочесть вслух, только сказала:

— Вот...

— Багрецов прочел:

«Склеп для праха католиков из русских княжеских родов Белосельских-Белозерских и Волконских, которые желают, чтобы тела их лежали у подножия, где погребены сердца римских пап, дабы протестовать и загладить от имени всей России ее величайший грех, что она не признает римского папу как единого главу всей церкви и наместника бога на земле».

Багрецов был смущен. Он не мог понять муки княгини. Ему самому было так безразлично, где и *как* зароют его прах, а папы, бывшие и грядущие, казались одной бутафорией. Он молчал, понурив голову.

А княгиня сквозь слезы продолжала таким голосом, каким говорит человек о самом заветном, за что ему умереть:

— О, как мне тяжело принять этот приказ. Мне так... будто, подписав его, я предам свою родину. Может, это только соблазн, минута слабости, и, не появись вы сейчас, я бы справилась с собой.

Багрецову стало томительно душно, его вдруг потянуло с такой неудержимой силой к яркой, к солнечной Бенедетте, что, со всем почтением целуя руку Волконской, он горячо сказал:

— Княгиня, сама судьба, а, по-вашему, сам бог привел меня к вам в ту минуту, когда вы доступны, как все смертные, слабости, колебаниям и боли. Я неверующий и, простите меня, ничем не могу помочь в вашем деле. Наблюдал же я в своей жизни одно: если один человек действительно приходит на помощь другому — он тем самым множит и свою внутреннюю силу. Княгиня, будьте великодушны! Вы страдаете сами, облегчите ж страданье другого... упросите отпустить из тюрьмы Бенедетту, молодую итальянку, сестру того Доменико, который здесь недавно у вас так нашумел...

Кроме того, снимите горькое подозрение со своего дома. Ведь наутро, после речей Доменико у вас, был приказ о строжайшем заключении его сестры с лишением ее свиданий. Все это относят на счет вашего духовника, княгиня, с которым столкнулся Доменико,

произнося на акведуке свои пламенные речи о свободе Италии.

Княгиня, если у вас, душой и телом предавшейся католицизму, все еще не угасла любовь к России... во имя сегодняшней вашей муки, поймите же, посочувствуйте пламенной страсти итальянца к его действительно истерзанной родине!

Во время речи Багрецова княгиня заметно бледнела, голова ее гордо откинулась назад, брезгливость и гнев сверкнули в потемневших глазах.

— Вы мне даете слово, что не введены в обман? — воскликнула она. — Вы можете заверить честью, что этой девушке свиданья запрещены? И это после... после посещения моей виллы?

— Клянусь в том, княгиня! Но вы легко можете это проверить, послав доверенное вам лицо с запиской и передачей чего-либо для девушки.

— Это ужасно, — прошептала княгиня, — мне обещано было как раз обратное. Но прощайте, мой друг... Мне сейчас надо остаться одной. Обещаю вам твердо: эта девушка в скором времени будет на свободе! А вас, в свою очередь, прошу забыть мой откровенный с вами разговор...

Багрецов еще склонился над рукой княгини и ушел с виллы Волконской как юноша, полный забытых надежд.

Однако прошло несколько недель, а все оставалось по-прежнему: Бенедетта сидела в тюрьме, и свидания с ней были запрещены. Багрецов сунулся было на виллу: один раз ему сказали, что княгини нет дома, другой — что не велела никого принимать. Багрецов хотел послать Гоголя или Иванова, но первый внезапно уехал, а второй, пользуясь счастливым промежутком

здоровья, затворился в своей мастерской. Багрецов знал, что если сейчас добраться к Иванову через все запоры — все равно он не поймет ни слова о чем-либо постороннем своей работе. Стипендия его иссякла, и он должен был день и ночь двигать картину, чтобы можно было просить о новом продлении пенсии у государя. Николай I собирался приехать в Рим.

Как-то под вечер Багрецов встретил княгиню Волконскую на Пинчио. Она была в коляске с своим духовником. На его поклон она не ответила. Не заметила вовсе или было ей так внушено иезуитами, обступившими ее тесней прежнего?

Багрецов вспомнил ее слезы и колебания и злобно сказал: «Ну, дело в шляпе, княгиня погребена будет в церкви святого Анастасия!»

От препятствий чувство к Бенедетте, пусть воображаемое, становилось мучением. Он кинулся к синьоре Пепите, узнать хоть про Джулию, — оказалось, что и той нету в Риме — уехала временно к брату в Реджио.

Наконец ночью 13 декабря приехал в Рим император Николай из Чивита-Веккиа через станцию Поло.

Какая буря была в эту ночь! Ветром сломало немало чудесных старых маслин. Кипарисы стояли растрепанные; нарушив свою конусообразно-строгую форму, они походили на гигантские веники. Государь в карете посланника на превосходных серых лошадях проехал днем в Ватикан к папе.

Багрецов бродил по площади св. Петра и мельком видел его. Он был в конногвардейском мундире, молодцеватый, громадный, с волнующим и повелительным взором. Римляне пришли в восторг от его роста и выправки.

Колоннада Бернини набилась зеваками. Широкие ступени лестницы расцветились нарядными офицерами в затянутых до удушья мундирах. Как попугаи, пестрые швейцарцы папской гвардии, сверкая серебром алебард, пугали ими напиравший народ для очищения свободного схода царю.

Николай показался на лестнице. Его, видимо, тешил эффект появления в вечном городе. А римляне, как их древние предки, всегда жадные до зрелищ, всегда пьяные солнцем и душистым кианти, что было духа кричали: «Evviva!»

Какой-то транстеверинец, такой же большой, как и царь, с седыми кудрями, в белоснежной рубахе, с перекинутой через плечо синей бархатной курткой, всплеснув руками, воскликнул:

— О, если б ты был нашим государем!

Тут нарядные дамы, и русские и итальянские, потеряли всякое самообладание и принялись бросать пред лошадьми севшего в карету царя — одна пред другою: розы, шитые шелком платки, разноцветные шарфы... Казалось, они готовы были сами кинуться под серых коней, как кидаются исступленные Индии под колесницу Джаггернаута.

Глядя на эти восторги толпы, Багрецов в сотый раз задавал себе вопрос: какие качества толкают людей на подобное поклонение? И что за дикая потребность выражать его ничем не заслужившему, совершенно постороннему человеку? Ужели только за высокий его рост и за сан монарха?

Всем художникам, русским пенсионерам Академии, равно как и проживающим здесь на собственный счет,

было необходимо представиться государю немедленно в соборе св. Петра. Веселой гурьбой поспешили туда.

Государь явился уже в штатском: он был в коричневом сюртуке, застегнутом на все пуговицы, в черном галстуке, без воротничков. Его сопровождал по храму граф Федор Толстой.

Представившихся было человек около двадцати: медленно и чинно, как всем по инструкции рекомендовалось, они подошли.

Государь окинул пенсионеров быстрым сверкающим взглядом и вдруг недовольно рванул:

— Слыхать, шибко гуляете?

— Но в такой же мере и работают, — вступил немедленно добродушный Толстой.

Государь круто повернулся и быстро, по-военному, словно делал смотр, стал переходить от одного произведения к другому, нигде не задерживаясь. От времени до времени он бросал Толстому в короткой повелительной форме приказы, слегка указуя рукой на предмет:

— Поручить сделать копию!

В коричневом суконном сюртуке большая фигура царя казалась чугунной. Он был как бы собственный памятник, сошедший с пьедестала.

Багрецова поразило обиженное и вместе надменное выражение лица его, когда он сказал, подняв голову на купол Петра:

— И у нас бы такой храм построить! Желательно, чтоб при мне...

— Ваше величество, но это чудо строилось веками и сейчас не закончено, — деликатно начал Толстой.

— Полно вам, — оборвал государь, — вы всегда говорите одно и то же!

И уже с полным неудовольствием, войдя внутрь и воззрясь в пол, воскликнул:

— Так это-то мой Исаакий? Неужто так мал?

Самолюбие царя было задето сравнительной линией соборов, вычерченной на полу, где размеры Исаакия пред собором Петра были просто мизерны.

— Быть не может... — еще раз повторил царь и вскоре пошел к выходу.

Все приделы храма и ниши заполнены были монсиньорами и аббатами.

Царь вышел из собора и уехал. Художники повалили в остерию Лепре обменяться впечатлениями и узнать, кто получит какой заказ.

Багрецов сам больше не видел государя, но получил живейшее представление о дальнейшем его пребывании в Риме в остерии Лепре, куда через несколько дней попал в урочное время.

Художники прежде всего ругательски ругали Киля, своего заведующего. Это был упрямый немец, дилетант в живописи, приставленный, как унтер, к пенсионерам с инструкцией свыше «подгонять» их в работе.

— Проклятый немец, — кричал Рамазанов, — затеял нашу выставку, слыхал ты — где? — кинулся он к Багрецову, еще хмельной со вчерашней попойки. — В палаццо Фарнезино, где фрески Рафаэля! Да чья живопись выстоит против них?

— А ведь предлагали ему устроить выставку в мастерской Иванова, тем более, что его громаду с места не сдвинешь... а исторических живописцев у нас всего — он да Воробьев, да и тот в Палермо.

— Тем больше вам сраму, что подчинились зловредному Килю, — кричал Рамазанов, — состряпали по

его немецкому рецепту этакое рагу «aus nichts»,[1] выставку из ничего...

— Скульпторов небось не переломал: не понесли работы из глины! Все как один отрезали: сквасится по дороге глина, а грязищи царь довольно помесит на римских улицах.

— Что за цель была у директора, что за цель? — подозрительно повторял измученный, побледневший Иванов, кутаясь в свой вечный плащ на красной подбивке. — Одурить пред царем художников русских! Хорошо хотя, что Михайлов впросак не попал, — не избыть бы беды.

— А что же Михайлов?

— Да вот он и сам, пусть расскажет.

В остерию вбежал Михайлов, беспечнейший из художников, знаменитый тем, что терял целые папки драгоценных рисунков. Все закричали ему:

— Ladro, ladro...[2]

Он хохотал, крича всех громче:

— Ладра — ладрой, а зато взыскан царским заказом!

Михайлова обступили, требовали подробностей про анекдот, с ним приключившийся.

— Я, как, братцы, знаете, копировал в монастыре святого Мартина с Рибейры и хотя знал, что царь ко мне будет, пошел, как обычно, пешком, думая поспеть вовремя. Вдруг жарит коляска, а в ней неаполитанский король да с нашим. Пропала головушка! Без крыльев не долетишь. Гляжу, на привязи чей-то осел.

---

[1] Из ничего *(нем.)*.
[2] Вор, вор *(итал.)*.

Я вмиг на него, и хлыстом... Тут хозяин осла выбежал, орут итальянские бабы не хуже нашинских, мальчишки с свистками, веттурины с бичами... Вор, дескать, ladro... За одну минуточку пред монархом приехал, влез на леса. Тут царь входит, спрашивает: «Для кого делаешь копию?» А я от бега дышу, как мех. Царь принял за волнение. Он это любит. «Не робей, говорит, Академии другую сделаешь, эту — мне».

— А сознайся, что хозяин осла тебе здорово всыпал?

— Не поспел... откупился я немалым количеством скуди. Вот у Ставассера похуже дела, — слыхать, карабинеров звал. Расскажи-ка, Ставассер!

— Зачем звал карабинеров? Кто ж твои статуи грабил?

— Самого чуть не разбили... Сижу в студии над своей нимфой, вдруг вбегают, кричат: «К вам император!» Ну, вошел со свитой, весьма похвалил и велел выполнить в мраморе. Тут душа ушла у меня было в пятки, да спасибо графу Орлову — спас. Царь говорит: «Делай для меня побольше размерами!» — «Воля вашего величества, бормочу, но я держал величину в натуру, и сюжет этот большего размера не терпит...»

Тут граф Орлов немедля взял мою сторону,.и царь, как кость, милостиво бросил: «Делай как знаешь, главное, поскорей! И готовься: желаю тебя видеть в работе в присутствии твоей прекрасной натурщицы».

При этом адъютант, сопровождавший царя, так погано влип глазами в статую, что царь ему сказал: «А тебя не возьму, скажу все твоей жене, смотри — приревнует».

А когда царь уехал, вся улица ринулась на мою мастерскую требовать «скуди», которые царь будто бы мне оставил для раздачи народу. Уж не знаю, кто пустил этот слух. Грозились всё изломать. Карабинеры чуть отстояли. Что касается Джулии...

— Дальнейшее мы знаем сами, — вмешался Шехеразада, — фортуна улыбнулась Джулии... Оный адъютант свел с ней знакомство и уже раскошелился поднести ей сияющий рубинами браслет и ангажемент в Россию... А там, гляди, взберется повыше. Адъютант лишь первая ступень.

— Нет, нет, римлянка не то, что парижанка, — вступился Рамазанов. — Джулия, узнав, что царь ее желает видеть в райском виде, сказалась больною. Я уверен, что покуда царь будет здесь, она позировать мне не станет.

— Однако ж у тебя на дому бриллианты приняла! Как же, хвастала тетушка!.. — прогнусил вдруг Пашка-химик.

Багрецова взволновал разговор.

— Но ведь Джулии здесь не было? — вмешался он. — Она уехала к брату...

— Уже с неделю как она на Реджио, — подскочил Пашка-химик, — и, сохраняя невинность, получает рубины...

Пашка продолжал какую-то гнусность. Багрецов уже не слушал. Он вышел из остерии и закоулками прошел к квартире, где, узнал он, жил прежде Доменико с двумя сестрами.

В пролете ворот, темном от обилия цветущих гроздей глициний и плюща, заткавшего всю стену, Багрецов столкнулся носом к носу с длинноногим и несо-

мненно военным человеком. У прирожденных штатских не бывает в сюртуке грудь колесом и так не подрагивают на ходу плечи, привыкшие к кудрявым эполетам.

Багрецов догадался, что это и был адъютант, подаривший браслет Джулии. Непонятное чувство ужалило Багрецова. Он с изумлением подумал: «Ужели ревность?» И странней еще: он вовсе не думал о Джулии. Он бесился из-за чести дома... из-за того, что сестра Джулии не кто-нибудь, а она — Бенедетта.

Тетка, ведьмистая и страшная, как все старухи-итальянки, не хотела впускать Багрецова.

— Джулия в жестокой малярии... ой, ой, какой жестокой!

Он дал старухе золотой, и, погано шамкая ему в ухо, она зашептала:

— Джулия на работе в студии, сейчас туда направился высокородный русский принчипе...

— Ну, хоть он и долговяз, а я попаду раньше его, — сказал Багрецов.

И, чуть не давя полуголых чернокудрых ребятишек, он напрямик побежал в мастерскую Рамазанова.

Но художник заперся. Тщетны были стуки. Он так увлекся работой, что не слыхал ничего. Вскоре подошел и адъютант. Багрецов, спрятавшись в кустах, имел удовольствие видеть, как наконец вышедший на стук из кухни мальчишка-итальянец — слуга Рамазанова — сказал адъютанту, что маэстро уехал на несколько дней в Альбано. Тот в досаде пощипал усы и повернулся вспять. Багрецов, сам не зная для чего, продолжал пребывать в своей засаде.

Смеркалось. Уже заморенные зноем итальянцы заваливались спать, чтобы, пропустив час, когда минует

опасность злой понтинской малярии, в ночной прохладе, забрав гитару или мандолину, бродить с возлюбленной до света. Багрецов без конца сидел на горке, в запущенном винограднике. Он решил во что бы то ни стало выследить Джулию. Он был уверен, что Рамазанов ее укрывает. Джулию он хотел расспросить о сестре. Решительно Бенедетта не была ему безразлична, особенно с тех пор, как он, приведя Доменико на виллу Волконской, тем самым невольно ухудшил ее положение в тюрьме.

Наконец, совсем поздно, действительно Джулия вышла с черного хода. Сам Рамазанов открыл ей дверь в запачканном глиной фартуке. Сперва он один выскочил на улицу, для чего-то оглядевшись во все стороны, потом выпустил ее. Джулия была в большом черном платке, зашитом шелковой гладью, какой носят вечерами на Пьяцце венецианки. Лицо ее было скрыто. Чуть сверкнул в сторону Багрецова пламенный черный глаз, и голос, полный и звонкий, который Багрецов запомнил единственным, который ни с чьим другим спутать не мог, этот голос сказал Рамазанову:

— Addio! Значит, завтра опять в этот час?

— Да, да, и опять в строгой тайне, будь покойна, — сказал Рамазанов, запирая дверь.

Багрецов в мгновение спрыгнул с виноградника и, перерезав девушке в узкой уличке путь, схватил ее за руки и шепнул в самое ухо:

— Ты не Джулия, ты Бенедетта!

Девушка дрогнула. В нерешимости на минуту закрылась платком поплотнее, но вдруг откинула его совсем с головы на спину и, беря Багрецова под руку,

сверкая зубами и глазами и всей ослепительной красотой своего лица, она бросила:

— Синьор, я Джулия, Джулия... сестра-близнец Бенедетты!

Багрецов сжал ее ручку, похолодевшую от волнения, и сказал:

— Ложь! Не поможет, я тебя узнал, ты — Бенедетта. Больше того: я тебе раскрою, каким образом ты на свободе. Это следствие моего же измышления. Не кто иной, как я, дал твоей статуеобразной сестре совет смениться с тобою платьем на свиданье, что, конечно, она и сделала.

— Остроумный совет еще не доказательство... — улыбнулась девушка; она окончательно овладела собой. — Да и где у вас доказательство, что я не я, а моя сестра? Ваша любезная характеристика? Но, быть может, я статуя только по отношению к вам!

Багрецов опешил. В самом деле: где же доказательства? Уж не то ли, что его сердце билось с давно забытой силой, что безошибочно знало оно: эта девушка — Бенедетта! Не вступая в пререкания, он стал ей рассказывать про тот вечер, когда он привел на виллу Волконской Доменико, про неловкую попытку Иванова замолвить за нее пред княгиней, про общий ужас, когда наутро оказалось, что попытка спасти только ухудшила положение. Багрецов рассказал ей про вести, которые принес в остерию Шехеразада, про предложение адъютанта и его сияющий рубинами браслет...

Не будучи ни сват, ни брат, Багрецов почему-то ощутил необыкновенный прилив красноречия и яростно изобразил весь стыд такого падения для политической героини.

— Даже во имя дела? — спросила девушка, густо вспыхнув, и приостановила шаги.

Они проходили по совершенному пустырю, где уже солнце выжгло зелень, кустарники были обглоданы козами, и только камни с древними надписями стояли то тут, то там со времени императоров. Ничто не напоминало о современности. Какие-то волнующие, неуловимые сознанием грезы охватили Багрецова. Сумерки превращались в ночь так быстро, как в грозу голубизна неба сменяется лиловыми тучами. Багрецову уже неясны были ресницы на опущенных и, как он угадывал, гневных глазах его спутницы. Пытаясь разбить свою зачарованность Бенедеттой, из самолюбия не желая терять давно, впрочем, опостылевшую ему свободу, он продолжал со страстью заправского моралиста:

— Есть дела, которые пачкают, — опять Багрецов внезапно развил мысль с такой беспощадностью, что маленькая ручка, зажатая в его руке, вдруг задрожала и выскользнула.

— Если вы посмели так со мной говорить, то вы теперь должны мне и помочь избежать позора... Иначе вы — презренный болтун!

Девушка была бледна от гнева. Ее лицо, обрамленное черным шелком платка, было как у «Юдифи» Аллори с головой Олоферна.

Окончательно утвержденный в своей догадке, опять сжимая ей до боли руки, Багрецов ответил:

— Клянусь честью, я дам тебе сколько надо для выкупа твоей сестры, для дел «Юной Италии», но пошли к черту долговязого адъютанта и признайся мне, что ты Бенедетта!

— Да, я — Бенедетта, — сказала она и, опускаясь на камень в этой пустынной местности, залилась вдруг слезами. — Я так измучилась...

Багрецов обнял Бенедетту. Он так был благодарен, что полюбил ее, не зная даже, что любит.

— Я ненавижу этого адъютанта, — прошептала Бенедетта, — я бы хотела вернуть ему тот браслет... но Барбара уже его продала. Ведь она мне вовсе не тетка, а совсем чужая. У меня не было чем ей заплатить, а брат мой Доменико тоже в тюрьме, в Реджио.

— Не беспокойся ни о чем, дорогая, — сказал ей Багрецов, — браслет, разумеется, куплен на Корсо, где их делают дюжинами, мы вместе поищем, и я его обратно отошлю адъютанту. Но надо, чтобы ты от Барбары немедленно переехала ко мне. Ты не беспокойся, — поспешил он ответить на опасливый пытающий взор, — у тебя будет полная свобода и отдельный выход. Мы можем даже не видаться совсем. Ведь я прочных романов заводить не охотник, а на легкий ты сама не пойдешь. Пусть лучше нас свяжет интерес к «Юной Италии».

— О, как вы благородны! — прошептала она. — Да, конечно, я сейчас водворюсь у вас. Я боюсь, что синьора Барбара подкуплена тем офицером.

Багрецов привел к себе в дом Бенедетту, которую представил своему maestro di casa как Джулию, нанятую им портниху для шитья белья.

Maestro di casa, чудесный старик, пробормотал:

— Знаем мы этих портних. Девушку-сироту обидеть нетрудно.

Отличное начало: старик, у которого внучку загубили солдаты швейцарской гвардии, будет особенно до-

сматривать за Бенедеттой, обрадовался Багрецов, ведь только это и было нужно. А сама Бенедетта была совсем покорена его благородством.

Багрецов счел полезным для дела рассказать старику про происки адъютанта, чтобы на случай, если бы он явился, тот не допустил его до гостьи.

— Да я его, eccelenza,[1] будьте покойны, спущу с лестницы, — погладил он нежно по голове Бенедетту, вспомнив собственную обиженную внучку.

Глава VII

ХУДОЖНИК ЗЛАТОГО ВЕКА

> ...С изумлением прочел ваше письмо, недоумевая, ко мне ли оно писано?
>
> Мне поставляется в закон писать пять отчетов в год... и какие странные выражения: писать я их должен гениальным пером. Стоят отчеты ни о чем — гениального пера? Какое странное ребячество в мыслях и какое неразумие, даже в словах, в выражениях...
>
> *Гоголь.*

Багрецов запутался и как бы потерял сам себя. Он ехал в Рим, как инфернальный романтик из какого-нибудь «Эликсира сатаны», для того чтобы, стукнувшись о твердыню духа Александра Иванова, — или взорвать ее, или взорваться самому.

---

[1] Ваше сиятельство *(итал.)*.

А на деле вышло, что занялся он спасением прекрасной сподвижницы il risorgimento, «возрождения Италии». Что же до Александра Иванова, то тут он просто встретил не то, чего ждал. Это не был так раздражающий издалека монолитный человек, застывший в своей идее, — это был целый мир, сложный, трепетно-живой, противоречивый, с обаянием мудрости древних народов, с сердцем ребенка.

И вот Багрецов, собравшийся было совершить преступление, подобно средневековым злодеям, покупавшим для своего обновления здоровую юную кровь, — коварным духовным воровством так или иначе поживиться от внутренней мощи былого друга, едва увидел его, вдруг понял всю безвкусную пошлость подобной затеи. Это было, как если б он задумал тешиться картонной декорацией леса, попав в подлинный дремучий благоухающий лес.

Багрецов полюбил Иванова и занялся его судьбой.

Прежде всего он предложил ему денег, но тот, хотя сильно нуждался, — не взял. И тут, как во всем, он был своеобычен. Брал легко от сильных мира, от казенных учреждений, там даже требовал, унижался, считая своим долгом во имя своей работы хватать чуть ли не за шиворот всех, у кого был громкий титул, чем Гоголь строжайше, но тщетно его попрекал.

Но у Багрецова, добровольно хотевшего ему дать, Иванов не взял, говоря:

— Ты человек ленивый и скучающий; растрясешь деньги, — даже жениться не сможешь. У ленивого брать грешно, он себя сам обобрал.

Последние дни Иванов был в чрезвычайном волнении: генерал-майора Киля, курляндца, дилетанта в

акварели, назначили на место покойного Кривцова надсмотрщиком за русскими художниками в Риме.

Когда Багрецов вошел в мастерскую Иванова, тот бегал взад и вперед, заложив за спину короткие руки, бросал отрывисто:

— Я его образ суждения знаю, я с ним уже имел ссору лет десять назад, он не преминет вспомнить...

— Не наделай, Александр Андреич, вздору... — предупредил, здороваясь, Багрецов.

— Поздно-с. Наделал-с...

Иванов остановился и развел руками:

— Я секретарю Зубкову уже написал, что, работая безусыпно над картиною, в виду взятой с меня подписки о скорейшем ее окончании, не могу уделить ни вот эстолько-с времени для приема посетителей, хотя бы и генерал-майоров. Задвижкой задвинусь, задвижкой, от курляндского дядьки над вдохновением художника русского!

— Чудак, — сказал Багрецов, — плевать ему на все твои задвижки, он и не глядя на картину пошлет донос...

— И поспел уже, вообрази. Из Петербурга пишет мне батюшка: «О тебе слышно в Обществе поощрения, что ты ленив и нарочно тянешь работу, растекаясь во множестве подготовок». Варвары люди!

Однако слушай: я составил целый проект преобразования инспекции над художниками русскими в Риме. По этому проекту Гоголь должен вступить на службу секретарем при князе Волконском...

Иванов побежал к столу, отпер ящик, вынул бумагу и торжественно прочитал:

— «Исторический живописец Иванов, избранный специально, к тому ведомый прямым божеским промыслом, откровением и вещими снами...» Удивляются удальству мужика, выходящего сам-на-сам на медведя, дивились Яну Усмовичу, удивятся и мне, когда я в разъяренный час государя войду как художник русский и своею картиною успокою его...

— Александр Андреич, тебе надо лечиться! — воскликнул испуганный Багрецов.

— Пустое, — отмахнулся рукою Иванов, — дай досказать. О, насколько такого рода живописец превышает предшественников! Новый исторический живописец произведет преобразование всей земной жизни, возведя низкое и недостойное к силе и гармонии. Все нации притекут к нам за советом...

И следствие, дражайший мой, о, какое отсюда личное следствие для одной партикулярной судьбы! Дражайший, я тебе доверяю. Ты знаешь меня сызмальства... Академия... субботы у Рабуса... Ты видел ее, ту воздушную невесту, ты знал мои муки. Преодоленную ради искусства любовь... И вот вторично: на сей раз высокородная дева, увы, имеющая мать, коей именитый род препятствует войти в равенство со мной, бедным художником. Однако молчание, молчание...

Скажу только одно: когда исторический живописец, в чаемом мной «златом веке» преобразования нашей жизни через искусство, поставлен будет на должную высоту, то все вельможи за счастье... слышишь меня? за счастье почтут выдавать своих дочерей за светильников человечества!

Глеб Иваныч, — сказал Иванов жалобно и доверчиво, — не правда ли, женщина создана быть помощ-

ником человеку? И не правда ли, я смею сейчас снова об этом думать, когда в мозгу моем зародились начинания беспримерные? Одинокому их не выполнить ..

— Но тебе надлежит прежде всего окончить картину...

— Что картина? Я пережил ее. Новое стучится, неизмеримейшее по заданию. *Откровение всему человечеству!* Но без поддержки сердечной изнемогаю...

Послушай, Глеб, ведь это ты причина моего счастья, ведь это ты ввел меня в их дом. О, что за чудо: молодая дева, знатного происхождения, по внешности полна прелести рисунков Леонардо, полюбила меня горячо. Верь, Глеб, отвечу ей святостью жизни и откровением в поприще живописном...

Багрецов остолбенел. Не было сомнения в том, что Иванов верует непреложно, будто Полина Карагина его любит и хочет с ним соединиться. Между тем вчера еще она в разговоре сказала:

— Ну и пусть он гениален, но в такой же мере он просто тюфяк.

Нечто вроде угрызения проползло в сознании Багрецова. Да, это он ввел Иванова в аристократическую семью и себе для забавы раздувал его влюбленность. Передавал поклоны, подчеркивал улыбки и разные светские пустяки. Но сейчас что было делать? Всей правды сказать невозможно. Багрецов попытался сделать слабую попытку.

— Ты забыл о матери, Александр Андреич, поверь, какое бы ты ни занял высокое положение, эта надменная женщина останется тем, чем была. Она на брак с тобой дочери не согласится, ибо она...

Он не кончил. Иванов вдруг побледнел и, как бы отталкивая от себя короткими пальцами некое ужасное виденье, зашептал:

— Знаю, что хочешь сказать. Почти ценою жизни знаю. Намедни, после кофе, в трактире Ельветико я почувствовал боль в животе... Это она подкупила гарсона, я знаю, это ее отрава. Только доза была незначительна...

Иванов метался по мастерской, топоча крепкими ногами:

— Глеб, да объясни же этой женщине всю высоту, все значение художника! Докажи ей, найди слова, ты ведь можешь. Не то что я... Сижу в гостиной как пень. Ты скажи, Глеб, одно: высокое происхождение не помеха войти в равенство со мною. О, как пойдет моя работа, как вырастут крылья. Иди, Глеб, иди!

Багрецов вышел из мастерской вне себя. Как? Неужто он приложил руку к гибели художника, чья гениальность была для него несомненна? Но как мог он забыть своеобразие этого человека с волей необычайной. Ради картины он годами мог вести жизнь аскета, а в делах каждого дня так бессилен был защищать все богатство своего большого ума и, невыносимо страдая, подчинялся нередко чужой, настойчивой системе. Это была трагедия жизни Иванова. И подчинявшие, много бездарнее его, как пресловутый Овербек или собственный отец, почтенный профессор, по старинке почитавший Рафаэля «благонравным», а Микеланджело «дерзким», безбожно сушили его смелое вдохновение.

И какая насмешка судьбы. В ту минуту, как привязанность и уважение к Иванову все сильнее наполняли

Багрецова желанием служить ему, — он сам являлся виновником нового большого страдания, которое, конечно, надолго отсрочит окончание картины.

И вдруг, как вдохновение, Багрецову пришла в голову мысль не разбивать безумной мечты друга, — напротив того, сделать все, чтобы соединить его браком с княжной. С каждым шагом выдвигались все новые доводы в пользу этой затеи. И когда Багрецов подходил к дому Карагиных, он весь уже полон был бешеной энергии, готовый принести Иванову в жертву всех, лишь бы создать ему условия для успешной работы.

Багрецов знал Полину с детства и сам не раз любовался лицом ее, по определению Иванова, полным бесколерной флорентийской нежности, с затаенной улыбкой да Винчи.

Полина была хорошо образованна, с тонким вкусом. Но с внешностью несколько надземной прекрасно соединяла и раннее честолюбие и прерасчетливый холодок.

Великодушный мечтатель Иванов, не привыкший к женскому обществу, видавший или однообразно доступных за лиры натурщиц или запомнивший чопорность моды петербургских девиц, строгую скромность дочки Гюльпе, — обычную светскость княжны и интересы к искусству отнес к своей собственной личности.

Багрецов решил с умной Полиной говорить прямо. Своим твердым и быстрым шагом он дошел до ворот Константина и еще издали увидел Полину под огромным зонтом пред мольбертом. Бегло, по привычке все отмечать, он отметил ее белый, еще не виденный им костюм, перевел глаза на ее спутницу и вдруг должен

был остановиться, сесть на камни, почувствовав острое сердцебиение.

Как он мог забыть, да еще выполняя программу Пашки-химика, утром шествуя на Форум, кого он там встретит? Беспокойство об Александре Иванове затуманило все его личные обстоятельства.

Ну конечно, эта небольшая женщина рядом с Полиной — она, замышлявшая обличительный костюм «флакон Борджиа», маленькая Гуль, сестра его покойной жены.

Опустив голову с черными волнистыми волосами, она читала, шляпу положив на колени. Ничто не мешало Багрецову изучать этот странный египетский профиль со знакомыми темными веками, так похожий на профиль жены. Обе женщины его не видели.

Гуль — жена адъютанта, который приехал с высочайшим посещением... И вдруг он понял, что этот адъютант не кто иной, как тот долговязый поклонник Бенедетты, с которым он столкнулся у ворот ее дома. С тревогой у Багрецова мелькнуло: «Почему Гуль не дала мне знать, что приехала?»

Быстро решив, что тактичнее всего не показывать ни недовольства, ни удивления, Багрецов с своей обычной насмешливо-галантной манерой направился к камням. Гуль подняла голову и узнала его. Испуг, страстное волнение, гнев — все отразило лицо ее, смуглое, с удлиненным овалом. Минуту она не владела собой: схватила шляпу, опять положила, встала, как бы желая укрыться. Но привычная дрессировка взяла верх над ураганом взметенных чувств, и когда Багрецов был рядом и прикладывался к руке Полины, Гуль уже приготовила улыбку и столь обычное:

— Ах, это вы, вот неожиданность!

— Для меня еще более, чем для вас, и, вероятно, приятнейшая, — сказал Багрецов, — потому что, будь я на вашем месте, я бы, приехав в Рим, пожелал бы немедля вас видеть...

— Гуль, приехав, заболела, да и вы, кажется, были в отъезде...

Полина покраснела. Она лгала, и Багрецов это знал. Он злобно решил наедине от нее выпытать все.

— Я к вам по спешному и серьезному делу, — сказал Багрецов. — Назначьте, где и когда мне вас можно сегодня увидеть?

— Но говорите с Полиной сейчас, — вставая, сказала Гуль. — Мне необходимо пойти по делам. Вам часа не будет довольно?

Она старалась себе придать лукавое выражение, но лицо ее было строго, и почти сросшиеся черные брови неприятно напомнили Багрецову мертвое лицо покойной жены.

— Ты смотри, через час возвращайся, — сказала Полина.

— Нет, уж лучше я прямо домой, я забыла, — есть нужный визит.

— Но когда в таком случае я буду иметь честь с вами встретиться? — Багрецов задержал на миг в руке худую руку Гуль.

— На маскараде у Карагиных, — улыбнулась она многозначительно, глядя на Полину.

— Почему же на маскараде? Или я должен буду отгадать вас под маской, чтобы быть достойным свидания, не так ли?

— Вы догадливы, как всегда, — засмеялась Полина. — На этот раз только наоборот: вы будете достойны его, если не угадаете Гуль.

Гуль, не улыбаясь, слишком серьезно сказала:

— О да, я бы так хотела не быть вами угаданной!

— Во всяком случае не-раз-га-дан-ной вы мне были и такою, видно, останетесь, — поклонился Багрецов, думая с раздражением: «У этих женщин против меня целый заговор!»

Когда Гуль ушла, он сказал Полине небрежно:

— Что это у вас с ней за тайны?

— Я корыстна, — улыбнулась своей флорентийской улыбкой Полина, — и мне сперва надо узнать, что я сама могу получить.

— Дешевый дар — маскарадный секрет, — поддразнил Багрецов.

— Не шутите маскарадом, особенно в Италии, где при помощи маски издавна совершаются преступления... или узнаются уже совершенные.

Полина пытливо глянула Багрецову в глаза, но он сказал холодно и серьезно:

— Это все пустяки, времени мало, займемся вами. Я знаю, Полина, как вы умны, и потому не прибегну с вами в том деле, ради которого пришел, ни к одному из обычных приемов хитрого увещания. Я начну прямо с цели. Я явился к вам сватом...

Полина рассмеялась.

— Для пущей оригинальности, — сказала она сквозь смех, — я предполагаю вас даже не уполномоченным на это сватовство самим женихом?

Полина была невысока и тонка. Багрецов должен был наклониться к ней близко, чтобы говорить. Он сел

рядом на камень. Издали могло показаться — влюбленные.

— По вашей реплике, — улыбнулся Багрецов, — я вижу, жених вам известен.

— Еще бы! Синьор Алессандро.

— Так слушайте ж меня хорошо: это художник гениальный. Первый из художников русских, не подчинившийся влиянию ни Рафаэля, ни Тициана, ни дель Сарто в изображении близкого им сюжета. Если вы не видите на его полотне щегольского мазка и фейерверка Брюллова, то это лишь залог того, что вещи им писаны для веков, а не для злобы дня. Его работа — целая академия. Благородство стиля, сила композиции...

— Что это, вы затеяли целый трактат, — сказала лукаво Полина, — и не боитесь наскучить?

— Сейчас дело коснется вас лично, и тут, я знаю, у вас терпения хватит на век!

— В таком случае слушаю. Но напрасно вы полагаете, что я не знаю цены Александру Иванову. Вчера Каммучини не мог им у нас нахвалиться. Он ставил его выше Брюллова. Но что мне от этого?

— Полина, дослушайте до конца. От вас одной зависит, чтобы всеобщие надежды на его гений были оправданы, чтобы имя его уже сейчас, при жизни, прогремело в Европе. Припомните триумф его «Магдалины» здесь, в Капитолии. Если «Явление Мессии» будет окончено так, как начато, — оно вызовет бурю.

Полина, возьмите фортуну этого ребенка-мечтателя в ваши умные, деловые руки. Покажите, что вы не обыкновенная женщина. Действуйте не по сентиментальности обманчивых чувств, а по логике и уму, которые знают, откуда идут и к чему приводят.

Заставьте Иванова скорее окончить картину. Если, не размениваясь по сторонам, он все силы отдаст на нее, он скоро ее завершит. Вы настойте на том, что тщетно и давно ему предлагают, — везти свою вещь по главным городам Европы. Подобная выставка ему даст огромные деньги и всемирную славу.

О том, что́ выигрываете лично вы, Полина, излишне мне говорить. Свободу действий при муже-ребенке, независимость и славное в Европе и России положение. Если ж в вас есть хоть капля любви к искусству, то и гордую честь — спасти России ее гения.

Без вас он погибнет. Он тяжко и глубоко в вас влюблен. Он надломлен мелочью жизни, бездарностью власть имущих, он уже на пути к мистическим бредням Гоголя...

Но, выведенный вашею рукой из одиночества, он оправдает надежды России. Вы спасете гения, Полина. Это ль не доблесть?

Решайте: брак, полный почета, свободы, земных благ и благодарности русской истории, или тусклая, как у каждой, пустейшая светская партия, которая убьет вашу оригинальность и прибавит к дюжинам светских журфиксов еще один, никому не нужный.

Решайте, Полина. И в ближайший вечер, когда ваших не будет дома, уйдите от вашей англичанки сюда. Я сам отведу вас в студию на улицу Сикста. Вы должны говорить с Александром. Вдвоем все решить. А матери сообщить о решенном. О ее согласии, конечно, нельзя и мечтать, но фактам в любовных делах все родители покоряются.

Полина долго сидела безмолвно. Потом она подняла голову, ясно глянула на Багрецова своими голубыми,

тона северного неба, глазами и сказала деловым, трезвым голосом:

— Ваше предложение принимаю. Оно как раз кстати. Ко мне вчера сватался граф К.: богат, стар, глуп и ревнив, как паша. Если я могу иметь те же средства при лучших условиях, хотя бы с потерей титула, но с приобретением всемирно славного имени, — я согласна. В том, что у Иванова оно будет, мне порукой слова Каммучини и Торвальдсена. Они даже уверили мою мать. Я же хочу одного — свободы!

И чтобы не откладывать в долгий ящик, свидание — сегодня же вечером. Идите, предупредите Александра Иванова, чтобы он не упал в обморок, увидев меня в мастерской.

ГЛАВА VIII

ДВА БРАТА

> Художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдениях натуры, вечно в недрах тихой умственной жизни, он должен набирать и извлекать новое из всего собранного, из всего виденного.
>
> *А. Иванов.*

На красноватых камнях Колизея, укрывшись от заходящего, но все еще жаркого римского солнца, в тени куста отцветающей желтой розы сидел молодой сухощавый человек. Судя по чемоданчику, стоявшему

рядом, по измятой дорожной куртке, это был приезжий.

Он читал письмо, вероятно с указанием необходимого адреса, потому что то и дело, отрываясь глазами от строчек, вскидывал кудреватые волосы, оглядывал узкие улицы Рима, словно прикидывал, по каким из них ему пуститься на поиски.

В бесчисленные ниши Колизея глядело пурпурное небо. Вечерний, уже освежающий ветерок шелохнул кусты и сорвал пышный опадающий цвет. Он, как золотом, осыпал желтыми лепестками сидевшего.

— Эй ты, избранник розы, идем в кафе Греко, все наши там... — И, спрыгнув с камней вниз, молодой художник крикнул: — Очнись, куме Марченко, ходим до Бахуса!

Вдруг он смутился: приезжий был ему незнаком, но, улыбаясь, протянул ему руку и сказал:

— Очень рад неожиданному привету. Вы, как видно, художник и можете мне помочь. Я пустился на поиски брата по его же письму, да, вероятно, запутался. Александр Иванов — мой брат.

При этом имени остальные художники прыгнули на камни и окружили приезжего. Шумно перебивая друг друга, они засыпали его вопросами по-русски и по-итальянски. Приезжему себя называть не пришлось.

Все русские художники встречались в кафе Греко, где знали доподлинно друг про друга мельчайшие подробности. В кафе Греко замышлялись картины, велись бурные споры об искусстве, налаживались заказы и со всех концов города неслись и множились вести. Всем

было известно, что Александр Иванов ждет к себе брата Сергея — архитектора.

— Айда, ребята, за архитектором всей гурьбой, быть может синьор Алессандро на радостях пустит и нас в свою мастерскую.

Александр Иванов, проживший уже семнадцать лет в Риме, прославленный выставленной в Капитолии картиной, поглощенный новой громадной работой, давно удалился от шумных товарищей. Но тем сильнее возрастал их интерес к его заповедному холсту, который он все еще ревниво держал на запоре.

— Вот бы взглянуть, — закричали кругом. — Подмалевок, слыхать, закончен, — шутка ли, тридцать пять фигур во весь рост!

— Подготовительных этюдов штук двести.

— Из-за каждого камня и дерева исколесил все окрестности... Ночевал чуть не в понтийских болотах, чтобы верно дать пустыню, сам схватил лихорадку. Питается чечевицей да водой из фонтана, свою пенсию всю извел на натурщиков...

— Простите, — прервал архитектор, — я боюсь, что мечты ваши напрасны. Брат еще не хочет показывать своей картины. Он недавно писал батюшке, что, рискуя навлечь гнев начальства, отказался пустить в мастерскую ревизующего генерала.

— Да его к черту было мало спровадить, этого Киля! — крикнул верзила в бархатной куртке. — Генерал от пушки, да к Аполлону!

— А что, в Академии все по-старому? Всё чины да поклоны? И усы брить приказано и жениться нельзя?

— Кто добрался до Италии, мигом оженим, хоть на срок, хоть навеки!

И юркий маленький художник, под руку с черным, как жук, итальянцем, стал по очереди представлять всех Сергею Иванову:

— Вот сухопарые овербековцы-назарейцы, божественное измышляют, свой жар теряют. Потолще — немцы пивные, они жанр пишут: свиньями промышляют, знай гроши собирают.

— Ха-ха-ха, овербековцы их презирают! Они на горе, как монахи...

— Монастырек-то ихний на горе, а гора в винограднике. А на горе Арарат, как известно, Варвара рвала виноград.

— Не греши, их папаша Овербек всех в псаломщики повернул!

— Вы — назареец? — повернулся с интересом Сергей Иванов к худому, очень серьезному человеку. — Мне хочется поближе узнать вашу новую школу. Брат писал несколько лет тому назад об ней с большим увлечением.

— Сказано: сухари постные — вот и вся школа, — ввернул маленький. — Синьор Алессандро, бывало, не брезговал пить с нами, пел под барабан, плясал под бубен, а назарейцы его задурманили: не отдадим Овербеку хоть брата. Айда в кафе Греко, спрыснем архитектора, посвятим его в рыцари нашего ордена имени Вакха.

— Я не дальше как завтра приду к вам, — отбивался Сергей Иванов, — сейчас мне надо к брату, в улицу Сикста...

Багрецова, проходившего мимо с поручением Полины, привлекло сборище знакомых художников. Поняв из разговора, что приезжий — Сергей Иванов, архитек-

тор, тот самый любимый брат, которого давно жаждет видеть Александр Андреевич, Багрецов выступил из толпы и сказал:

— Я спешу с одним экстренным поручением к вашему брату, так что нам с вами по пути. Я часто бывал в вашем доме, может быть вы фамилию запомнили — Багрецов.

— Глеб Иванович, как я вам рад! Отец часто вас поминал, — оживился Сергей, и они, распрощавшись с шумной ватагой, отправились вместе. А художники, о чем-то поспорив еще, всей кучей сверглись по лестничкам опять в Колизей и, выстроившись в две шеренги, как задорные петухи, стали наскакивать друг на друга.

— Пустые ребята, — сказал Багрецов. — Посудите сами, что общего может быть у вашего брата, увлеченного громадной идеей, и этими шалопаями, хотя они и не без таланта?

— Мне писали, что брат изменился за последнее время, — сказал робко Сергей. — Он стал окончательно нелюдим, запирается... порвал со своим лучшим другом Гоголем...

— В вашем брате давно происходит мучительная творческая работа, неизменная спутница того нового, что большие таланты дают человечеству.

Багрецов волновался за встречу братьев. Александр Иванов мог в припадке недоверия не пустить к себе сразу Сергея.

— Вот мы подходим, — сказал он. — Мастерская вашего брата в глубине этой аллеи роз, прямо в двери, второй этаж.

Сергей Иванов сам был полон тайной тоской, боясь поверить дошедшим слухам об Александре как о чело-

веке одичавшем, чуть не больном манией преследования. А он помнил брата двадцатилетним юношей, открытым, полным надежд.

— Вы сейчас постучите в эту дверь три раза и, помедля, еще два — таков наш условный стук с Александром, когда я прихожу ему читать. Чтобы не помешать вашему свиданию, я пойду в сад. Вы позовите меня, когда найдете удобным. У меня очень важное поручение к Александру, которое немало его может обрадовать.

Багрецов немного отошел, а Сергей, собравшись с духом, постучался в дверь. Она приоткрылась. Как аист, осторожно высматривая, выдвинулась голова с длинными непричесанными волосами и всем спокойным обликом Александра Иванова, так напоминавшим хозяина-мужика средней полосы России. Только глаза его, большие и темные, беспокойно-подозрительно глянули по сторонам. Он сделал щиток над глазами, защищаясь от последних лучей заходящего солнца, падавших ему прямо в лицо через узкое оконце коридора, и мягким голосом, слегка пришепетывая, спросил:

— Ваше имя-с?

— Это я... я приехал, — сказал Сергей и запнулся. Он тоже вдруг не поверил, что это его брат.

— Александр Андреевич! — крикнул Багрецов снизу. — Да ведь это брат твой, архитектор. Я привел его сюда.

Стоявший в дверях еще минуту вглядывался, вдруг лицо его дрогнуло, он протянул обе руки и ввел Сергея Иванова в мастерскую. Сейчас же за ним старательно запер дверь.

Потом еще молча, жадно глядел в молодое взволнованное лицо, как бы ища в нем былые черты детства.

— Да, точно, Сереженька, брат мой, — наконец сказал он и, обняв брата, заплакал.

Солнце зашло, но луны еще не было. Над Римом встала темно-синяя душистая ночь. Трещали цикады, пела мандолина. Песней и смехом полны были лодки, скользившие вдоль Тибра.

Через открытое окно Александр Иванов окликнул Багрецова, тот вошел. Все трое уселись на низком диване, единственной мебели в мастерской. Братьям надо было столько друг другу сказать, что они больше молчали, чем говорили, и присутствие постороннего им было приятно. Ведь Сергей приехал на долгие годы.

Односложно спрашивал старший про уже покойную мать, про отца и сестер, с которыми расстался почти двадцать лет тому назад. Долго, пристально смотрел на брата и думал, вероятно, о том, как же сам он постарел, если брат стал совсем новым, незнакомым ему человеком.

— Увижу ли когда своего старика? — сказал Александр с грустью и перевел глаза на чудовищный, всю стену занявший холст, закрытый драпировкой.

— Вот где моя юность и сила, радости и здоровье, — сказал он брату, подходя к холсту. Он протянул руку, чтобы отдернуть драпировку, но остановился в волнении. — Нет, не сегодня... сегодня слишком счастливый день, а холст этот — как неизлечимая болезнь, которую лучше забыть.

Сергей был изумлен:

— Что ты говоришь? Неужели заветное дело твое, твоя необычайная картина тебе уже не дорога? Как? Столько жертв даром!

Лицо старшего брата вспыхнуло, потом он побледнел, повторил:

— Да, сколько жертв даром... Жестоко сказано... Но самое жестокое в том, что сказано верно.

— Прости, брат... — смутился Сергей, поняв, что здесь та тайная большая боль, перед которой и нищета и обиды чиновников и все прочее — булавочные уколы.

— Батюшка и родные очень польщены твоим званием академика, — думая сказать приятное брату, вспомнил Сергей.

— Вот как, — горько усмехнулся Александр, — они все еще полагают, что жалование в шесть — восемь тысяч и удобная квартира в Академии есть предел блаженства художнику. А я думаю, что это его совершенная гибель.

Александр Иванов в волнении небольшими шажками пробежал по мастерской, взял Сергея за плечи и жарко сказал:

— Брат мой, звание академика, казенная квартира — *по-ги-бель!* Ты молод, ты начинаешь, запомни: *совершенно свободен должен быть художник. Никогда ничему не подчиняться!*

Добрые утомленные глаза Александра Иванова горели. От мешковатой добродушной фигуры веяло долго сдерживаемой силой. Он говорил как власть имущий.

— Я дорого заплатил за познание, что есть свобода... Ценою вот этого чудища, этой неудачной картины, а значит, и всей своей незадачной жизни...

Багрецов прервал Иванова, подавая ему конвертик Полины:

— Александр Андреич, вот тебе просили передать.

Иванов прочел несколько раз строчку Полины и, кинувшись к брату, пришепетывая и захлебываясь от восторга, сказал:

— Сережа, сегодня необычайный, счастливейший день моей жизни... Я не привык к откровенности, но мне хочется, Глебушка, — он как бы извиняясь обратился к Багрецову, — мне хочется сказать сейчас брату, почему я так счастлив. Но выйдем на воздух, мне легче говорить всюду, нежели в этой мастерской, где я столько лет привык к скрытности и безмолвию. И ты, Глеб, иди с нами.

Багрецов отметил, как болезненно поразило Сергея то, что, несмотря на чрезмерное оживление, брат его, прежде чем щелкнуть ключом, еще раза два входил в мастерскую, подозрительно оглядывая все углы, и только тогда, запирая дверь, вымолвил:

— Много, ох, много у меня врагов!

Они все трое спустились в сад. Лицо Александра Иванова, озаренное луною, было так задушевно и трогательно, что Багрецов невольно на него загляделся.

Да, этот белый широкий лоб, усталые добрые глаза, нежные, как у ребенка, щеки трогательно вызывали нежнейшие чувства дружбы... «Но, может быть, — подумал Багрецов, — для любви надо что-то совершенно иное, иначе не вырывалось бы у Полины так пренебрежительно часто „тюфяк“».

— Друзья мои, мне хочется вам сказать, как безмерно я счастлив... — начал Александр Иванов.

— Подождите, — остановил Багрецов, глядя на часы. — Мне время идти за ней.

— Повремени, Глеб, минуточку, — удержал Иванов как бы в внезапном страхе за руку Багрецова и сам в страшном волнении повернулся к брату: — Слушай, Сережа, после многих лет монашеской, отреченной жизни судьба посылает мне радость. Я люблю и любим. Сейчас она придет мне сказать решающее слово. Какое доверие! Ведь это — девица высшего круга, ее из дома одну никуда не пускают. Верно, родители дали согласие. Прекраснейшие люди, но чудаки, они до сих пор считают, что художник унизителен ихнему роду. Иди, Глеб, приведи ее!

— Но, Александр, не делай себе детских иллюзий! — с беспокойством воскликнул Багрецов. — Повторяю тебе: ее мать продолжает быть и навсегда останется того же мнения. Приход Полины — ее собственная затея при моей поддержке, и еще неизвестно, что этот приход тебе принесет.

— Русская дева, о, что может быть самоотверженнее! Беги, Глебушка, не опоздай!

— Я уйду, чтобы тебе не мешать, — сказал поспешно Сергей.

— Милый брат, ты не гневайся... такое совпадение! Твой приезд и эта записка... Ведь первый раз в жизни, ты знаешь меня. Конечно, она пробудет недолго, в доме такая строгость... Впрочем, мать предостойная женщина, и, между нами сказать, если она и покусилась на мою жизнь, то я извиняю ее от души.

— Брат, ты бредишь, — испугался Сергей, — какое покушение?

— Думаешь, мнительность? Возможно, возможно...

И, понизив голос, Александр Иванов горько сказал:

— Будь ко мне добр, Сережа, ведь моя странная судьба только и делает, что питает подобную мнительность. Хоть вспомни недавнее: заказ Тона для храма Христа. Я всю душу положил, без конца сделал эскизов, и вдруг... перемена — Воскресение пишет Брюллов. А бесконечные издевательства глупых начальников, и разочарования, и утраты. Мне сдается порою: мои нервы болезненно, непоправимо потрясены.

Но сейчас долой все подозрения! Сережа, при твоей помощи и ее, этой ласточки, моего флорентийского божества, я окончу свою картину! Я займу первейшее место между живописцами, между художниками современности. Долой одиночество, долой черствая старость неудачника! Иду на первое свидание, иду!

Он поцеловал брата и побежал какой-то презабавной дробной рысцой к своей мастерской.

Сергей с глубокой грустью глядел ему вслед.

ГЛАВА IX

В МАСТЕРСКОЙ

> ...Я опять испугался людей.
>
> *А. Иванов.*

Когда Багрецов с Полиной вошли к Иванову в мастерскую, он забавно стоял посреди с охапкою роз, недоумевая, куда бы их поставить. Увидя Полину, он кинул цветы на диван и, безмолвный от охватившего волнения, протянул обе руки вошедшей.

— Ну вот, я и пришла, — сказала Полина и кокетливо махнула шарфом на Багрецова. — Глеб Иваныч,

скройтесь, нам с Александром Андреичем надо поговорить.

— Глебушка, пройди в спальню... тут у меня за стеной, — заторопился Иванов, — займись эстампами. Есть преинтересные, новые...

— Обо мне, друг, не беспокойся. — И Багрецов поспешил скрыться в соседнюю комнату, испугавшись, что Иванов от конфуза пустится читать трактат об искусстве.

В комнатушке Багрецов немедля устроился так, чтобы все видеть и слышать, по праву режиссера, которому принадлежит честь постановки.

Это было нетрудно: римские мастерские все на живую нитку, и тонкая перегородка была с большой, заклеенной обоями щелью. Багрецов без зазрения сделал брешь и, не сходя с жесткого ложа отшельника, мог наблюдать за свиданием. Иванов продолжал упорно молчать, перебирая по привычке пухлыми пальцами. Он даже не предлагал Полине сесть. Она, сморщив носик, села сама на тахту.

— Садитесь же, — не без досады сделала она ручкой Иванову.

Он неуклюже опустился как можно подалее от нее.

— Глупейшее начало, — злобно проворчал Багрецов.

— Каммучини уверяет, — сказала жестковато Полина, — что картина ваша далеко превосходит брюлловский «Последний день». А как велик был его триумф, когда весь Рим кинулся на выставку! Брюллова равняли со старыми мастерами. Подумайте, что же ждет вас, если вы перестанете упрямиться и последуете мудрым советам.

Она тронула рукав Иванова тонкой в кольцах рукой и, блестя загоревшимися умными глазами, сказала нежно, как слова любви:

— Знаете, что меня побудило сделать этот решительный шаг и прийти к вам? Вчера в салоне у нас говорили, что вы составите себе европейское имя, если повезете свою картину по всем главным городам Европы. «Он прославит не только себя, но прославит и всю Россию», — сказал дипломат З. А знаете, что сказала моя мать, когда мы с нею остались одни? Мы сидели в маленькой гостиной...

— Где я впервые слыхал ваше чудное пение?

— И где от вас только зависит слыхать его сколько угодно. — И Полина потупила глазки, как полагается в таких случаях.

«Не слишком ли круто она пустилась в атаку», — опасливо подумал Багрецов.

По лицу Иванова пробежала мучительная тень. Он потупился, как-то втянул голову в плечи, словно ожидая, что на него сейчас свалится огромная тяжесть.

Полина, все не подымая глаз, продолжала:

— Ну вот, мама выразилась так: «Когда он и вправду прославит Россию, то имя его если не сравнится с родовитыми именами, то по крайней мере *станет прилично для всякой,* которая захочет разделить его странную жизнь...»

— Странную жизнь? — неожиданно вспыхнул Иванов в ту минуту, когда Багрецов опасался, что он разомлеет от восторга. — И вас не покоробило ни определение, ни убогий, в нем скрытый мещанский взгляд на художника как на забаву и развлечение хотя бы разъевропейских бездельников?

Полина сделала жест негодования. Багрецов еще не мог понять, что могло так разобидеть Иванова, а тот уже продолжал, забыв всю недавнюю робость:

— Вы только поймите, что так называемые ваши «приличные» люди не пишут картин, не сочиняют музыки, не двигают вперед ни мысль, ни чувство — они пьют, едят, множатся. Они просто-напросто навозят собой землю, не оставляя для *человечества* никакого следа. Если ж кому даны особые дары и он ими служит миру, быть может он имеет право и на *особую жизнь, не схожую с обычной...*

— Ну, я пришла к вам не для назидательных бесед... — прервала высокомерно Полина.

— О, какой я болван! Простите. Дикость, одиночество... — Иванов схватил Полину за обе руки. — Простите, но как стало мне больно от ваших слов! Я стал слишком чувствителен: про меня и то пустили слух, что разговор мой всегда в тоне грусти, а такого рода люди неспособны будто бы к высокому в искусстве. Варвары люди!

Но вы, ангел мой, не правда ли, вы пришли мне на великую радость, сказать, что отреченность моя от мира, что жестокое одиночество мое кончено? Вы пришли мне дать новые силы для нового, громадного дела?

Иванов вскочил и стал, как обычно, очень скоро ходить по своей мастерской.

— Пусть этот холст-чудовище, — он показал на завешенную картину, — пусть он учит, как не надо писать! Опираясь на вашу нежную руку, освещенный вашей красотой, я создам неслыханное! Я соберу миру в смелой исполненной жизни живописи творческий дух всего человечества. Я дам новый храм. Войдя в этот

храм и выйдя из него, каждый без слов, без сухого назидания, одним лишь созерцанием моих картин станет выше, умнее, сильнее. Станет сам воплощением божественного человека. Высоким искусством спасется и подымется даже обыкновенный, пошлый лентяй. Это ли не достойная задача? И не соблазнительно ль прекраснейшей из дев быть на подобном поприще вдохновительницей?

Полина подошла к Иванову, вскинула обе руки ему на плечи и с чарующей лаской сказала:

— Наша судьба в ваших руках. Везите картину в Париж, Лондон — и у вас деньги, у вас всемирная слава... и я.

Иванов вздрогнул, снял ее руки со своих плеч и отошел к окну.

Молчали. За окном в саду выводил кто-то под мандолину старинную песнь о любви.

Багрецов уже готов был ринуться из своей засады, чтобы скрепить новый союз, соединив руки жениха и невесты.

Вдруг Иванов быстрым шагом подошел к Полине, сидевшей на низкой тахте, остановился, не доходя, и голосом глубоким, прерывавшимся от внутренней муки, заговорил:

— Выслушайте меня: в судьбе моей нерасторжимо сплетены — жизнь личная, искание религиозное и живописное. И все они три — равно опустошительные трагедии. Сил человеческих не хватает, поймите! Ужели и дальше так?

В юности однажды я отказался от любви. Брак лишал меня заграничной поездки, а я сознавал, что я призван вывести звание художника русского в круг имен

европейских. Я не смел лишать себя необходимого развития в искусстве, я не смел думать о себе лично.

Жизнь моя здесь, мои великие труды, нужда, унижения, бескорыстные искания — все перед вами.

Я встретил вас. Вы тронули и взволновали меня нежным вниманием, проникнув в мои замыслы, в мою душу. Отрекшись от радостей личных, я стал надеяться на чудо, но поймите ж меня: художник от человека во мне неотделим. Картина моя — моя душа. Могу ли свою душу развозить по городам и торговать ею? Когда отдам ее в Петербург, пусть делают что хотят, но сам, сам... Картина моя — моя душа.

— Но кончить-то ее вы по крайней мере не отказываетесь? — сказала резко Полина и встала. Лицо ее покраснело, слова были отчетливы, жестки, как приказ. — Сведущие люди говорят, что вам только осталось привести пестроту отдельных групп к общему тону. Связать все части воедино. Почему до бесконечности делать этюды? Петербург больше не хочет продлить вашу пенсию! — почти крикнула она. — К вам приставляют невежд и бурбонов. Живете вы нищенски, вы басня города. Между тем стоит вам две-три вещицы послать на лотерею, и средств у вас сколько угодно! Воля ваша, понять это никто из здравомыслящих не в состоянии. И знаете, что я вам скажу: когда мать моя возмущается вами, мне ей возразить нечего, нечего... Я только плачу, как сейчас.

Полина села и закрыла лицо белым платком.

Иванов опустился перед нею на колени, лицо его пылало, в глазах блеснули слезы. Он молча целовал ей руки. Внезапно он встал, как бы опомнившись, отскочил к окну. Все необычайно мягкие, растрепанные,

славянские черты его лица стали твердыми. Ярко кидался в глаза умный побледневший лоб, оттененный волнистыми волосами. Он поднял голову, скрестил по привычке на груди руки и с большой силой сказал как бы себе одному:

— Безгранично свободен должен быть художник, безгранично. В великой свободе — великое творчество. А вы какое ярмо предлагаете мне?

При первом звуке этого голоса Полина выпрямилась и окаменела. Иванов продолжал:

— Вы, заодно с чиновниками петербургскими, этими «мертвыми душами», предлагаете мне рисовать для лотереи картинки, писать вещицы, когда громадные идеи околдовали меня? Не то ли сделать, что сделал художник в бессмертном «Портрете» Гоголя? Продать душу за деньги ради подделки под пошлый вкус публики? О, у меня мелькает в ответ написать вам распятого Христа, которому на вопль его «жажду» — подали желчь, а не воду. Нет, искусство предателей не прощает! Искусство требует себе всего человека.

Он подошел, протягивая обе руки, с улыбкой необычайной. И в глубоком, прекрасном чувстве сказал:

— Общее служение великой идее пусть создаст наш прекрасный союз.

Полина попятилась от него, спрятала руки за спину.

— Женщина, как и искусство, требует себе тоже *всего человека,* — сказала она холодно и, подойдя к дверям, сделала знак их открыть.

— Я провожу вас, — сказал он робко.

— Не беспокойтесь, в саду ждет меня горничная.

Полина вышла. Иванов остался стоять среди мастерской.

Багрецов не мог больше выдержать, кинулся к нему из своей комнаты, молча положил на плечо руку.

— Глеб Иваныч, — сказал Иванов, не двигаясь, не переводя глаз из точки, куда они случайно попали, — все кончено, она больше сюда не придет. Что же, видно, ничто личное — не моя судьба.

Вдруг Иванов подошел к своей громадной картине и с силой отдернул драпировку. Багрецов, давно ее не видавший, невольно отступил, пораженный.

В картине уничтожены все женские фигуры, отчего группы стали суше и расположены как бы для скульптурного барельефа. Складки на апостолах искусственны, в духе мертвого академизма, вода первого плана похожа на пестрый узор. Лицо раба, столь потрясающее в этюде, теперь было лицом позеленевшего трупа.

— Александр Андреич, — сказал растерянно Багрецов, — что ты сделал с Крестителем? С одними вдохновенно поднятыми руками, без мантии и креста в руке, он был много прекраснее...

— Крест присоветовал мне Торвальдсен, — сказал тускло Иванов, — а надеть мантию — Овербек. Женщин же я удалил по настоянию батюшки. В одинокой жестокой жизни у художника часто нет сил доверять лишь себе одному.

Багрецов был потрясен болью невыразимой: на его глазах зарождалось, возникало произведение гениальное, обещавшее чудо, а для него самого — тайное разрешение его личной судьбы. Он ждал окончания «Мессии» как приговора или надежды на воскресение. И вот взамен чуда — работа холодного мастерства, от которого почти отлетел дух живой.

«Гобеленов ковер, — впервые подумал он то самое, что впоследствии говорили между собой все художники. — Где же былой огонь? Где широта кисти, столь поражавшая в подмалевке?»

Багрецов вспомнил о старом отце Иванова, восторженный шепот его, и гордость, и страх перед дерзкой гениальностью сына, задумавшего чудо обращения всех ко Христу «Появлением Мессии».

Долго стояли оба с тяжкими думами, как вдруг послышались сзади шаги, и в дверь, которую впервые после ухода Полины позабыл накрепко запереть Александр Иванов, вошел его брат Сергей.

Александр быстро обернулся, вздрогнул, пришел в себя. Лицо его вспыхнуло, потом побледнело, и в сильнейшем волнении, нелепо пытаясь заслонить собою картину, он заторопился оправдать себя брату:

— Против прежнего тут изменение... Вместо городских стен теперь у меня дальние горы близятся равнинами, а во втором плане кроются обильными оливами; все это должно быть подернуто утренним испарением земли. Кроме того, картина должна получить сильную глубину в перспективе.

— Брат мой! — воскликнул Сергей. — Но это превзойдет все доселе бывшее, когда будет окончено...

— Картина окончена не будет, — прервал Александр Иванов. — Не будет! — крикнул он вне себя. — Капля точит и камень, а художник беззащитнее ребенка. И русскому таланту, чтобы совершить задуманное, надлежит прожить не одну, а две жизни. В первой жизни его лишь измучают до смерти...

— Помилосердствуй, Александр Андреич, — вступил Багрецов, — ведь тебе тут работы не много!

— Ах, пожалуйста, не надо... — Иванов в испуге, как бы защищаясь от удара, слегка поднял руки, — не надо-с. Конца не будет.

— Брат мой, — Сергей чуть не плакал, — как не довершить начатое гениально? Какое глубокое всенародное постижение Христа! Это не царь царей мастеров Возрождения — это иной, всем близкий, простой. А ожидание толпы, а этот затравленный раб? Старик, молодые, эта внезапность надежды в чудесно тобой возрожденном типе древнего палестинца? О, какое разрешение! Эта непостижимо легкая поступь. Эта спокойная сила Иисуса. Невольно вступили мне в память стихи Федора Ивановича Тютчева. Они ходят у нас по рукам, еще рукописные...

— Скажи их, Сереженька. Вот он каков... Юный, еще не общелканный жизнью. Ведь и я был такой же. Ну, Сережа, скажи.

Сергей, восторженно глядя на картину, продекламировал в той напыщенной, несколько приподнятой манере, которая в Академии установлена была для публичного слова:

Над этой нищею толпой
Порабощенного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода?
Блеснет ли луч твой золотой?
Блеснет твой луч, и оживит,
И сон разгонит и туманы;
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет...
Кто их излечит, кто прикроет?
Ты, риза чистая Христа...

— Именно так, именно, — сказал Александр Иванов. — Да, так я веровал. А когда больше веровать так я не могу — тогда пришло время кончать. И вот: конца картине не будет.

Молчали.

Иванов тихо поднял руку, как подымают над дорогой могилой, чтобы бросить прощальную горсть земли:

— Глеб Иваныч, задерни полотно!

Багрецов был бледен, руки его дрожали, когда он задергивал серым покровом трепетное тело юноши, выходящего из воды, орлиное лицо Иоанна и спешащего к людям Христа.

Наутро Багрецов нашел снова Полину на Форуме. Она была одна и тотчас сказала, натянуто улыбаясь:

— Ну, вот и развязка вашего незадачливого сватовства! Во всяком случае, я на вас, Глеб Иваныч, не в претензии. Тем более, что вчерашняя ликвидация наших умных планов сердечных моих чувств нимало не затронула.

— Что с вас взять, — пожал плечами Багрецов. — Упрекать вас за то, что вы есть, бесполезно и глупо.

— Ваше высокомерие нимало меня не трогает, — прервала Полина. — Сколько бы ни корили женщин за то, что они не жертвуют собою гениям, они не исправятся. Для них последний обыкновеннейший мужчина может оказаться более достойным любви, между тем как Сократ будет вечно достоин одной лишь Ксантиппы! И знаете почему?

— Это любопытно. Просветите меня!

— Потому что женщина ценит только того, кому она хоть когда-нибудь может быть *цель*, а не *средство.* А потому грубейшая страсть ей предпочтительней любви — лекции по искусству. Однако я прошлым жить не люблю. Давайте заключим и на будущее союз дружбы. Ведь ваши услуги могут быть и удачней!

Багрецову Полина сделалась отвратительна, но мысль о «флаконе Борджиа» заставила его улыбнуться и сказать со всеми чарами героя романа:

— Услуга за услугу! Вы должны вскрыть мне тайну маленькой Гуль. Откуда эти очи, полные гнева, и таинственность и нежелание со мной говорить? Ужели она так стала важна от брака со своим адъютантом? А, кстати, он интересен по внешности?

— Успокойтесь: долговяз, красонос от жертв Бахусу...

Багрецов прервал с улыбкой:

— И потерпел здесь аварию, пытаясь приносить жертву Амуру... Передайте жене его, что он притча во языцех у художников. Скульптор Рамазанов не пускает его в мастерскую по просьбе натурщицы, в которую он соблаговолил влюбиться.

— Ах, это маленькой Гуль очень на руку, — оживилась Полина, — муж этот ей до смерти надоел. Ведь Гуль... Да неужто не догадались? Она с пелен любит вас!

Багрецов притворился изумленным, что польстило Полине.

— Вы меня поражаете! — воскликнула она. — Но знайте, Гуль настолько же вас любит, как и ненавидит. Но не правда ли, наш союз à discretion, клятвенный и нерушимый?

— Разумеется, что так, — удостоверил Багрецов.

Они сели под серебристой оливой на камне, и Полина с наслаждением бессмертной Евы, нарушающей клятву, хотя место было пустынно, стала шепотом предавать подругу.

— Вы всегда щадите мое самолюбие и даете доказательство вашего уважения. И сейчас, хотя дело не вышло, я ценю, что вы мне хотели добра. Ну вот, я отплачу вам тем же, не желая, чтобы вы стали посмешищем. У нас на маскараде против вас целый заговор. Гуль заинтриговала всех родных и знакомых. Кто б мог подумать о коварстве в таком хилом существе! Когда она выйдет в своем костюме, все должны изучать ваше лицо.

— Для какой же цели?

— Гуль уверяет, что вы побледнеете, как преступник. Что это будет вашей уликой, и тогда она раскроет одну вашу старую тайну. Будет мстителем за совершенное будто бы преступление или за намерение его свершить — уж не помню. Ни дать ни взять — опера! Вообразить вас преступником в наши дни? Флакон яда? Да чем же это не Ренессанс?

Скрывая волнение, Багрецов сказал:

— Да, презабавная история! А каков будет костюм вашей Гуль?

— Флакон с надписью: «Яд Борджиа». Недурен романтизм?

Багрецов засмеялся, и уж это вышло напрасно. Смех его вышел не легкий, а злой, так что Полина, помолчав, заметливо сказала:

— Однако вас в этой истории что-то все-таки зацепило.

— И даже очень зацепило, — поспешил он, — как всякая подчеркнутая человечья гнусность. Ведь я знал эту Гуль девочкой, она росла у меня на глазах; как умел, я о ней позаботился. И вдруг эта чисто женская, кошачья месть, только за то, что я не оценил ее прелестей?

Багрецов, уже вполне овладев собою, найдя все необходимые интонации, рассказал Полине о том, что этот странной формы флакон жена его хранила при себе на тот случай, если ребенок родится мертвым.

— Подозревая, что это мог быть яд, я, похитив его у сонной, тихонько унес из-под подушки, положил к себе и, не поспев хорошенько спрятать, поспешил на зов проснувшейся жены. Вернувшись, я нашел, что флакон исчез. Сейчас мне все понятно: Гуль, с своим замкнутым характером, разрываемая детской страстью и фантазией, вообразила целую мелодраму. И все это было бы даже мило, если бы не ее теперешний маскарадный замысел с такой гласностью и предательством. Впрочем, и это извинительно, — сказал он, смеясь. — Ведь я разбил ее семейное счастье, добродетельно помешав соблазнить натурщицу Рамазанова долговязому адъютанту Гуль.

— О, какой вы широкий и великодушный человек! — воскликнула Полина. — Сколько снисхождения к нашему женскому коварству.

«Бесподобно разыграно», — похвалил сам себя Багрецов и, придумав какой-то предлог, распростился с Полиной и, взяв веттурино, уехал на целый день в Субиако.

Багрецов шел к себе домой в отвратительном настроении. Он был противен себе сам, как эта Гуль, с

непрошеной любовью и ненавистью вставшая у него на пути.

Всплыло прошедшее. То дурманное состояние, близкое к бреду, которое охватило его после именин на Девичьем поле. Снова возникла не оставлявшая в те дни ни минуты, разрывающая все существо его, зовущая в бой музыка строк:

Я мало жил, и жил в плену,
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог...

Сейчас, в эту темную, безлунную благоуханную ночь, заглушая плеск тихих весел на Тибре, звуки журчащих о любви мандолин, охватывая взором ожерелье огней на башнях святого Ангела, где сидели, бывало, в заточении благороднейшие, откуда на разрезанной простыне бежал Бенвенуто Челлини, — эти строки звучали ему вновь и вновь с прежней силой:

Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог...

В комнате Бенедетты горел огонь. Багрецов стукнул в стекло, размахнувшись бутоном розы, продрался сквозь заросли и шипы подсмотреть в окно; удивленное прекрасное лицо глянуло в темный сад и, никого не видя, отодвинулось.

Бенедетта была в костюме транстеверинских женщин. Бархатный корсаж ловко обхватывал белоснежную рубашку. Шея и руки, от локтя голые, были тверды, налиты здоровьем. Лицо знойное, прекрасное в своей простоте, как лицо молодой богини.

Багрецова, после всей путаницы, боли и мелочи последних дней, это лицо потянуло, как тянет теплая большая река разбитого в пути странника. Минута отдыха и забвения... Он опять постучал и вплотную, как мальчик-шалун, приложился к стеклу, состроив из лица расплющенную маску. «Если узнает, — успел подумать он, — значит, полюбила...»

Она узнала его. Радостно вспыхнув, она открыла окно.

— Бенедетта, можно к тебе? — прошептал Багрецов. — Я по делу.

Бенедетта кивнула, указав на двери, и, спустив от лишних взоров зеленое жалюзи, пошла в глубь комнаты отворять.

— Как вы узнали, что я еду? — удивилась Бенедетта.

— Куда едешь? Нет, я не знаю ничего, — сказал Багрецов. — Я соскучился по тебе, я пришел навестить.

— Как же, поверю, вас сколько дней не было дома? — сказала она с сознанием, что вот не смеет делать упреков, и все-таки упрекает.

Багрецов обнял Бенедетту и, целуя, сказал:

— Вот и прекрасно, я поеду вместе с тобой.

Бенедетта высвободилась, отступила. Лицо ее вдруг все засветилось прекрасной глубиной чувства, гордый рот, способный на резкое, жестокое слово, детски доверчиво приоткрылся:

— Надолго?

Это была такая полная, настоящая, большая любовь, что у Багрецова голова пошла кругом. Он забыл и кто он и на что способен, он смог в ответ сказать ей только одно, тысячу раз им осмеянное:

— Навсегда!

Они не спали всю ночь. Он ей все рассказал про себя, как матери, другу, жене.

Молча гладя его волосы, она все поняла, не удивляясь. Наконец она просто сказала:

— Мы теперь будем вместе работать для свободы. Ведь ты любишь Италию, раз ты любишь меня?

Он отвечал:

— Борьба за свободу Италии — начало борьбы за свободу людей. Мне терять нечего, мне жалеть нечего. Все мое только с тобой. Едем же, едем скорей!

И он бы в те дни с ней уехал. И кто знает, быть может нашел бы себе если не покой, то хоть доблестную смерть, как любимый им Байрон, сражаясь в чуждых рядах, за чуждую отчизну.

Но он не поехал. Он остался. Это она, Бенедетта, и в любви не забывающая дела, в интересах своего «тайного общества» решила, что безопаснее для дела ей ехать одной. А ей предстояло немало нужных бумаг перевезти контрабандой к Доменико. Порешили на том, что она уедет одна и вызовет Багрецова при первой возможности. Когда утром он усадил Бенедетту в высокую тележку знакомого веттурино, она, целуя его в последний раз, так грустно сказала: «Теперь мне без тебя даже неделя большой срок», — что Багрецов прыгнул к ней в экипаж и, презирая всякую осторожность, еще и еще убеждал ее взять его себе в спутники. Но прекрасная Бенедетта была тверда. Она сделала знак веттурино, тот ударил по лошадям, и она уехала, не оборачиваясь. Она не обернулась, хотя любовь к Багрецову в ней была так же сильна, как любовь к Италии, но жила в Бенедетте, как и в брате ее, Доменико,

та пламенная верность делу, что принудила знаменитого узника венецианской тюрьмы, их отца, покончить с собой голодовкой, чтобы не предать тайного плана восстания.

Багрецов, безумный, влюбленный, каким не был и в дни своей мрачной юности, то таскался по узким уличкам Рима, то с головою зарывался в прошлое Италии. Он вдруг сумел убедить себя, что ему безразлично, какой страны быть гражданином, и если судьба представляет ему Италию поприщем деятельности, то он готов помереть за Италию, как Байрон за Грецию. Он зараз брал уроки истории, итальянского языка, изучал фехтование и военное дело. Он стал юношей, — он любил.

Среди своих личных дел он даже не отозвался на внезапное появление Пашки-химика, который приходил за ним, чтобы идти вместе к Гоголю. Но вся острота этой долгожданной встречи для него теперь пропала. О чем говорить, хотя бы и с Гоголем, будущему члену «Юной Италии», мужу Бенедетты? Для своего нового итальянского будущего Багрецову хотелось, как уходящему в монашеский орден, одного: поставить крест над всем своим прошлым.

И не мудрено: служа делу возрождения Италии, ведь он ухватился за чудо *собственного своего возрождения.*

Пашка-химик корчил бесовские рожи, хихикал, но, даже не рассердив Багрецова, разобиженный, отошел. Так с Гоголем Багрецову в Риме и не привелось говорить. Гоголь уехал в Неаполь, откуда собирался двинуться через Чивита-Веккию в Палестину.

— «Чиновник восьмого класса, Николай Гоголь, — так аттестован наш «важнейший» в официальной бу-

маге, находящейся в Неаполе, — отправляется в путь по святым местам, сроком на полтора года»... Сие отмечено печатями, что значит — документ, — сказал в последнее посещение Пашка Багрецову и еще раз настойчиво убеждал: — Съездите, Глеб Иваныч, съездите к Гоголю хоть в Неаполь, ведь единственного в своем роде великого человека проморгаете. Что ж до девицы... Да ведь у нее, что у нашей калуцкой, что у древней, гречески-римской, один коленкор-с!

Багрецов Пашку гневно прогнал.

Как-то вечером, молодой и веселый, все еще не доверяя своему внезапному, своему второму рождению, Багрецов захотел сентиментально пережить недавнее прошлое с начала, с той самой минуты, как он постучался в окно, продираясь сквозь крепкие душистые ветви вьющихся роз. А в окне, освещенная сверху, сверкая белизной шемизетки и смуглой своей красотой, предстала ему Бенедетта.

Он входил к себе в сад от синьора Стацци, старого знатока истории тайных обществ, которую сам он теперь выучил назубок. Он подошел к окну, по-мальчишески прыгнул в газон, как тогда, приложил было лицо вплотную к стеклу, как вдруг его сзади кто-то робко позвал:

— Глеб Иваныч!

Багрецов обернулся. Недалеко на садовой скамье сидела Гуль.

Он не удивился. Сейчас в его жизни все было неизъяснимо и чудесно. Ведь он стал не он. В нем какое-то новорожденное, доверчиво-светлое существо заменило привычную злую насмешку добротою ребенка.

— Милая Гуль, как хорошо, что вы пришли, — сказал он с непринужденною лаской, но в ответ на эти слова худенькое тело сидевшей вдруг все содрогнулось и, странно свернувшись на скамейке, забилось в рыданиях.

— Гуль, маленькая Гуль... — И, не желая чьих-либо нескромных взоров, Багрецов почти внес ее в свою комнату.

Но он не успел подать ей воды, как Гуль, соскользнув на пол и схватив его руку, стала целовать, говоря:

— Простите меня, о, простите!

Багрецов вмиг припомнил все, что вылетело у него было из памяти, и то, как должен себя он держать, чтобы не выдавать своей тайны. Но после *той ночи*, когда Бенедетта смогла все понять, играть роль было тяжело. Однако природная осторожность проснулась, и сдержанно он спросил:

— За что же прощать мне вас, милая Гуль?

— Вовсе я вам не мила. Вы не любите меня. А с тех пор, как поговорили с Полиной, вы должны меня презирать.

Гуль впервые подняла на Багрецова огромные, обведенные черными кругами бессонницы глаза.

— Полина передала мне весь разговор. Она не хотела, чтобы и я оказалась в глупом положении. Дайте воды... Я должна вам все рассказать.

Багрецов подал стакан, потом сел напротив на низкий табурет, у ног Гуль и, опустив голову на руку, не глядя на нее, приготовился слушать.

— Когда я попала к вам в дом двенадцатилетней девочкой, я вздохнула впервые. — Она говорила прерывисто, как после быстрого бега. — Быть может, вы не

знаете: сестра не любила, стыдилась меня, тетя тоже. Наша мать, которая умерла за границей, бросив своего мужа, не была верной женой. Тетя имела жестокость не однажды при мне говорить, что я не имею права носить графский титул и фамилию Котовых...

Сестра терпела меня как обузу, она была суха и расчетлива. Вы первый приласкали меня. Я полюбила вас страстно. Вы не знаете, может быть, что такое любовь в юные годы, когда еще нет разнообразия впечатлений, когда не накоплено опыта, не развиты способности ума и воли. О, это всепожирающее пламя! Да, как пишут в старинных романах.

После смерти сестры вы меня отдали в пансион. Я бы умерла, если бы вы не стали меня хоть изредка посещать. Я жила от встречи до встречи.

Да, я знала все, что свершалось между вами и сестрой. Я отлично понимала, что не по любви вы женились, поняла и то, что сестру вы скоро возненавидели. Я стала за вами следить: ваш растущий гнев, ее бестактное утверждение в своем богатстве, наконец ваше отвращение, когда она к вам приставала с приданым малютки... — Гуль остановилась. — Вы меня слышите? — сказала она.

— Я отвечу, когда вы кончите, говорите все.

Голос Багрецова был все так же ласков, но лица он не подымал.

— Это было за день до конца, вы только что вышли из комнаты, дверь не была прикрыта, я проходила мимо и, по обычаю, скользнула к вам. Я так делала часто. Мне как ласка было побыть в вашей комнате, потрогать ваши вещи, некоторые пустяки я воровала.

Я носила на шее рядом с крестиком вашу запонку, я таскала ваши носовые платки. В тот день я на столе увидела флакон необыкновенной формы. Но только я взяла его в руки, как за дверью раздались шаги. Убежать было некуда. Не выпуская флакона, я укрылась за шкаф. Я думала — я умру. У вас было отчаянное лицо, досиня бледное. Вы вошли и упали в кресло, охватив руками голову. Потом вы стали метаться, что-то искать, вероятно флакон.

Ваше лицо изобразило такой ужас, не видя его, что я, не в силах выдержать, хотела уж кинуться к вам и отдать. Вдруг сестра стала звонить, зовя вас. Вы бросились вон из комнаты. Я, по непонятной мне причине прижимая к себе флакон, убежала в свою светелку наверх.

Зачем вечером вы так испугали меня! Вы льстили, подкупали, приказывали отдать... вам так нужна была пропавшая вещь, что я видела, если бы безопасно для этого было меня запытать, вы бы, не дрогнув, меня запытали. О, как ранили вы меня вашей жестокостью...

Но, чересчур испугавшись, вы выдали свой страх. Оскорбленная в своем детском чувстве, заброшенная и злая, я решила держать вашу тайну в своих руках. У меня явилось чувство власти над вами.

Наутро сестра умерла.

Я подумала: если и сегодня он будет мне говорить про флакон, значит он ее отравил. Я флакон не отдам, но когда вырасту большая, узнаю у врача про его содержимое. На дне оставалось немного приставшего к стеклу порошка. Я залила пробку сургучом и закопала флакон в саду, отметив место камнями.

Вы в тот же вечер опять начали ваши допросы. Вы помните, как я рыдала, потом заболела. Я была в та-

ком ужасе, что вы — убийца. Больше меня вы не допрашивали.

— Этот пузырек я взял из-под подушки моей жены во время ее сна. Она добыла себе яд, чтобы самой умереть, если ребенок родится мертвым.

Багрецов сказал это с твердостью и спокойно: того человека, который отравил его жену, он в самом деле чувствовал теперь себе совершенно чужим. Сейчас он острее, чем все дни, знал одно: спасенье его — брак с Бенедеттой, новая родина, новая жизнь.

От простых слов Багрецова Гуль вдруг сделалась очень бледна и с непонятным ужасом прошептала:

— Как, и сестра моя вам лгала? Вас пугала отравой Борджиа? — Она почти лишилась чувств и долго сидела молча, закрыв глаза темными, будто выкрашенными веками.

Багрецов был поражен. Он стал догадываться, что Гуль или знает что-то ему неизвестное, или сходит с ума.

— Видно, ложь в нашей семье. Сестра с вами играла, она не могла... О, простите меня! — Гуль чуть всплеснула своими тонкими ручками. — Но помогите мне сами сказать все до конца. Нищему душой так трудно дается великодушие. Если б я имела хоть одну жалкую радость узнать... ну, вот, скажите мне правду, как перед смертью: если вы не любите меня, то ведь, не правда ли, вы не любите и никакой другой женщины? Увлечение, страсти — не в счет. Я говорю про любовь, про любовь... от которой сердце как солнце!

— Как вы прекрасно сказали — сердце как солнце. Да, Гуль, с недавних пор такое чувство мне стало понятно.

— Благодаря натурщице Рамазанова! — вскрикнула Гуль. — Из-за нее я поссорилась с мужем, из-за нее снова теряю я вас. Будь она проклята, итальянская девка!

— Вы не смеете... Это — моя жена.

Багрецов, бледный, схватил Гуль за плечи, но в ту же минуту встретился с глазами ее. В них было столько муки, что он отступил и невольно сказал:

— Простите, простите меня.

Гуль, шатаясь, пошла к двери. Лицо ее, с опущенными веками, на миг выразило жестокую борьбу: вот рот уже дрогнул пронзительной нежностью, и казалось, она готова, ценою собственной жизни, произнести какое-то разрешающее слово. Но когда она подняла глаза, тусклые, темные пятна без жизни, голос ее был только злобно отчетлив:

— Желаю вам счастья с новой женой, и пусть не повторятся у вас, как с первой, припадки ненависти, которым вы столь подвержены. Улик против вас нет, и, конечно, давность прошла, но я все-таки знаю: *убийца сестры моей — вы!*

ГЛАВА X
ПЮРГАТИВ

> Один — раб человека, другой — раб судьбы.
>
> *Лермонтов.*

Сегодня откроется конклав, да, да, конец десятидневных поминок по усопшем папе Григории.

И стучат деревянные каблучки, и спешат римляне и форестьеры на ближайшую площадь за свежими

слухами. Народ на улице. Волнение в Риме: не хотим черного папу!

— Беппо, кто сядет на папский престол: Ламбрускини или Ферретти?

Беппо все знает. Он говорит, пыхтя трубкой:

— Сядет папой Микера, гнусный шакал. Когда его спросили, кого бы он сам хотел видеть в папской тиаре, не постыдясь, он ответил: «Для спасения души годен кроткий Мастаи, но для спасения финансов, что гораздо важней, ибо в ваших карманах скоро будет, синьоры, столь же пусто, как в банках, — для спасения финансов лучше меня не найти!»

Багрецов, заодно с итальянцами, сейчас жил на площади и в таком же волнении, как его старый maestro di casa, бежал на закате к Ватикану смотреть, как на розовом небе черной лентой извивается дымок fumat'ы.

Уже не раз вылетал этот дымок из трубы над Сикстинской капеллой, где заседали шестьдесят кардиналов над избранием нового папы. Кардиналы не могли сговориться, твердого имени их записки не давали и по традиции предавались огню. Дым из трубы, по-местному — fumata, был горестный знак населению, что продолжается его сиротство и что римляне — все еще бедные овцы без единого пастыря.

Наконец в один из чудесных июньских вечеров фуматы не было, и стало известно, что папой избран Мастаи Ферретти.

Ему же выпал черед разворачивать билетики закрытой баллотировки, и передавали знакомым своим кардиналы, что скромный Мастаи, по мере того как повто-

рялось его имя, все сильнее бледнел и наконец, поняв, что именно он избран в папы, воскликнул:

— О, что вы наделали! — и лишился чувств.

Однако от власти отказаться не так-то легко. Когда Мастаи очнулся, то на вопрос: принимает ли он папский сан, он скромно ответил:

— Я подчиняю свою волю избирателям и провидению.

Немедленно стала известна Риму вся подноготная нового папы. И несчастная любовь юности и отличие в науках в знаменитом Тосканском университете. Последнее возбуждало большие надежды, так как означало, что губительное влияние семинарии его не коснулось. Чуждый честолюбивого лицемерия и нетерпимости, новый папа хорошо знал обыкновенную человеческую жизнь. Он заведовал сиротским домом с такою любовью, что дети прозвали его «тата Джиованни». А на последнем своем месте, епископом в Имоле, он снискал всеобщее уважение покровительством просвещению, в духе модных писателей Джиоберти и д'Азелио. Багрецову шепотом сообщали, что новый папа принимал даже участие в действиях «Юной Италии».

Когда Пий IX ехал из Квиринала в Ватикан принимать поздравления от кардиналов, римляне приветствовали его восторгом чрезмерным...

Багрецов, полный своей любовью, ожидая письма от Бенедетты с вызовом в Неаполь, переживал нечто близкое перевоплощению. Любовь Бенедетты, — как волшебный чан, куда прыгает Иванушка дураком, а выходит умником, — переродила его из отжившего, охлажденного человека в юношу. Заодно со всем Римом он был охвачен восторгом в дни амнистии полити-

ческих, заодно со всеми яростно требовал отставки черного кабинета Савелли.

Пий IX, сколь ни запугивали его кардиналы, приступил сразу к реформам, чем вызвал бурное обожание римлян.

Три дня непрерывно шел праздник: процессии, факелы, карнавал. У многих ссыльных не было средств вернуться на родину — возник комитет помощи, посыпались добровольные жертвы. Багрецов давал деньги, собирал, агитировал. И заодно с итальянцами обожал вождя Рима, Анджело Брунетти Чичероваккио.

Это был неподдельный народный герой, ломовой извозчик, достойный представитель транстеверинцев, лучшей части простонародья, великодушный, гибкий и пламенный.

Имя Брунетти у всех на устах. Народ ему верит, и он не обманет народ. Этот человек с черной бородкой, с тонкими быстрыми руками, которыми обычно дополнял свою яркую речь, был больше чем вождь, он был сердце и воля народа.

Чичероваккио прекрасно умел на банкетах сидеть рядом с древнейшими князьями Рима и, не давая им себя убаюкать лестью, как сторожевой орел, зорко следил, до каких пор интересам народа не вредит быть заодно с Ватиканом.

И хотя мелкие реформы папы сыпались как из рога изобилия, хотя вместо старого губернатора Савелли назначили известного либеральностью Грасселини, Чичероваккио все острей понимал, что от одной перемены людей пользы мало, если учреждения останутся те же. И после дней особых римских торжеств говорил с горечью среди близких своих транстеверинцев:

— Чихнет папа — факелы, проедет по Корсо — ракеты, — ох, боюсь, как бы нам все дело Италии не пропраздновать в карнавалах! Национального ж войска как не было, так и нет, а шпионы и сбиры кишат попрежнему, словно клопы.

Нижние полицейские чины набирались в Тоскане, как и всюду в Италии, из самых подонков города, а пользовались властью громадной. Они действовали заодно с ворами, чтобы брать свою долю за открытие краж. Они доносили, шпионили, они гнусной коростой прослаивали под разнообразной личиной тайные кружки «возрождения Италии».

Наконец флорентинцы, придя в ярость, разрушили здание полиции и на огромном костре сожгли все дела. За ними восстали и прочие города Тосканы, пока не добились декрета, навсегда упразднявшего полицейские низшие должности.

На время народ успокоился. Он был горд своим первым, доселе неведомым опытом: его воля — высший закон.

Хуже всего дела были в Неаполе. Даже незначительные реформы Пия выводили из себя Фердинанда, а отмена сбиров его окончательно утвердила в трусливом самовластии. Но едва он усилил полицию, как возник тайный заговор. Заговор перешел в восстание в Мессине и Реджио, как только генерал Cтателла был послан с незначительным войском, чтобы усмирить в Калабрии неаполитанских беглецов, занимавшихся разбоями. Среди заговорщиков главным был брат Бенедетты — Доменико.

Он в предместье Мессины, где ненависть к Неаполю была сильней, чем где-либо, задумал за большим обе-

дом захватить генерал-губернатора Ланди со всеми офицерами и затем овладеть крепкой цитаделью.

Но план Доменико был выдан предателем, и губернаторский обед отменен. На улице завязалась борьба. Революционеры, бессильные перед войсками, должны были бежать в соседние горы...

Вот эти последние события в тайном письме к Багрецову излагала Бенедетта, прося его ехать к ней немедля в Неаполь.

Багрецов, счастливый, стал собираться. Он поручил своему maestro di casa заказать лошадей, а сам пошел в банк за деньгами. И все время, что бы ни делал, Багрецов не уставал отмечать в самом себе с радостным изумлением присутствие все еще ему необычайного влюбленного юноши...

На Корсо он встретил Александра Иванова. Тот только что вернулся из Ливорно. Увидав Багрецова, замахал в оживлении руками, зашептал, щекоча его бородой в самое ухо:

— О, я застал там важнейшие происшествия... — И с презабавным, конспиративным видом потащил Багрецова к себе в студию.

По дороге на все вопросы Иванов отвечал многозначащим безмолвием, прикладывая к губам один из своих толстых пальцев.

Наконец у себя в мастерской, после обычной церемонии накрепко задвинутой двери и осмотра всех углов, Иванов ликующим голосом сказал:

— Я застал, мой друг, *исторический момент в Ливорно* — предъявление требований правительству национальной гвардии.

Или чивика, или революция! Вообрази, это смело кричали в самом городе. Мне советовали убираться; все форестьеры, как крысы, сбежались на пароходы. Но я остался. Конечно, главным образом оттого, что нашел великолепные древнепалестинские лица, но и из интереса к событиям также.

Наутро, представь только, — да ведь это, братец, *история!* — сам грандука объявил афишами, что просьбу народную он отдал на рассмотрение в государственный совет. Толпа становилась все больше, двинулась маршем на площадь, каждый с трехцветной кокардой. Какие знамена взвились! А бюст папы, как лебедь, поплыл впереди. Вообрази, губернатор со страху иллюминовал свой собственный дом. Каково, Глеб Иваныч? Сво-бо-да!

Да, я видел впервые *волю народа,* и, представь себе, я понял, как вдруг может меняться весь пункт зрения. Истинно, художник постигает историю не по книгам, а едва лишь увидит ее своими глазами. Только от глаз возникают в нем выводы.

Иванов был необыкновенно возбужден, он помолодел, он опять стал раскрыт и доверчив, как, бывало, в дни юности и «взаимного экилибра». Впервые Багрецов видел его так захваченным живой жизнью, что временно даже живописная работа его остановилась.

— Глеб Иваныч, я совсем не работаю, а без конца думаю, думаю. О, что пережито мной в Генуе! Прибыл я туда больным, замученным бессонницей, но, увидав генуэзцев, воспрял. Да, Генуя великолепна. Независимость их сделала вдруг героями. И ходят сейчас поиному... Повсеместная честность, порядок, жизнь, бодрость.

И меня вдруг как обухом хватило — хоть и сказано «повинуйтесь властям предержащим», но отнюдь не безразлично, дражайший, *каким именно?* Да-с, Глеб Иваныч, вот мысли — для русского новые!

— Свободная чивика или наемники деспотизма, еще бы не разница, — рассмеялся Багрецов. — Только это ведь азбука! Александр Андреич! Эк, Америку, подумаешь, открыл!

Иванов подкатился к Багрецову совсем близко и, всем взволнованным существом своим обнаруживая, как важны были ему эти для русского «новые мысли», понижая голос, сказал:

— Неужели от состояния политического и впрямь зависит душевное?! Судя по лицам, это — очевидность для художника. О, я давно не дышал столь облегченно. Но, друг, на границе все кончилось, едва шпионский, желтый цвет будок с черными полосами сменил нам свободу Сардинии на рабский, удушливый воздух Ломбардии...

В дверь мастерской кто-то яростно застучал. Сначала одним кулаком, потом ногами. Иванов побледнел, схватил за руку Багрецова, шепнул ему:

— Австрийские шпионы! Некий следил за мной от самой границы...

— Глеб Иваныч, вы здесь? — донесся в щель голос Шехеразады. — Откройте, я один. К вам дело...

— Пашка-химик, — узнал его Иванов, но все же опасливо переспросил: — Да есть ли кто с тобой?

— Един, как хрен, — завизжал Пашка.

Иванов открыл, попенял:

— Испугал, братец, стуком. Вперед стучи троекратно и дробно.

— Я к Глебу Иванычу двойным гонцом бога Амура, — застрекотал Шехеразада, подбегая к Багрецову. Он на обычный свой балахон нацепил трехцветную кокарду, а в руках у него был герб Ломбардии.

— Ты что это, на пути в волонтеры? — спросил Багрецов.

— Как же-с, Глеб Иваныч, хочу и я записаться. На поле битвы еще паду или нет, а уж вторую-то молодость приобрету себе без просчету-с. Каждому лестно от фортуны сорвать двойной урожай-с!

Багрецов понял намек, раздражился, как всегда оборвал:

— А сюда что тебя принесло?

— Единственно увлечение вашей судьбой, Глеб Иваныч. Ну как же-с, по поводу вас в один час две встречи, и обе важнейшие. Maestro di casa, почтеннейший старец, вас ищет в целях задатка вознице на свадебный ваш кортеж. А вторичное вам извещение — ваша знакомая просит свидания на холме Пинчио. Да разве не акт дружбы, Глеб Иваныч, заставил меня пугать вас здесь стуком? Согласитесь, что именно акт...

— Глеб Иваныч, да как же ты мог утаить? — подскочил с изумлением Иванов. — Неужто и вправду женишься? А может, ты, Пашка, сбрехал?

Багрецов покраснел, отмолчался. Ему не хотелось раньше времени говорить про Бенедетту. И он поспешил спросить Пашку:

— А второе поручение от кого?

— От жены долговязого адъютанта, от Галины Юрьевны.

— Да разве она не уехала с мужем?

— Никак нет-с. Осталась одинешенька. Адъютанта отпустила совсем одного. Я видел своими глазами, как он, словно аист, этак голенасто вышагивал из отеля вслед за лакеями, вносившими в экипаж его вещи. А Галина Юрьевна просит вас для важного дела быть на Пинчио ровно в пять.

Часы ударили половину.

— «Глагол времен — металла звон», — вскричал Пашка. — Выйдемте вместе, Глеб Иваныч, мне в ту же сторону. У дамы-то вашей лицо было бледное, и глаза... Она бросится в Тибр, если вы не придете. Ей-богу, бросится.

Иванов ужасно взволновался. Припомнил, как девица Дюмулен из-за того, что Брюллов не отвечал ей на письма, бросилась с ponte Molle. Он заторопил Багрецова:

— Иди, Глеб Иваныч, неровен час... ужо на досуге придешь, побеседуем о мыслях, для русского новых...

Багрецов шел на свидание с Гуль, а думал об Александре Иванове. Ему был и пленителен и одновременно досаден этот большой ребенок, мироощущения которого менялись по особым законам не мысли, а живописного впечатления. Между тем он был остроумен. Но как совместимо с большим умом, что такие простые вещи: свободная национальная гвардия или наемники деспотизма есть разница — могли быть им поняты только сейчас воочию, при переезде с свободной земли в подневольную?

Еще он думал о том, как хорошо стало жить, как радостно ходить юношей вслед Чичероваккио и сливаться с транстеверинцами! Быть может, удастся навсегда ему вжиться в эту жизнь и страну и зачеркнуть

в себе того прежнего, бесплодного и тоскливого человека.

Пускай позади, в прошлом, было преступление, были долгие годы чайльдгарольдовщины и тоски — всему есть конец. Любовь обновила. Можно начать жизнь сначала. Больше того, любовь стала возможной только благодаря пережитому. Иначе разве отметил бы он Бенедетту?

Лишь пройдя через сложность и, быть может, через преступление, сознание научается ценить простоту и невинность. Он вспомнил гетевскую мудрость, для всех рассказанную в «Фаусте»: разве не после погубленной им Маргариты сумел Фауст постичь возрождение через «вечную» женственность? Так было для каждого из тех, кто познал тяжесть свободы и мысли. Так будет...

Багрецов думал обо всем, кроме той, которую сейчас он был должен увидать — сестру жены, несчастную Гуль.

На одном повороте они встретились. Гуль первая окликнула Багрецова и, подавая руку, сказала:

— Так вы пришли? Ну, хорошо...

Она была как после сильной болезни. Лицо истончилось, просветлело, отчего черные брови на нем стали еще тверже и, казалось, своей тяжестью клонили книзу всю голову. В синем дорожном костюме, подобранная, как англичанка, Гуль была сдержанна, незнакома. Но Багрецов, по трепету горячей маленькой ручки, которую дружески задержал обеими руками, почувствовал ее особую взволнованность и с лаской сказал:

— Я слыхал, вы в Риме надолго?

Они сели на отдаленную от гулянья скамью, где уже мимо никто не ходил, где свидетелями любовных

й прочих свиданий был только ряд ваз с большими агавами.

— Я не уеду отсюда совсем, потому что не хочу жить с мужем. Мы совсем с ним чужие. Брак наш был, как у всех, самый светский. Ведь и я, как сестра, хотела только семьи.

Гуль горько улыбнулась.

— И как у нее — не вышло. Впрочем, я вам благодарна, что вы мне на мужа раскрыли глаза, хотя бы мимоходом, по пути собственной жизни. Ведь Полина мне все рассказала...

Гуль жарко вспыхнула и глянула на Багрецова большими измученными глазами:

— Не бойтесь, никаких претензий я к вам не имею, кроме пожелания вам счастья. Простите тогдашнюю глупость, я столько перемучилась с того дня у вас, в саду... ведь я шла к вам сделать признанье, но от гнева, от ревности не смогла. Сейчас скажу до конца. Но сперва прочтите письмо доктора Радина... он писал вам пред смертью, передал мне...

— Но Радин умер пять лет назад? — удивился Багрецов.

Гуль, едва сдерживая рыдания, сказала:

— Вот пять лет я и утаивала. Письмо связано с тем, что я могу вам открыть только сейчас, — вот оно!

Багрецов распечатал плотный конверт, быстро пробежал глазами немногие строки, написанные слабой рукой.

— Вот чудак! — усмехнулся он. — Страдал редчайшею болезнью — честностью, ради нее готов наклепать на себя!

В письме стояло:

«Чувствуя близкий конец, спешу покаяться в том, чего не имел силы сделать много лет назад.

В смерти жены вашей Елены Юрьевны виню одну свою слабость характера, столь пагубную для врача. Уступая ее уговорам, от страданий бессонницы я ей выдал специальное для этого лекарство.

Больная в забывчивости приняла двойную дозу, что при слабости сердца оказалось для нее катастрофично...»

Дальше шли просьбы о прощении.

Гуль молчала, уставясь глазами в огромную, почти черную на огненном закате агаву.

Еще Багрецов сказал:

— Ну не добряк ли этот Радин? Не мудрено, что век ему был недолог, если так он себя грыз из-за каждого пациента.

— Доктор Радин написал правду, — беззвучно, с усилием перед каждым словом сказала Гуль, — только порошки в двойной дозе сестрой приняты были не добровольно...

Гуль помолчала. Потом, все так же не сводя глаз с агавы, словно держась за нее глазами, без всякого выражения сказала:

— Доктор Радин при мне убеждал сестру быть осторожней... Это не она сама... ей лишнее подсыпала я. А в вашем «флаконе Борджиа»...

— В «флаконе Борджиа»... — как эхо, повторил Багрецов, вдруг такой же бледный, как она. Оба смотрели друг другу в глаза, как смотреть могут только враги, встретясь на узкой тропе над смертельной бездной.

— Любя вас, я поняла, что вы хотите смерти моей сестры. — Гуль шевелила губами почти беззвучно, но

Багрецов ее понял. — Я это сделала, не отдавая себе отчета, смутно желая соединиться с вами хоть в преступлении. Ведь я была уверена, что только закончу дело, начатое вами. А раз вы так сделали — значит, так можно...

Через много лет я узнала, что и тут ошибалась. Ничего вы не сделали — убийца я одна. В вашем «флаконе Борджиа» был не яд.

Багрецов привстал. Опять сел. Взял Гуль за обе руки и выговорил тем легким, нежным, окончательным словом, каким говорит человек, обрекая на гибель другого или идя на нее сам:

— Вы мне можете доказать?

— Уже взрослая я была у врача, он и сейчас жив, в Москве, можете проверить, и флакон взят им в коллекцию, на память. Я ему все как на духу. Этот врач — Оттон Иванович Рузберг. Я у него упала в обморок, потом сильно плакала. Он старый и добрый. Я ему, как отцу, про любовь свою, про подозрение вас в убийстве... Флакон отдала на анализ...

Рузберг очень смеялся и, помню, сказал: «Хорошо, если бы все убийцы столь весело убивали. О, я фарс люблю больше трагедии, это, говорит, полезнее пищеварению...»

— Что дал анализ? — оборвал Багрецов.

— Анализ? Я хотела мстить вам, и я берегла это мое последнее оружие. Но больше я не могу... Вы невинны! В «флаконе Борджиа» был не яд, а сложное старинное слабительное...

Гуль осеклась и в испуге кинулась к Багрецову. Багрецов на короткий миг остолбенел, потом, откинув

голову, стал хохотать. Неслышно, как в припадке, трясся всем телом. Превозмог себя, выговорил:

— Так вместо яду нечто послабляющее, этакий старинный compositum, ха-ха-ха!

Проходившим мальчишкам понравился этот смех, и они тотчас в тон подхватили «ха-ха!» и, пока бежали вниз по дорожке, усилили звук до рева. Гуль стояла над Багрецовым, не смея коснуться его, чутьем любви ужасаясь, что случилось непоправимое и сказанное ею для Багрецова — смертельный удар.

Багрецов совладал с собой, перестал смеяться и, не глядя на Гуль, брезгливо сказал:

— Если вы знали, что преступника нет, то для какой цели затеян был ваш маскарад с «флаконом»?

— Были минуты, я верила: злой замысел у вас был... тайна флакона мне неизвестна... вы могли быть обмануты сами и, всыпая порошок, думать, что это яд, значит не убили только случайно. Как ни владеете вы собой, внезапное напоминание могло обличить. Я так хотела власти над вами. Простите, простите меня, я больше не хочу, не могу считать вас преступным, я одна... Не убийца вы!

— Па-корнейше благодарю!

Приподняв шляпу, Багрецов церемонно поклонился и, словно выжидая похоронную процессию, задержал над головой шляпу.

— Вы меня презираете? — с отчаянием прошептала Гуль.

Багрецов на нее и не глянул. Сидел на скамье, прямой, даже не перевел тяжелого взора с листьев все той же пышной агавы, куда случайно попали его глаза.

Гуль встала, задержалась на миг в какой-то надежде, потом медленно пошла вниз по желтой песочной дорожке.

Багрецов долго еще сидел на скамье, потом встал, пошел за город, по старой Аппиевой дороге.

Уже далеко за его спиной круглел мавзолей Цецилии Метеллы, и на золотистом трепетном небе, как парящие гигантские птицы, чернели зонтики пиний. Кругом безлюдье, изредка торопился запоздавший из окрестности римлянин с женой или погонщик с ослами.

Наконец Багрецов остановился. Обвел глазами без границ уходящую в небо Кампанью, глубоко вдохнул воздух ее, пьянящий и малярийный, и опять расхохотался, как давеча:

— Шут гороховый — отравитель!

Он был безумен от бешенства. Выходило, что жизнь его вся зачеркивалась. История с женой, преступление и следствие его, — не похожая на других «стальная жизнь», презиравшая жалкие будни, — все маскарад. А тот гранитный упор, который дал возможность выпрыгнуть из жизни каждого дня, пресловутый «флакон Борджиа», — не что иное, как старинный пюргатив.

Багрецов прислонился к большому кипарису, чтобы не упасть. Вдруг поздняя, острая ненависть к отцу налила его, как отрава. Да, конечно, чудовищный эгоизм старика сожрал его... Эти ночи с хождением до восхода по зеркальному паркету, эти призраки прошлого, бессонница, и вино, и чудовищная отрава безграничностью воображаемой жизни... Фантазия заслонила действительность до того, что в жизни он в ней оказался глупее всех глупых. Не убийца, а гороховый шут! Старинный compositum! Ха-ха!

— А у кого не так? — прервал сам себя Багрецов с яростью хищного зверя, затравленного сотнею мосек. — Моя биография смехотворна? А у кого доблестна? Что у важнейших? Что у отмеченных?

Гоголь обстоятельство личное, невозможность влюбиться в женщину, как это может всякий болван, облек в состояние сознания, подобное столпникам. Отсюда заключил о себе как о «сосуде избранном» и, чтобы не угодить в Содом, метит в святцы.

Умный Паскаль знал, что сказал: «Будь у египетской Клеопатры кончик носа чуть-чуть длинней — картина мировой истории была б вся иная».

Моя биография смехотворна? А синьор Алессандро хорош? Вместо «чуда» — чудовище-холст! Под славянофильской лампадой тихо сходит с ума, бормоча: «Самоотвержение вполне дано только русским». Да-с. Жизнь каждого дня от умников защищается. Изловчится камешком и отметит умника в дураки. Всем, всем «флакон Борджиа» — пюргатив.

От яркой злости боль отпустила, и холодно, как на счетах приходо-расход, Багрецов досмотрел свой бюджет.

Любовь к Бенедетте? Зависть была — не любовь. Зависть и алчность мертвого поглотить живое, чтобы жить. Никакой любви не было. До итальянских делишек — как до прошлогоднего снега. Почему не турецкие, где еще глупей жизнь, наконец не свои русские, уж чего, кажется, ближе?!

Я мало жил, и жил в плену...

Багрецов плюнул на изумрудную пробегавшую ящерицу и попал. Ящерица присела на миг всеми четырьмя

лапками к желтому песку и вдруг, как стрела, прозмеила под камень.

Придя домой, Багрецов позвал старика maestro di casa и спросил его, нет ли верной оказии в Неаполь.

— Если синьор желает передать синьоре Бенедетте что-либо, то есть как раз парень из ихних «Giovine Italia». Он едет в полдень.

— Вы угадали, maestro, придите через час за посылкой.

Багрецов написал Бенедетте, что она его может считать негодяем, но ее он никогда не любил, потому что, вообще говоря, любить не может. Гореть отраженным патриотизмом для него à la longue[1] слишком глупо, но на дело Италии он искренне посылает деньги и не менее искренне желает Бенедетте успеха и счастья, которых она несомненно достойна.

Когда письмо было запечатано, пред Багрецовым на миг ярко встало слепительное прекрасное лицо... лицо богини. И хотя, как в ту ночь, он знал и сейчас, после ядовитой проверки: нет, не подделка — глубина этого не заслуженного им чувства, вошедшему старику-итальянцу Багрецов все-таки дал свое письмо к Бенедетте.

— А вот и деньги: я уверен, что ваш выбор себя оправдает!

Maestro di casa поклонился:

— Еще бы, ведь это деньги на дело Италии!

Но дойдя до дверей, он по-старчески подозрительно глянул, насупя мохнатые брови, и сказал:

---

[1] Длительно *(франц.)*.

— А в письме вашем не будет ли синьоре Бенедетте огорчения? Синьор, быть может, не знает, как подобную девушку обидеть легко?

Багрецов упрямо молчал, пока старик не убрался. Была минута вернуть, взять письмо... и кто знает, не проворчи итальянец своего назидания, быть может он бы и вернул.

— Если все случай, то пусть же и тут, — злобно шептал Багрецов. — Но вдруг Бенедетта не вынесет? Пустое... Женщину, ушедшую в политику, стрелы Амура не ранят смертельно. А если иначе? Ну что же, с фортуны взят будет ловко реванш... за «флакон Борджиа» — пюргатив!

ГЛАВА XI

КРАТЕР СОЛЬФАТАРО

> Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?
>
> *Гоголь.*

После бессонной ночи Багрецов целый день прошатался по Риму без цели и впечатлений, как автомат, заведенный кем-то на бессмысленный бег. Добравшись в сумерки до терм Каракаллы, он свалился на камни и заснул как убитый. Когда он очнулся, была уже ночь. Древние своды казались еще громаднее. Где-то в глубине кричали совы. Старая, — верно, высланная на разведки, — деловито и тяжко пронеслась над его головой. Багрецов шевельнулся, чтобы встать, но, услышав в камнях разговор, притаился: голос ему был знаком. Багрецов плотнее закутался в плащ и стал ждать,

когда месяц выглянет из-за тучи и осветит говоривших. В ясной зеленой луне он узнал одного, только не смог припомнить, где видал это лицо молодого римлянина с твердым подбородком и орлиным носом. Быть может, просто на музейных бюстах, и доселе хранящих всё те же черты.

Другого разговаривавшего не было видно, но его манера говорить показалась так необычна Багрецову, что он тут же решил: это человек необыкновенный, притом русский и, наверно, приезжий. Все здешние русские давно примелькались.

— Признаюсь, не понимаю вашего восхищения перед «мощью» римлян, — с иронией подчеркнул итальянец, — уже одна мысль, что без рабов им бы ни за что не построить подобных дворцов...

Русский не дал окончить:

— Рабы были и не у одних только римлян. Как это ни кошмарно, рабы и сейчас есть у нас, в девятнадцатом столетии, но что-то о великолепии построек не слышно. Но здесь, в Риме, каждая арка, каждая колонна говорят о шири, о силе, о стремительном беге...

— Да что за польза во всей этой красоте? — вступил итальянец.

— Вам ли, итальянцу, такое говорить? — И, захлебываясь от обилия мыслей, русский забросал его жаркой речью: — Вся поэзия жизни состоит из ненужностей! Рафаэль рисовал ненужные картины, Микеланджело делал каменные куклы, Данте писал вирши вместо того, чтобы делать дело, однако выбросить их из истории человечества — это отнять у неба глубину, у цветов аромат, это выхолостить, оскопить жизнь, это...

Теперь прервал итальянец, и по горячему звуку его голоса было заметно, как он вспылил:

— Мы — неолибералы, как вам угодно было нас окрестить, жестокие утилитаристы, и если, как в сказке, мне бы одним росчерком пера предложено было снести все галереи и дворцы к черту, а взамен их дать Италии отличное войско, неужто, вы думаете, я бы дрогнул?

Багрецову понравился разговор, и он двинулся с камней, чтобы подсесть ближе.

— Кто там? — крикнул юноша.

— Извините, за темнотою не могу как следует отрекомендоваться, — сказал Багрецов, — но я человек мирный и преданный искусствам. Разрешите вставить слово в ваш разговор, меня заинтересовавший. Вы только что защищали право на существование искусства; не ответите ли мне на один вопрос? Предполагаю в вас русского, — сказал Багрецов, посылая слова вверх, под своды развалин.

— За границей русских угадывают главным образом по обжорству, — и слыхать было по голосу, что говоривший усмехнулся, — и мне лестно попасть в исключение; я вас слушаю.

— Я бы хотел знать ваше мнение о том, почему искусство не нуждалось в защите только во времена языческие? От христиан, равно как и от революционеров, его, сколь ни защищай, ничем не оправдаешь. И не только перед профанами, а перед своими ж художниками. Мне их здешний быт очень знаком. Вы не поверите, какой мартиролог жизнь тех, что предались искусству до самозабвения. Да вот недалеко ходить — Иванов...

— Иванов Александр Андреич? Как, вы его знаете? Сама судьба привела вас в ночное время сюда. Простите меня, на заданный вами вопрос об искусстве я готов отвечать курсом лекций, но сейчас мне важно другое. Я должен торопиться, меня давно дома ждут, — и незнакомец, под стремительным шагом обрушивая мелкие камни, стал спускаться к Багрецову, продолжая говорить на ходу: — Иванова я просто жажду увидеть, но, признаюсь, оттягиваю со дня на день, удрученный слухами о его ненормальности в связи с неудачей картины. Говорят — влияние худосочной школы назарейцев с Овербеком во главе да в придачу биготство Гоголя совсем его свели с ума.

— Слухи преувеличены, и сплетни злы, как все, что говорят про жизнь великого человека, — с раздражением ответил Багрецов. — Определение же картины неудачной раньше, чем она закончена и выставлена, — просто недопустимо...

Волнуясь, Багрецов встал и пытался разглядеть говорившего. Русский оказался невысокого роста, плотный. Походка была у него быстрая, как и речь, так что, когда все трое пошли по залитым луной узким улицам, спутники от него слегка отставали, и, говоря, ему приходилось поворачивать назад голову. Освещенная огнем папиросы, ярко выступала его крутая бровь и прекрасный, как у больших музыкантов, выпуклый вдохновенный лоб.

И Багрецову стало неприятно, когда этот пленительный незнакомец грубовато сказал:

— Согласитесь, это все же известная бедность и пассивность творчества — писать тридцать лет одно и то же. И где, где? Среди Рафаэлей, Тинторетто

и Тицианов, давших сотни вещей, из которых каждая — первоклассная...

— С картиной у Иванова связалось собственное душевное дело художника... Кроме того, нельзя судить его работу по одной вещи, надо видеть все, что вокруг нее наросло, — весь самобытный новый мир. Несчетные этюды и композиции. Все вместе — это явление, это будущность целой школы. Впрочем, защищать голословно считаю бессмысленным, а к себе в мастерскую Иванов сейчас никого не пускает; так что до поры вы должны остаться с непроверенным слухом.

— А самого его можно видеть?

— Да хоть завтра у Фальконе; я его к вам подведу, если сам вас узнаю. При сегодняшнем освещении ведь я видал вас лишь по частям, под огнем папиросы.

Засмеялись. Русский назвал себя: Герцен.

— Ну, конечно! — вскричал Багрецов. — И как мог я вас тотчас не признать!

О втором спутнике, молодом римлянине, Багрецов совершенно забыл, но когда назвал себя в ответ Герцену, римлянин дотронулся до него и странно дрогнувшим голосом спросил:

— Так вы тот русский... знакомый синьоры Бенедетты?

— Да, я ее знаю, — ответил холодно Багрецов и почему-то, лишь крепко пожимая руку одному Герцену, вымолвил: — Итак, до завтра у Фальконе.

Вопрос итальянца о Бенедетте неприятно взволновал Багрецова. Он вдруг вспомнил, что видел его не однажды в обществе Доменико, и всегда пристальный взгляд его испытующих глаз был ему необычайно тяжел.

«Он не верит вам, иностранцам, этот Беппо Марио, — объяснила как-то Бенедетта, — он говорит, что даже для Байрона было дорого не освобождение Греции, а лишь щекотание собственных нервов. И все же сердиться на него не следует! Беппо — узкий человек, но героизму его нет предела, он пойдет в огонь первым...»

Страшная тоска вдруг охватила Багрецова. Впервые он понял, что́ совершил, разорвав так жестоко свой союз с Бенедеттой. До сих пор у него было чувство, что он своим письмом убил только свою же мечту, обобрал только себя. Вдруг сейчас, едва этот итальянец помянул Бенедетту, Багрецов понял, что удар был нанесен и другому человеку, не выдуманному, такой живой и близкой, ей — Бенедетте.

Боясь своих терзаний, новой бессонной ночи, только на рассвете Багрецов подходил к своему дому. Maestro di casa стоял у ворот, как бы его поджидая. Он так осунулся, так взъерошены были его седые усы, что невольно Багрецов спросил:

— Что случилось?

— Синьора Бенедетта с корабля бросилась в море и утонула, — отрезал было маэстро жестоко, как заготовленный в гневе удар, но тут же все лицо его перекосилось, дрогнуло, слезы хлынули из глаз на страшные седые усы. Он махнул рукой и пошел к себе.

— Вы должны, я умоляю... скажите все, что вы знаете... — Помертвелый Багрецов кинулся ему вслед. Он дрожащими руками хватался за старика.

— Я знаю то, что синьор немедленно должен уехать из Рима, к себе на родину, — ответил тот. — Люди из «Giovine Italia» поклялись убить вас. Они будут тянуть жребий, кому...

— За что?

— Как за что? — повторил старик и вдруг побагровел, налился гневом и, сверкнув, как старый боец, своими недавно плакавшими глазами, вскричал: — Да за то же, за что я готов задушить, как собак, всех до последнего папских приспешников. За погубленную юную жизнь.

— Маэстро, вы говорите о том, что вы не знаете. Я Бенедетту ни в чем не обманывал. Я хотел ей только счастья, которого со мною, немолодым и больным, она получить не могла.

— А если все-таки она его хотела только с вами одним! Простите, синьор, я вас знаю давно за порядочного человека, — смягчился старик. — Но видите ли, письмо ваше, где вы пишете, что не любите Бенедетту (и как это можно было не любить такую красоту!), совпало с известием, что поймали в Калабрийских горах ее брата Доменико и губернатор Ланди его расстрелял...

И, конечно, приди ваше письмо в другое время, у такой твердой девушки, как Бенедетта, оно, самое большее, могло б вызвать две-три бессонные ночи и никем не подсмотренные слезы. Но ваше письмо — будь оно проклято! — совпало с известием о гибели ее брата. Когда судьба хочет, злые вести, как вороны, летят тучей; кроме всего, в эти зловещие дни бедняжку сразило нечто ужаснейшее, чем измена в любви, — измена товарищей! Предатель, раскрывший заговор против Ланди, был не один. Проклятие малодушию, которое бьет верность насмерть! Ваша жестокая рука нанесла лишь последний удар. Но это был, синьор, добивающий удар Брута.

Как истый римлянин, на всякий случай жизни вызывая в крови историю вечного города, maestro di casa, несмотря на свое несомненное глубокое горе, развел руки, как если бы на нем была древняя тога, и, страшно хмуря мохнатые брови, бросил Багрецову:

— Et tu Brute! Et tu Brute!

Но тут же, скользнув заметливым глазом по отчаянному лицу его, maestro смягчился и, уже дружески соболезнуя, сказал:

— Бедняжка была уже на пароходе «Il giglio delle onde», да, да, «Лилия волн», когда пришли все эти дурные вести. На воде борцы «Юной Италии» развязали свои языки... о том не подумали, что вода под самым бортом; одна проклятая минута — и человек в воде! Так наша бедняжка и сделала. Тело вытащили. Записка ваша была при ней. Эти молодые из «Юной Италии» все были страстно в нее влюблены, особенно Беппо Марио. Говорят, он еще не знает, что вы здесь замешаны, а когда узнает, то вас убьет безо всякого жребия сам.

— Беппо Марио — так вот кто он! — И пред Багрецовым встал римский профиль недавнего ночного знакомца. — Отчего же он не убил в ту ночь? Так было удобно. Или еще не знал? — И Багрецов едва слушал, что говорил ему в возбуждении старик.

— Хотя вы не итальянский дворянин, которых революционеры ненавидят, вы, синьор, все же богатый русский форестьере, подданный страны, которая поддерживает Австрию против Италии; значит, всячески вы попадаете под приговор «молодых». Синьор, я от вас зла не видел и охотно допускаю, что гибель бедной девушки просто несчастье, но и помимо этого за смерть

брата и сестры — красы тайного общества — нужна кровавая месть. Бегите, синьор, бегите.

Багрецов холодно поблагодарил maestro di casa, сказав, что смерти он не боится, и заперся на ключ в своей комнате. Однако Иордану он не забыл послать записку, прося его устроить на завтра свидание Герцена с Ивановым, чего он сам по болезни сделать не в состоянии.

Через несколько дней Багрецов все же поехал в Неаполь. Он бежал от самого себя, бежал от безумия.

Ведь Неаполь был последний город, где жила Бенедетта, а он в нее сейчас был влюблен, как никогда. Да, едва узнав о ее смерти, он стал испытывать, нежданно для себя, все муки смертельно раненного любовью. Больше того: он понял вдруг то, чего глупей для него до сих пор не было, — возможность самоубийства от любви. И в то же время он ярко знал, что эти чувства — мираж, что будь Бенедетта жива, и десятой доли их бы в нем не было.

В Неаполе он долго не мог ничего узнать. Корабль с раздражавшей его сентиментальной кличкой — «Лилия волн» — «Il giglio delle onde» снялся с якоря и ушел неизвестно куда. Багрецов спрашивал у матросов, у полиции и просто у встречных, что знают они о причинах самоубийства девушки с этого корабля. Все пожимали плечами, косились недоверчиво, отвечали вопросами:

— А кто же их знает, отчего девушки кидаются в воду?

Багрецов ходил по берегу залива и молил, сам не зная кого, чтобы известие о смерти Бенедетты оказа-

лось ложью. Он впал в отчаяние, он рыдал, как ребенок. О, если бы Бенедетта была жива, он не колеблясь уехал бы с ней на край света или отдал бы все состояние, всю жизнь за свободу Италии. Он бы даже стал жить на этом дурацком корабле «Лилия волн».

Багрецов ходил вдоль залива, вперял глаза то в неподвижный «Castelovo», то в раздраженный, дышащий огненной лавой и черным дымом Везувий. Он хотел чуда.

А вокруг жизнь шла день за днем, как и раньше. У зеленого моря стояли лари — вроде как на родине, на южных базарах, только вместо сала старый pescatore [1] отхватывал покупателю кусок розового, ноздреватого спрута или вертел перед носом огромной камбалой с прищуренными в улыбке глазами.

Торговки зеленью, цветами и кораллами стучали голосами, как вороны клювами. На балконах предместья сохли яркие тряпки. То тут, то там из-под древних арок сверкал мрамор площади, на белоснежных плитах, залитых солнцем, как красные угли, брызгали во все стороны помидоры из опрокинутых в драке корзин. Багрецов пошел дальше за город, за горбатый мост, где далеко, заступая дорогу, выползали древние дома. Окна, натыканные как попало в стенах, разноцветные, в узорах, в подтеках, — ни дать ни взять одеяла из кусочков, какие, бывало, мастерила старая няня.

За гротом, где так особенно звонки все звуки, мимо могилы Вергилия, Багрецов прошел по узкой дорожке в густую рощу каштанов и дикой орешины. В изумрудных

---

[1] Рыбак *(итал.)*.

травах торчмя стояли розоватые и мясистые колокольчики.

Багрецов сорвал один и, понюхав, бросил с отвращением. От цветка несло тяжким запахом тлена.

Долго шел Багрецов, оглянулся — кругом ни души. Тогда он лег на прогретую солнцем землю, раскинул руки и стал смотреть в синее без облачка небо, в дрожащую серебристую дымку, стоявшую над травой, стараясь всем своим телом чувствовать одну только землю. Без мысли, без воли...

В его мрачной юности это бывал его лучший отдых. Он сливался сознанием с жизнью земли, он знал, лежа так на траве, о том, как живет все кругом, с каким трудом пробиваются из земли разные злаки, как идет бархатный крот по своим коридорам, как тяжко держать тонкому стеблю свою грузную чашу большого цветка...

Солнце вдруг село, и сразу стало смеркаться. Багрецов встал и пошел по тропинке. Нежданно она оборвалась, и вместо сочной зелени засветил вдруг совсем лысый огромнейший круг желто-бурого цвета. Он изборожден был глубокими морщинами. Это был потухший кратер вулкана Сольфатаро.

Обнаженный кусок был живой. Под ним рокотало, вздувало то тут, то там почву. Земля трескалась, и из трещин кто-то тяжко и часто вздыхал серным дымом.

Forum romanum древних, вспомнил Багрецов, — ныне вульгарнейшее место добычи серы. Он остановился и стал смотреть, как дым, выталкиваемый из трещин, серо-желтыми клубами свивался в лиловатом воздухе, и над потухшим кратером стоял невыразимой нежности живой трепет.

На минуту Багрецов забылся. Ему показалось: он подсмотрел тайную жизнь земли до зарождения на ней формы и образа. Освещения не было никакого, границы терялись, и время выпало из сознания. Где он? Когда вышел и зачем? Он не ел с утра; от голода и слегка удушливых серных паров закружилась голова, назойливо встал тяжкий запах цветка орхидеи, и хотелось опять лечь на землю — не быть.

Вдруг на той же тропинке, которая привела к кратеру Багрецова, появился некто, сутулый, приземистый, руки в карманы. Камнем продвинулся он, будто проплыл, до половины одетый густыми парами, к тому краю, где был Багрецов. Человек поклонился, снял шляпу. Врезался в лиловый сумрак остро вытянутый профиль, стеной свисли ото лба к подбородку длинные волосы...

— Гоголь, — себе не веря, прошептал Багрецов. Но тотчас крепкая память ему вызвала желтую маску — лицо Пашки-химика там, в мастерской у Иванова, и скрипучий голос его:

«Дано разрешение чиновнику восьмого класса Н. Гоголю на путешествие к святым местам из Неаполя...»

Чуда не было никакого, все естественно до тошноты.

Подойдя, Гоголь сказал Багрецову:

— Я давненько выискиваю, как с вами бы мне побеседовать, едва мне донес Пашка-химик, что вы здесь, — он, как всегда, ведь все знает... И вот сегодня издали по спине вас узнал. Как ни торопился, никак не догнать, шибко бежали. Однако судьба все же свела. Вздумалось прокатиться в Сольфатаро, вот только что из веттурина вылез, прошелся сюда — гляжу, вы. Вдруг

и решил: хоть прогоните, а уж я попытаюсь... Должок у меня перед вами, с тех пор... *С тех именин самых на Девичьем поле...*

— Хотите покрыть, отправляясь в святые места, — усмехнулся Багрецов, — чтобы ангелы вам в приход записали? Что же до меня — то с вашей мне помощью вы опоздали. Тогда, *тогда* надо было.

— Поговорим, брат мой, как пред смертью, без малодушных упреков... — Гоголь вздохнул. — Разве знаем мы, где и что мы найдем?

— Коль хотите, можно и поговорить, — сказал Багрецов, — только выйдем из этого смрада на свежий воздух.

Молча оба прошли по тропинке. Гоголь — руки в карманы, сутулясь и тяжко напирая на шаг, Багрецов высокий, все еще не начавший полнеть, гибкий, как юноша. В каштановом лесе сдвинулись рядом.

— Раз вы меня вызвали на разговор, уж не пеняйте за грубость, правда всегда груба, — Багрецов пустыми, тяжелыми глазами обмерил Гоголя, — к тому же все сроки прошли, когда я *с трепетом хотел видеть вас.* Сейчас мне все равно — одно любопытство ума.

— Со смирением принимаю, — склонился Гоголь.

Багрецов прищурил глаз, как на мушку для выстрела.

— Сперва послушайте, может, и принять не под силу. Да поднимите глаза, — почти крикнул он, — с безглазым я и говорить не хочу!

И вдруг Гоголь устремил на Багрецова взор такой, какого тот никогда у него не видал. Не сверло прозорливца, не мощь гения — глаза женщины-матери, без конца доброй и бережной.

«Так, верно, смотрел он на Иосифа Вьельгорского, так смотрит на свою духовную дочь, молодую Балабину, — подумал Багрецов, — тоже практика...», — и грубее, чем желал, он промолвил:

— Не верю я в ваше смирение, ни в то, что вы верите в бога. И на кой черт и кому это надо? Смех Вольтера взорвал больше, нежели слезы Руссо, слышите? Что вы дадите лучшее, чем дали уже? И какая гордость и пошлость «пророка» заставила вас мудрить над своим гением? Почему не продолжаете вы, как начали? Мало вам оплеухи Белинского за «Переписку»? Мало вам глумления и гнева всех тех, кто вас так почитал?

Багрецов в ярости глянул на Гоголя и осекся. Облитый зеленоватым светом луны, как камень стоял он. Глаза были прикрыты веками, руки втиснуты крепко одна в другую и прижаты к сердцу.

Мука долгая, терпеливая мука, уже изъевшая всю душу, на миг не сдерживаемая упорной волей, проступила на его лице. Надбровные дуги дрогнули. Казалось, слезы хлынут из глаз.

Гоголь тихо сказал:

— Ну что вам толку, если б величайший в музыке Бетховен попытался бы вам объяснить постигшую его глухоту? Как расскажу, почему слово, недавно зацветавшее под пером, стало вдруг как... колода? А между тем чувство силы в себе необъятное! Но умер Пушкин, мой разрешитель, *один он* сумел бы разогнать их... несказанные муки мои...

Гоголь оборвал и умолк. Внезапно стряхнулся, пришел в себя — устремил на Багрецова опять те глаза, которых тот никогда у него не видал. Глаза без конца доброй и бережной матери.

— Поговоримте лучше о вас, поквитаемся. Ведь даже лошади, стоя рядом в деннике, сочувствуют друг дружке, трутся мордами. А если человек, как вы, да еще не верит ни во что, кто же поможет ему, как не любовное сердце другого? О, если б люди больше аукались душа с душою — безумий и самоубийств многих бы не случилось.

Багрецов молчал. Молча сел с Гоголем в экипаж. Доехали до предместья; здесь вышли. Тихо пошли по берегу близко к морю.

Гоголь заговорил первый:

— Вот я сказал вам про себя наитруднейшее. Выставил себя как бы осмеянным *самою судьбою*, грешно вам ответно гордиться. Ведь, кроме звезд этих, побольше величиною, чем у нас, могучих и близких, никто не разделит со мною святую тайну слов ваших. Ну что же, мой ближайший, что постигло вас?

Была уже синяя, благоуханная южная ночь. Они вышли из грота и медленно огибали заигравшийся рябью залив. Нежными очертаниями, как в старинной гравюре, вознесся над городом сонный, утихший Везувий.

— Без утайки, как на духу, брат мой, переложите на меня вашу тяжесть... — сказал Гоголь. — Ах, испробуйте! Кроме звезд, никого, а я уж не в счет...

И просто рассказал все Багрецов:

— Тогда, в Николин день, на Девичьем поле, я хотел уцепиться за вас, чтобы не убить. Я думал — вы всё чудом узнаете и как-то мне поможете. Впрочем, не так это, в сущности, было просто... Думал, поможете, чтобы силы, меня разрывавшие, не пошли к черту так, зря. Ну, все равно... Одни факты. Потому — «...душу

можно ль рассказать?» Это он, тот чародей, толкнул меня. Сам с демоном спознался, а уж других просто к мелким чертям вверх тормашками... Запретить бы стихи! Впрочем, опять-таки все равно, я так устал от себя самого. Ну вот — чуда с вами не было. Жену я отравил, всыпал ей яду, сам стал богат. Что, небось покаяния ждете? — огрызнулся он вдруг на Гоголя.

Тот молчал, руки крепко одна в другую, шагал спокойно, тяжело наступая на землю.

Багрецов помолчал, потом продолжал, как рассказ не про себя, а про другого:

— Ни угрызений, ни мук, отличное пищеварение и сон. Собака зарыта совсем не в этом обычном всем месте.

Вот где собака... впрочем, оскорбление игрока за битую большую игру в христианский ваш диапазон, пожалуй, никак не включить? — Он пробовал засмеяться, вышло нехорошо.

Гоголь все молчал.

— Николай Васильич, — сказал очень серьезно Багрецов, сам недоумевая на вылетавшую из уст его ровную речь, — я одурачен жестоко! Пятнадцать лет жизни своей я построил на ерунде, на том, что дал яд, а он оказался... не ядом. И я — не убийцей, а дурацким колпаком.

Поймите, вникните: во всех случаях своей жизни я отталкивался от своего якобы преступления, я отныне хотел только того, что отбирал себе сам. Со мной ничего не «случалось». Я убил в себе несправедливость, убив свою жену. Однако у меня хватило сил и на выбранной мною линии разрушителя создать себе свой особенный мир.

И вдруг по анализу специалиста, — не стану рассказывать обстоятельств, но мне пришлось узнать это только на днях, — по анализу этот яд — старинный пюргатив, а прожитая мною жизнь — мыльный пузырь...

— Я слушаю вас, — сказал взволнованно Гоголь, — уж доскажите все, если начали. Но как бы тяжко вам ни было, ведь тягчайшее, самое главное с вас уже снято: вами не убит человек!

— Это-то меня и прихлопнуло, — ядовито сказал Багрецов, — *если убить я хотел.* Впрочем, и здесь вы ошиблись: человек мною убит.

От бешенства за свое осмеянное положение и боясь от судьбы новой ловушки, я написал ей, Бенедетте, девушке, которую люблю сейчас, как и не знал, что умею любить... я написал ей такое письмо, что она бросилась в воду.

О, если б она была жива! Впрочем, — прибавил он мрачно, — если б она была вправду жива, я не поручусь, что любил бы ее как сейчас... Как видите, Николай Васильич, случай мой безнадежен, — уже обычным, равнодушным тоном кончил Багрецов. — Говорю вам о нем единственно потому, что не отмахиваюсь ни от каких встреч, поставленных мне судьбой, и люблю все досмотреть до конца. И еще говорю вам от злости, чтобы для святых мест положить вам булыжник за пазуху... Ведь если б тогда, в Николин день, на Девичьем поле, вы бы обо мне забеспокоились так, как сейчас, — кто ж его знает, что было бы и чего не было?

Гоголь взял Багрецова под руку, но долго слов не говорил. Наконец, почти шепотом, как бы себе одному:

— Знаю, знаю, тягчайший из всех крестов — это подвиг воли человека, который остается жить на земле,

выnося собственный холод души и черствость, никаким светом уже не согретые. Этой муки имени нет...

И все-таки и такому человеку есть путь. Полюбить *дело свое,* все равно какое, но с доведением этого дела *до мастерства, до пределов*. Тем свалит с себя он ответ. Дело рук его поведет его. Все равно на каком поприще: управитель, ученый, художник. Всю жизнь сам ищу... и знаю уже твердо: нет ненужного звена в мире. Да неужто у вас даже к этому нету веры? Ну если не дожить, — *досмотреть надо жизнь свою,* досмотреть...

— Даже в случае: не погребен, но уж мертв и смердит? — пропищал гнусоватый знакомый фальцет.

Багрецов и Гоголь невольно шарахнулись к морю. Из-за больших камней, лежащих на берегу, где они проходили, выскочил Пашка-химик и закричал:

— Это только я-с, не какой злой дух, наше вам с кисточкой! После жары — изумительная ночка-с. И я тут в своей засаде перенаблюдал все виды людских комбинаций: куплю-продажу, амурное, политику и как у вас — нечто философическое. А из лодок от рыбарей, вообразите, все та же самая песня.

И Пашка запел:

O dolce Napoli, o sol beato... [1]

— Уши дерешь, замолчи! — прикрикнул Гоголь.

Пашка скорчился, завизжал:

— Ай, ай, со всеми благ, со мной наг! А я ведь, именитейший, рядом с вами стою, за Киайей, в отельчике крайнем.

---

[1] О, милый Неаполь, о, благословенное солнце *(итал.)*.

— Обрадовал... — процедил сквозь зубы Гоголь.

— Глеб Иваныч, дражайший, — заегозил Пашка, перебежав к Багрецову, — поучитесь у важнейшего писателя русского, ибо рапорт за номером таким-то готов. А в рапорте значится: «Чиновник восьмого класса Н. В. Гоголь отправляется ко святейшим местам». Сам вернется святейшим! Да воскреснет бог и расточатся врази его... Мы тогда с вами как бес от него, шариком, шариком...

Пашка прыснул и стрельнул куда-то в сторону, к проходящим рыбакам.

— Видать, пьян, — сказал Гоголь, — препустейший субъект!

ГЛАВА XII

КОЛИЗЕЙ

> На груди моей возле распятия трехцветная кокарда свободы.
>
> *Pater Gavazzi.*

Братья Ивановы поселились в комнатах рядом, но виделись только вечером, когда вошло у них в обыкновение гулять далеко за чертой города по древней Аппиевой дороге. Распорядок дня был у них разный. Старший в пять часов, когда младший еще спал, стоял уже за мольбертом и с небольшим перерывом, чаще всего выходя из мастерской лишь для того, чтобы пообедать в ресторане, работал то карандашом, то кистью до сумерек.

После крушения последней надежды на личное счастье Александр Иванов стал окончательно необщите-

лен; никого, кроме брата Сергея, видеть не хотел. Мастерскую закрыл не только для любопытных, но и для близких делу художников, которые жадно следили за его работой.

Вот эти долгие годы отъединенности от людей, замкнутости в своем замысле и наложили на Иванова ту особую печать, которая так поражала современников. Уже с первого взгляда казался он страдающим ярко выраженной манией преследования. В манерах была то подозрительность, то испуганная, заискивающая робость; при появлении нового лица он вздрагивал. Рассеянный, сжигаемый своей внутренней работой, на смех болтунам, он в ресторанах усердно раскланивался с лакеями, принимая их за всем известных знаменитых людей.

Но писатель, которому повезло встретиться с Ивановым в одну из его счастливых минут и съездить с ним в чудесный осенний день в окрестности Рима, досмотрел в нем иное: «Едва Иванов привыкал к человеку и начинал ему доверять, как его детская, сохранившая свою гениальную свежесть душа так и раскрывалась. Пропадал подозревающий взор, он чудесно хохотал от самой пустой остроты, удивлялся до смущения самым общепринятым положениям, пугался каждого немного резкого слова. Как-то даже подпрыгнул в воздух, услыхав, что такая-то известная русская писательница просто глупа, — и вдруг произносил слова, исполненные правды и зрелости, свидетельствовавшие об упорной работе ума замечательного».

Иванов переживал глубочайшее раздвоение. Его душе, любвеобильной, необычайно мягкой, сраств-

шейся кровно, каждым нервом, с своими привязанностями, с традицией, с авторитетами, в которых вырос, воспитался и созрел, которые долго по-своему вдохновляли и давали цельность всему внутреннему строю его, — надлежало все кровное вырвать с болью из сердца. Больше того, стать лютым врагом всему кровному.

Революция в Италии, которой он являлся свидетелем, потрясла его. События шли в лихорадочной смене, каждое без отдыха наводило на пересмотр не только личного своего уклада и религиозности, но и основных задач человечества. В этих вопросах единственный, с кем «душа не уставала», «ближайший» Гоголь отодвигался все дальше, все враждебнее. Багрецов в свое время науськивал без просчета. В ответ на измышленный Ивановым пренаивный «проект» с предложением Гоголю «гениальным пером» обслуживать нужды русских художников, Гоголь, как безошибочно рассчитал Багрецов, прислал такую грубейшую отповедь, что Иванов долгое время был нервно разбит.

Однако размолвка по внешности кончилась миром. После нашумевшей статьи Гоголя «Исторический живописец Иванов» Александр Андреевич написал ему: «Как ни закаивался я не писать писем, но ваша статья обо мне насильно водит перо и руку. Целую и обнимаю вас в знак совершенного с вами примирения и возвращаюсь опять в то положение, когда, смотря на вас с глубочайшим уважением, верил и покорствовал вам во всем».

Но, в сущности, уже прежней любви между ними быть не могло.

Гоголь чем дальше, тем менее мог не только ценить, но и понимать муки, разрывавшие сознание и чувство Иванова. Сам же он от поставленных жизнью, съедавших Иванова вопросов поспешно уехал прочь, молиться ко гробу господню.

Александр Иванов читал жадно все, что печаталось в Риме и во французских газетах тех дней.

Да, здесь, в этой католической Папской области, где жестокая реакция проводилась соединенными руками Австрии и Григория XVI, подточились былые устои веры Иванова. Он был свидетелем чудовищных по внутреннему кощунству и внешнему великолепию церемоний в Нерви, народного невежества и ханжества духовенства, когда для предотвращения холеры запрещено было принимать какие-либо меры, кроме служения молебнов. Он возмущался чудом «разжижения крови» св. Дженнаро, которое ежегодно с большой себе прибылью проделывали монахи; он видел в Терни такие процессии в страстную пятницу, где чувственная театральность, казалось, высмеивала чистоту и веру. Его благообразное византийское чувство оскорбил блеск папской службы, когда папу носили по церкви на драгоценном троне под опахалами и перьями, словно идола, а шеренги солдат лязгали под команду ружьями и под команду же падали на колени.

Последнее время приехавший из Парижа Герцен, которого свел с Ивановым по записке Багрецова Иордан, доканчивал это разрушение всего былого уклада. Иванов глубоко принимал каждую мысль Герцена, хотя не показывал тому вида, и даже, оскорбленный напо-

ром чуждого ему ума, только жаловался на расстройство всех своих чувств и заверял Гоголя: «Я к Герцену не иду!» Но он к Герцену все-таки шел и мучительно слушал, как тот, сверкающий и неотразимый, ставил последние точки и неумолимо гнал к выводам.

— Если вам в здешних церквах оскорбительны ружья, штыки и толпы откормленных тунеядцев-монахов, — то во имя истины вы обязаны сделать полный пересмотр. А сделав, поймете, что у нас хоть и благолепней, но такое же язычество. Политика и язычество давно заслонили учение Христа. Неужто вам не ясно, что время всех ритуалов прошло, или, лучше сказать, переходя на привычные вам образы: настало время «поклоняться не в храме и не на горе Гаризим, а в духе и истине». Дух же веет, где хочет.

— Дух веет, где хочет... — шептал полный волнения Иванов, — так вы уверены, что время всех ритуалов прошло?

— К счастью, это не только моя личная уверенность — это истина. Взгляните: на наших глазах перерождается Пьемонт. Лицо городов меняется, не узнать их, не те люди... всюду новая, удвоенная жизнь, открытый вид, деятельность, и все только оттого, что свергнуто недавнее иезуитское и инквизиторское управление, без всякой гласности, с тайной полицией, с духовной цензурой, убивающей всякую умственную деятельность...

— Но все же православие — не католицизм, — пытался защищаться Иванов, но Герцен не сдавал.

— О, я знаю ваши славянофильские чаяния. Но задумайтесь над византизмом хотя на минуту как ху-

дожник. Не замечательно ли вам, что византийская архитектура, иконопись, церковная музыка и ваяние не имеют в смысле художественном высшего развития?

С одной стороны, это, конечно, подтверждает мысль славянофилов, что восточная церковь чище и вернее христианству, но, с другой, о чем же свидетельствует? Да вот о чем — о несовместимости христианского культа со всякой живой, изменяющейся жизнью. И в известном смысле прав ваш Гоголь, что доходит до конца, считая свободу своего художественного дара греховной и стремясь подчинить дар этот религии.

До глубины потрясенный, Иванов убегал от Герцена, запирался в своей мастерской. Часы ходил взад и вперед дробными шажками и, уже не защищаясь, не боясь страдания, додумывал до конца все те мысли, одно зарождение которых так когда-то гневило Гоголя.

«Да, конечно: церковь и искусство должна считать себе чуждым и наукой пренебрегать. Гоголь прав: незатемняемая религия отрицает мир, она ждет лишь конца его, ждет новой земли и нового неба. Незатемняемой религии — искусства не надо...»

А Герцен, словно угадывая тайные мысли Иванова, с каждой встречей давал ответы, неотразимый в логике, заставляя его самому себе ставить все новые и новые вопросы.

— Задумайтесь, почему социальная сторона жизни, практическое разрешение человеческой тяготы так мало занимает церковь? А между тем евангелие должно войти в жизнь, в быт, оно там может помочь создать личность, готовую к братству. Да неужто Христос хотел этих церквей с окаменелыми институтами, целиком

взятыми у левитов? Вдумайтесь и решите для своего искусства так же окончательно, как решил Гоголь. Незатемняемая религия отрицает мир, она ждет лишь конца его, ждет новой земли и нового неба, а мы и вы с нами, мой друг, мы хотим устроить и украсить лишь нашу старую, милую землю, потому что высшее благо — само существование, какая бы внешняя обстановка ни была. И что же может быть глупей — пренебрегать настоящей, живой жизнью в пользу призрачной? Нет, нам должно ловить каждую минуту, душа беспрерывно должна быть раскрыта навстречу Великой Природе, великому всему. Она должна наполняться миром и развивать в мир себя — вот жизнь!

Дух, выработавшийся до человечности, звучит так, как цветок благоухает. Делить же людей на агнцев и козлов — дело не хитрое и не новое. Ставить в одну категорию всех людей религиозных и преимущественно православных, как это делаете вы...

— Не делаю, а делал... — поправил Иванов.

— Душевно рад, значит влиянию Гоголя и Овербека вечная память. Весь мир теперь ваш.

Велики были муки художника, который истины всеобщие, азбуку истории мог и умел понимать только, когда их увидел своими глазами. Когда подсмотрел по выражению лиц, по походке, по звуку речи и одежде и другим мелочам, что свободное устранение народов не только лучше, но и религиозней, чем та, свыше освященная схема, которой полвека он поклонялся и которой был вдохновлен.

Сейчас вся Италия подымалась на его глазах, и не мог он не видеть, что совсем не клерикалы жертвовали собой для свободы забитого бесправием народа.

Иванов туго сдавал, он защищался, пока мог. Однако наступил его час, и тот мост, та перемычка его с действительной жизнью, через которую лилось его вдохновение в продолжение тридцати лет, выразившись гигантской композицией, была до основания разрушена. Он отвернул чудовище-холст к стене. Он надел синие очки, хотя глаза его не болели. Но чиновникам, но Петербургу нужно было дать какое-нибудь объяснение в медлительности, в поглощенной годами пенсии. Он махнул на все рукой. Смерть отца дала ему неожиданно несколько тысяч. Он бросил навеки неоконченную картину и устремил все силы к своему новому «Храму».

Да, перед ним возник грандиозный храм всего человечества. Его расписанные стены и своды должны были вещать миру, внятно для каждого, как внятен вечный язык любви, согласованные между собою символы, общие всем расам и культурам, символы, которыми бессознательно выпаян, вылеплен человек наших дней.

Храм Всечеловечества.

Человек, погруженный в темное лоно страстей, еще не имеющий своего лица, и человек, вырастающий в свободе познания над своей низшей природой, — Гермес, удушающий змия, Венера, рожденная пеной волны, — все, все вокруг Вифлеемской пещеры...

Сверхчеловек Дионис-Аполлон, полнота и завершение земной красоты, и рядом — разрешенный и разрешающий от всех вожделений — силой собственной полноты — Иисус. Сотни композиций рождал гений Иванова для строго расчерченных, глубоко продуманных стен заветного храма. Тут были сверкающие и крыла-

тые ассирийские ангелы, охваченные вихрем гнева и скорби пророки, и Зевес-Иегова, великолепно и необъяснимо живописный и волнующий, как ни одно из лиц той огромной картины, горько задернутой слепой драпировкой. В этой буре веющих крыл, неуклонных левитов, народа, первосвященников, храмов и простого восточного быта Александр Иванов наконец нашел сам себя.

Уж он не спрашивал: смеет ли? И кого спрашивать? Отец умер, Овербек стал чужд, Гоголь враждебен, все прочие далеки. Лучшие из художников ушли в сейчас модный жанр, в повесть о быте каждой отдельной минуты, и кому же было дело до воскрешения в реальнейших формах тысячелетней древности?

Но он воскрешал. Он хотел закрепить не минуту, а *вечность — для вечности.* И все больше путаясь в хитрых и мелких людских отношениях, отучась как люди говорить, одеваться и лгать, здесь, пред лицом всемирной истории всего человечества, он — знал, смел, мог.

Сейчас, когда все правительства Италии волей-неволей принуждены были приступить к реформам, для жаждущих «il risorgimento» уже этого было мало.

— Одними чивиками да железной дорогой теперь не отделаться!

— Это только клешни, которыми омар хватает добычу. А сама-то добыча? Где свобода? Где независимость национальная?

— Но это незаконно пред лицом трактатов, — кричали законники, — несвоевременно по политическим обстоятельствам, наконец безрассудно по недостатку сил...

Но пред каждой истинной страстью смолкает рассудок. И горел клич от Ломбардии до Неаполя: «Долой варваров! Долой угнетателей!» Меттерних верил только в штык и полицию, а Италии было давно этих блюд по горло. Занятие австрийцами Феррары оживило все былые обиды. Для народов есть возраст, когда они легко сливаются друг с другом, но тут этого уже быть не могло. За Италией стояли *века* огромной *своей* культуры, и она могла только извергнуть вон из себя Австрию, как инородное тело.

Русским художникам в Риме, полюбившим Италию как вторую родину, было мучительно знать, что Россия поддерживала Австрию в осуществлении Венского конгресса. Стыдно было быть заодно с Англией, коварно дурачить Италию двойною игрой.

— Viva la independenza italiana! [1] — отвечал лорд Минто приветствию толпы, а лорд Пальмерстон в то же время посылал Австрии ноту сочувствия, и торийские журналы трунили взапуски над скороспелым реформатором Пием IX.

Но если дело свободы Италии встретило мало поддержки за границею, тем единодушней росло и крепло внутри единство самих итальянцев. Уже не было речи о дроблении: Рим, Тоскана, Неаполь... Уже дышала жизнью одна *нераздельная Италия*. Партии, сословия забыли свои интересы, все воли слились в одну, забились вместе все сердца. И, как всплеск океанской волны, как голос этого моря, в самом центре Италии, в вечном городе, вознесен был все тот же народный герой —

---

[1] Да здравствует независимость Италии! *(итал.)*

извозчик из Трастевере Анджело Брунетти. Восторг пред Чичероваккио был единственным, что Багрецова могло сблизить с Герценом.

Багрецовым все еще владело холодное отвращение к себе самому и разъедало сознание бездарности и ненужности своего существования, но о самоубийстве он больше не думал. Встреча с Гоголем тогда, на Сольфатаро, переломила волю его, удержала от смерти, и теперь уж он знал, — как бы там ни было, он «досмотрит» свою жизнь.

Мысль о Гоголе раздражала больше обычного: то, что он вошел пустым эпизодом в жизнь великого человека, а сам из-за него дважды перевернул свою судьбу, лежало в его памяти странной обидой и злобно вызывало желание поквитаться.

Может быть, этот внутренний опыт был отчасти причиной особенно настороженного отношения к Герцену. Багрецов воздавал должное его уму, талантам, видел огромную роль его в общественной жизни России, но к Герцену-человеку оставался холоден.

Как у всякого, кто только что был близок к смерти, глаз Багрецова стал до жестокости обострен. Дар слова Герцена, столь поражавший сразу, в обыкновенном, вседневном общении, становился утомителен, немузыкален и как-то, в сущности, несерьезен. Вдруг делалось тяжело слышать по поводу каждого пустяка — сверкающие сопоставления, афоризмы, едкую сатиру. Все, что Герцен ни говорил, было из ряду вон, и поэтому именно все теряло какую-то тончайшую подлинность, обращалось в цветок без запаха.

Багрецову казалось: этот блистательный человек выговорен весь, и за ним уж не слышно той глубины,

тех корней, укрытых от взоров, где у каждого, обыкновеннейшего, бьется источник жизни, не исчерпываемый сознанием до дна.

В злые минуты Багрецову рядом с Герценом вызывался образ тех культурных деревьев, которые опытный садовод распластывает вдоль стенки, заставляя каждую веточку нести образцовый, совершеннейший плод. Постоишь в изумлении, но вдруг скучно станет и захочется неудачи, корявости, ерунды...

Раз как-то Багрецов сказал Герцену:

— Мне думается, общественный деятель не может не чувствовать зависти к Чичероваккио.

— Почему зависти? И к чему именно? — спросил Герцен, внезапно и особенно оживляясь.

— Да хотя бы вот к чему: каждый, по своей воле избравший поприще общественного деятеля-руководителя, тем самым возносит себя как некий произвольный маяк среди моря; хорошо, кому случится он по пути, а ведь весьма многим и нет. И тогда сей произвольный маяк уподобиться может по роскошной расцветке всего-навсего мыльному пузырю. Как выдули его, так и лопнул. Произвольный маяк как бы не остался один среди волн, а корабли, гляди, по своим путям побегут, огибая его. Но общественный деятель, как Чичероваккио, это — гребень волны, взметаемый в бурю самим морем. С морем вздымается, с морем падает. Он пульс народа. Его дыхание — тысяча воль, его вдохновение — жаркое биение миллионов сердец...

— Вы правы, — сказал, потускнев, Герцен, — доля Анджело Брунетти — завидная доля! Все, что вы сказали, я прочувствовал сам под Новый год на ули-

цах Рима, когда был свидетелем, как народ ходил на помощь святому отцу заявить, что ожидает исполнения его обещаний, все еще не удовлетворенных консультой.

Народ звал папу на балкон, он не вышел. Хуже того, была угроза разогнать всех солдатами. За минуту восторженный, народ пришел в ярость. Вот тут во всем блеске я увидал власть Чичероваккио. Он отвел самыми простыми словами гнев народа, обещая, что завтра недоразумение разъяснится и святой отец, обманутый министрами, сам придет к римлянам.

И народный мудрец был прав. Наутро папа каялся и плакал, что злые советники оклеветали пред ним римский народ, и поехал по улицам с повинной. Я видел, как Чичероваккио влез на карету, которая следовала за папской, и сел на ее крышу с своим знаменем, нимало не смущаясь тем, что из-под его грязных сапог брезгливо выглядывал его эминенция кардинал!

— А в результате что? — прервал с гневом Багрецов. — Даже губернатор Савелли не уволен! Чичероваккио истощил все возможности этого, очевидно, невозможного союза с трусливым папой. Недовольство им растет с каждым днем. Что-то будет?

Устрашенный народным настроением, Пий IX решился наконец издать худосочную конституцию, где неприкосновенной оставалась инквизиция и доминикальные суды.

Герцен острил, что единственно хорошим в этой конституции было то, что она доказала возможность существования *конституционного папы,* причем прибавлял:

— И тут опоздали. Мир уже догадался, что *никакого* папы не надо вовсе!

Новости из Ломбардии стали грозными. Австрия, видя, что восстание Милана неминуемо, — душила его. Вся Италия напряженно хотела идти на помощь Милану. Когда на римских торжествах являлось знамя Ломбардии, покрытое черным крепом, ему выпадали безумные овации. Все требовали защиты Ломбардии. Папа молчал.

Багрецов, сначала чтобы заглушить внутреннюю пустоту, но скоро искренне захваченный, опять вовлекся в итальянские дела. Все чаще были минуты, когда ему удавалось снова забыть себя, раствориться с толпой и сбросить всю свою биографию, как прочитанную и ненужную книгу.

Даже образ Бенедетты, все еще его заполнявший, не причинял страдания, рождая одну могучую жажду действия, слитую с волей народа. Он был римлянин, его сознание было подчинено воле il popolano Чичероваккио. На площади, рядом с сапожниками из Трастевере, с которыми теперь вместе пил и играл в «минто», он сегодня напился пьян от восторга, когда пришла весть о восстании в Милане и о венской революции. Было ли это чувством самосохранения, бегством от внутренней пустоты или иным чем, но, вовлекшись в экстаз римских патриотов, Багрецов уже не хотел опомниться. Ему радостно было требовать вместе с толпой, чтобы крепость святого Ангела палила из пушек, чтобы ударяли в колокол по случаю падения правительства в Австрии и волнений в Ломбардии. Он был пред палаццо «Venezia», когда с него снимали австрийский герб

и возносили ломбардское знамя. Двуглавого, ненавистного орла привязали к хвосту осла, закидали грязью, сожгли на костре на piazza del Popolo. На все это папа затаился, будто его и не было. Народ требовал выдачи оружия из арсенала, папа медлил, за что был наконец обвинен в соучастии с Австрией.

Возле обелиска у фонтана министр Галетти и здоровенный красивый патер Гавацци, ненавидимый кардиналами, но любимый народом революционер, стали призывать всех в Колизей. Гавацци произнес потрясающую речь: «Римляне! Вас ждут ломбардцы! Уже раскрыта книга, куда может вписаться всякий желающий идти на войну. Времени терять нечего. — В Колизей!»

Народ кинулся за Гавацци. Багрецову мелькнуло в толпе красивое взволнованное лицо Герцена, но едва хотел он пробраться к нему, как старик, maestro di casa, одернул его за плащ и сказал шепотом:

— Синьору надо спасаться! Убийца его высмотрел и только ищет случая... синьору готова лошадь, идемте со мной, ехать из Рима надо ночью.

— Ни за что не уеду, ни за что, — сказал Багрецов, в ужасе от возвращения своей прежней постылой судьбы, — я римлянин, я в память Бенедетты иду волонтером в Ломбардию!

— Безумие, синьор, никто вашей искренности не поверит, бежать много вернее!

Старик понял гражданские чувства Багрецова лишь как хитрую уловку и, щуря глаз, прошептал:

— Это вам не поможет...

Багрецов рассмеялся, дал старику на память часы и сказал:

— Верьте не верьте, но сегодня последний раз, что я ночую в Риме. Я завтра с отрядом иду в Ломбардию.

Едва Багрецов решил идти в поход, как почувствовал за собою никогда у него не бывшую крылатую молодость. Бегом догнал он тех, что ушли вслед за Гавацци — неутомимым миссионером итальянской свободы, отлученным папой от церкви, ненавидимым иезуитами и, наравне с Чичероваккио, обожаемым народом. Речи Гавацци были пламенны, всегда внезапны, всегда только о том, что всех кровно касалось.

Большой плотный человек, в полумонашеском, полувоенном одеянии, он говорил во всяком месте, во всякое время о том, что надо свергнуть Бурбонов, а папу лишить светской власти, о единении всех, о реформах.

Его клич был: «Дело народа и есть дело божие!»

Подбирая рясу, он взбирался на крышу, на обломок колонны, на дерево. Он отовсюду кричал богатырским своим голосом:

— Друзья мои! Только революция может создать Италию! Пусть какой угодно шпион доносит мои слова его эминенции кардиналу — народ хочет свободы и религии без поповских обманов...

— Безбожник, женатый монах! — кричали ханжи из толпы.

Гавацци весело отругивался:

— В счастливом браке нет никакого греха — одна сладость. И, конечно, я был бы женат, не посмотрел бы на запрет, если б того захотел... но вся моя любовь у ног одной прекрасной дамы — Италии!

В Колизее Багрецов опьянел от восторга. Был закат, небо пурпуром врывалось во все арки, делая людей черными силуэтами. Как в древности, когда праздник сулил Риму неслыханно острое наслаждение — борьбой, ловкостью, кровью, — все выступы, арки, все стены были унизаны римлянами сверху донизу. Из одной выдававшейся ложи патер Гавацци гремел:

— Юноши Рима! Первые идите в ряды! Я вместе с вами. Кто идет?

Колизей заревел: «Все идем!»

Кровь бросилась в голову Багрецову. Он кинулся вслед за первыми туда, к столу, под древнюю арку, где под вспыхнувшими факелами велась за столом запись добровольцев на защиту Ломбардии.

Опять на мгновение встало пред ним лицо Герцена, у него в глазах были слезы. Но лишь только Багрецов к нему кинулся, как снова потерял его в толпе. Багрецов стал в очередь для записи. Он чувствовал, будто Бенедетта с ним рядом, прощает его и, как и он, знает, что теперешнее их соединение во имя Италии прекрасней бывшей, едва ли долговечной любви.

— За свободу Ломбардии! — произнес высокий прекрасный юноша, первый подписавший свое имя в книге волонтеров, подняв высоко руку с трехцветным значком, им только что полученным.

Багрецов узнал юношу. Это был тот, кто ходил с Бенедеттой, кого он встретил в термах Каракаллы, тот, который любил ее и за нее клялся отомстить, — это был Беппо Марио.

Внезапно Колизей загудел от рукоплесканий. Посреди, на арене, стоял Чичероваккио с своим подрост-

ком-сыном. Сняв шляпу, он низко кланялся на все стороны и говорил:

— Римляне, если я точно нужнее вам здесь, чем в Ломбардии, то взамен себя отдаю вам кровь мою — сына моего, в ряды первых бойцов!

— Evviva Чичероваккио! — ревел Колизей.

Багрецов подписал свою фамилию, выложил все деньги, какие были, на стол пожертвований на поход и приколол себе трехцветную кокарду.

С зажженными факелами пошли ополченцы за отцом Гавацци. Наутро им надо было выступать в поход. Багрецов, все в том же окрыляющем восторге легчайшей юности, подходил к своему дому. Вдруг кто-то, пробежав было мимо, внезапно обернулся, занес руку с сверкнувшим тускло кинжалом и с возгласом: «За Бенедетту!» — ударил его в грудь.

Несмотря на слабый свет от проносимых мимо факелов, Багрецов, падая, успел узнать своего врага — это был он, высокий, с вдохновенным лицом Антиноя, записавшийся первым в ломбардский поход, — Беппо Марио.

Уже на другой день после несчастья с Багрецовым у постели его неотлучно сидела Гуль. Полина Карагина узнала обо всем от maestro di casa, нередко приносившего ей записки от Багрецова; она привела врачей. Положение было признано тяжелым, но не без надежды. А едва Багрецов встал на ноги благодаря неусыпному уходу Гуль, врачи настояли, чтобы он уехал из Рима.

Воля Багрецова сломалась. Итальянские дела его уж не занимали. Юношеский восторг и недавний подъем

не возвращались. Больше того, они сейчас казались ему, при воскресшем во всю силу привычном скепсисе, — добровольно на себя принятой и по прихоти разыгранной ролью.

Багрецов принимал как привычные и уже необходимые для каждого дня — любовь и заботы Гуль. Объяснений не было, но они уже знали, что больше не расстанутся. Только однажды Багрецов с слабой улыбкой ей сказал:

— Помните — вы всегда и совершенно свободны уйти, если встретите что-либо лучшее.

Новое и особенно тяжкое для Гуль было то, что Багрецов выпивал. Никогда не пил допьяна, но всегда был нетрезв и угрюм. Одна надежда была, что возврат в Россию его изменит. Охватят на родине интересы, жажда дела...

Молчали оба много. Об итальянских делах Багрецов не спрашивал. Перечтя старые газеты и расспросив, что произошло за время его болезни, он понял, что освобождение Италии надолго потеряно.

Наконец он решил ехать в Россию вместе с знакомыми художниками, которые выезжали по требованию правительства или вследствие прекращения им казенной пенсии. Только Александр Иванов с братом оставались в Риме. Недавно умер их отец и оставил обоим небольшое состояние. Хотя Александр Андреевич свою большую картину навсегда бросил неоконченной, уединенная жизнь в любимом Риме была необходима ему для новой заветной работы, для *«Храма человечества»*. С Багрецовым он простился душевно, до новой встречи в Петербурге, куда, в конце концов, должен был привезти свое «Явление Мессии».

ГЛАВА XIII

УБИЙСТВО «МЕРТВЫХ ДУШ»

> Дня за два, за три до сожжения рукописи Гоголь поехал на извозчике в Преображенскую больницу к одному юродивому, подъехал к воротам, подошел к ним, воротился, долго ходил взад и вперед, долго оставался в поле на ветру, в снегу...
>
> *Записки д-ра Тарасникова.*

Багрецов два года прожил в деревне, в Хотынове, у той сестры Анны, дьяконицы, вступаясь за мужа которой, он когда-то кинулся с ножом на отца. Анна была уже во втором браке и многодетна. Глеб Иванович выкупил у нее хотыновских мужиков, помог им наладить хозяйство и, разругавшись с сестрой за вновь накупленных ею людей, уехал с Гуль навсегда в Москву.

Стоял 1852 год, когда Глеб Иванович вселился в свой особняк на окраине города против больницы умалишенных.

Та жизнь вдвоем с Багрецовым, о которой Гуль когда-то мечтала, была ужасна. Она с каждым днем понимала все больше, что есть такая степень омертвелости, которую уже никакая любовь растопить не в силах.

И странно: не испытывая угрызений за свершенное преступление, Гуль свое страданье приняла безропотно, как справедливую кару за гибель сестры.

Что же до Багрецова, то его еще могла бы пробудить к жизни какая-нибудь крупная деятельность государственная, с сознанием большой власти и ответствен-

ности, но он все поприща прогулял за границей и сейчас был разбит, без желанья борьбы.

Ему предстояло то же, что отцу его: коротать жизнь среди обширной библиотеки, имея себя одного собеседником, да вот ее, Гуль, не подругу жизни — няньку. Как быть тут без коньяка?

Винить Багрецова Гуль ни в чем не могла. Сам он не раз говорил ей об ужасе, который ждет ее, но она не поверила.

Гуль чисто по-женски надломленность Багрецова всецело объясняла трагедией с Бенедеттой. Правда, роились смутные подозрения, что как-то ранила и глупая та история с «флаконом Борджиа» — тем именно, что в нем яду не оказалось. Но об этом Багрецов замолчал навсегда, а ей самой было не под силу разобраться. Она сделала одну попытку понять, но запуталась еще хуже. Не переставая считать оскорбительным свое былое подозрение Багрецова в убийстве, Гуль разыскала в Москве того доктора, который определил ей содержимое флакона. Да, доктор, ныне старик, был еще жив. Как же, он ее очень запомнил. Ведь она после его анализа, что яд — только слабительное, упала в обморок. Тогда же, не называя имени, она рассказала ему всю историю. Сейчас она была женой этого псевдоубийцы. Доктор опять так хорошо засмеялся, так рад был, что трагедия окончилась свадьбой, что просил непременно к нему приехать вдвоем.

Когда Гуль это предложение передала Багрецову, он непонятно оживился и, такой нелюдимый, сам стал настаивать на скорейшем визите.

При встрече сентиментальный доктор от чувств прослезился.

— По воле фортуны я был ваш первый сват! — сказал он Багрецову и налил всем в зеленые рюмки дорогого немецкого мозельвейна. Вдруг, приложив палец ко лбу, доктор слегка подпрыгнул: — О, в центре события должен стоять сам виновник.

Подойдя к стеклянному шкафу, осторожно открыл его ключиком, вытащил из гущи пузырьков странный, пузатый флакончик с надписью: «Флакон Борджиа» и поставил его с торжеством среди рюмок.

— Вы тогда у меня его бросили, — сказал он Гуль, — а я включил его в число моих реликвий, иначе говоря — «вещественных доказательств», спасенных моею рукой, — самоотравившихся. Ведь я, старый холостой врач, могу иметь свои сувениры.

Багрецов взял пузырек, пристально вперился в него.

— Да, тот самый, — сказал он. — И в нем, вы утверждаете, точно не было яду?

— О, только послабляющее, правда старинное, но легчайшее, безобиднейшее, — хохотал доктор.

Гуль помнила, как мрачен вдруг стал Багрецов, как, выйдя от доктора, не проронив ни слова, заперся у себя.

Вечером вышел. С непонятной ей грустью поглядев на нее, вымолвил:

— Есть еще время — уйди от меня! Тебя ждет жестокая жизнь.

И, заметив испуг в глазах Гуль, криво дернул ртом, улыбнулся.

— Не бойся, истязать и бить не буду. И сцен никаких. Но я погибший, я конченый человек, и вся любовь твоя как в пропасть. Пока ты сама не начнешь

мерзнуть, я знаю, ты меня не поймешь. Но верь мне на слово: есть нечто неизмеримо худшее сцен, измен, побоев, ревности и всех атрибутов обыкновенного несчастного брака. Там все-таки жизнь — здесь безнадежное окоченение... Уйди от меня, Гуль!

Но она не ушла.

С Гоголем Багрецова все хотел опять свести Пашка-химик, но Багрецову охоты видеть Гоголя сейчас не было. Доходили вести, что воспрянул Гоголь духом, что вторая часть «Мертвых душ» наконец приводится им к концу, остается переписать ее набело и сделать последние исправления, что одновременно работал он и над подготовкой к печати нового издания своих сочинений.

Багрецов холодно решил, что Гоголь укрепился от своей поездки к святым местам. Ну и на здоровье! Теперь речи его должны быть окончательно учительские. Багрецов где-то в глубине бережно хранил последнюю встречу на потухшем кратере Сольфатаро. Гоголь разбитый, и глаза его, бережные как у матери, и горькое признание его в том, что недавно зацветавшее слово сейчас ему «как колода», и вызванный образ глухого Бетховена — все это странно дало Багрецову силу пережить, не убить себя. Так ставит на ноги изнемогшего от горя благородный вид горя чужого, безмернейшего...

Но к Гоголю, благополучному, снова нашедшему «драгоценное слово» и вкус к работе, Багрецов был холодно доброжелателен, но чужд и для себя лично ничем не заинтересован.

Но все же, когда он увидал его на Никитском бульваре, узнал издали на скамье, то так сильно взволновался, что хотел было повернуться и убежать. Однако остался стоять, долго с биением сердца смотрел на него, им не замечаемый.

Был вечерний, тот ненарядный час, когда фонари еще не зажгли и на бульваре гуляющих мало. Шел до того обильный мелкий снег, так кружился он в легком ветре, что Багрецову показался снег оперным, вроде как тот, что в «Жизни за царя», пущенный с потолка, покрывает вмиг и Сусанина и поляков.

Темным монументом сидел на скамье Гоголь. Складки длинной шинели лубом спадали на землю, скрывая ноги. Из поднятого воротника далеко вперед выклюнуло носатое лицо. Глаза как уперлись, не двигались. И будто он весь не дышал.

Ударили ко всенощной. Гоголь не сразу услышал, а услыхав, без раскачки встал вдруг, как поднятый пружиной, и тяжко пошел. Смотрел прямо вперед. Поравнявшись с Багрецовым, его б не заметил, если б тот не ступил поперек:

— Николай Васильич... Я — Багрецов, видались последний раз в Сольфатаро...

— Как же, помню, — сказал Гоголь и, поеживаясь и знобясь, высунул правую руку из широкого рукава. — Помню. Пройдемте, мне нельзя опоздать...

— Как съездили? — спросил Багрецов, он не назвал — куда. Но хотя после Ерусалима Гоголь был и в Одессе, и в Калуге у Смирновой, и недавно в Оптиной пустыни, но ответил сразу на то именно, о чем спрашивал, даже не называя словами, Багрецов.

Есть отношения каждого дня и есть отношения внезапные, без наличности пресловутого «пуда соли» и долгого времени познать друг друга, но глубочайшие. Бывает: на полустанке войдет человек в вагон, где другой уже обселся, и обывательским враждебным оком встретит соседа. Но проговорят ночь, а примут друг друга уже навсегда, через годы, службу, семью. И даже в тот смертный час, когда производит каждый в своей жизни отбор, гляди, полновесным зерном лежит в сердце та встреча. В таких встречах люди не прячутся и не лгут.

Гоголь сказал:

— Я удостоился провесть у гроба господня целую ночь, но познал лишь одно — как окончательно велика черствость моего сердца. Удостоился приобщиться святых тайн, стоявших на гробе вместо алтаря, — но земное во мне не сгорело, а небесное в меня не вступило. Сонно и смутно было в душе. Где-то в Самарии сорвал цветок, в Галилее — другой, в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции... Так-то. Да и блохи покусывали, прегустая там, знаете, кавалерия...

— А Оптина пустынь? — И опять Багрецов не объяснил, что это через него, через Гоголя самая последняя и ему надежда — Оптина.

Гоголь остановился, подозрительно впервые во все глаза глянул на Багрецова, и тот увидел, что не те у него глаза. Не как в погодинском саду, острые, вбиравшие подноготную, чтобы тут же сплюнуть, как шелуху; не играющие хмелем и жизнью, как тогда в Риме, когда подбивал нагрянуть на виллу Волконской

«гуртом без никакого зова»... не те, незабвенные, в Сольфатаро, — глаза матери, нежной и бережной. Сейчас глаза смотрели и, конечно, всё видели, но сами для зрителя были так: зрачок черный, больше обычного в сумерках, голубоватая радужная оболочка и белок. Глаз из любой анатомической книжки, не глаз Гоголя, просто «глаз человека».

И слова были раздельно, наизусть:

— А в Оптиной пустыни я вот что узнал: «Демоны не суть видимые тела. Мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них помышления темные. Ибо, приняв сии помышления, мы принимаем самих демонов и явными их делаем в теле».

Но, сказав это и, как посторонний, выслушав собственный голос и лишь в следующее мгновение поняв сказанное, вдруг, весь дрогнув, Гоголь взял под руку Багрецова, пригнулся к уху его, зашептал:

— За монастырской оградой, там, где бегут уж поля, шел по канавке монах. Слепец с посохом, изможденный бдением... поравнявшись со мною и не зная, кто я, прозорливец сказал свои потрясающие, знаменательные слова. И пока я, сраженный, молчал, присовокупил и последнее: «О взыщи, сын мой, *огненного* духа! Будь в этом теле как те, кои уже без тела... взыщи!»

И, еще надвинувшись, почти коля Багрецова своим острым носом, чуть слышно Гоголь прошептал:

— Взыскал и сам взыскан, сам! *По молитве моей* вчера болеющей Екатерине Михайловне Хомяковой наступило чудесное улучшение. Да, по молитве моей. Я взыскал и сам взыскан!

Багрецов не помнил, как они простились и что еще было Гоголем сказано. В памяти осталось одно: рас-

крытая дверь храма, охваченная пламенем несметных свечей, кровавыми пятнами лампад, и — Гоголь, в темной шинели, отлитый из чугуна, с головой непокрытой, далеко выклюнув из воротника длинным носом.

Прошел месяц после этой встречи. Багрецов из дому никуда не ходил. Нравилось ему здесь за городом: безлюдье, безумие, в поле волчий вой.

В окна приземистого многоглазого дома неслись снеговые поля. За окнами крутила метель.

Багрецов давно молчал. Сидя в глубоком кресле, сперва курил длинную трубку, потом пил коньяк. Пред ним Пашка-химик — по римской кличке Шехеразада — докладывал.

Кроме них обоих, в доме не было никого. Жена уехала в Москву на блины, прислуга была отпущена на балаганы. Стоял последний день масленой недели.

— Говоришь, оживился, узнав, что живу против лечебницы? И сказал, что зайдет, — Гоголь, Николай Васильич? Да не врешь ли?..

— Помилуйте-с, Глеб Иваныч, да какой еще разговор допустил. Плохо вы окружены, Николай Васильич, говорю, Аксаковы вас обнимают, Погодины обсчитывают, прочие сахарят да вареники ваши любимые лепят. Съездили б в зеркальце глянуть, к Глеб Иванычу, тряхнули бы римской стариной. Бывало, мы с вами на Via Felice часами-с... А живем мы в чистом поле, глаз стал острей да зорчей, обдуло, обветрило, просторы кругом да дом людей, сшедших с ума. И фрака, говорю, к нам не требуется. Засмеялся, представьте, сказал: «Доложи ему, я приду; когда дома?» Натурально, го-

ворю, дома-то всегда-с. Ведь умный человек, говорю, превращает себя к концу дней в собственного собеседника, и тогда ему некуда уходить. Цель достигнута-с. Finis. А Гоголь, Глеб Иваныч, столь гневно: «Ты, несчастный, уверен, что иного финиса на земном поприще нет, как от себя и к себе же?»

Глеб Иванович, руки в карманах, грузно ходил от стены к стене. Остановился, налил коньяку себе, Шехеразаде. Пожевал тонкими, как у Вольтера, губами, сказал:

— Ну, а ты что? Да не слишком-то ври...

— Ничего я не вру, Глеб Иваныч, а извините, ответил Гоголю пренебрежливо. Но посудите сами, после римской свободы это житье монастырем, в руках четки, запостившийся вид... да мне как ладан на беса... а ему вынь да положь: от себя и к себе, так иного финиса умному нет. Есть и иной, говорю, есть, — к чертовой матери под соусом пикан-с.

— А он?

— А он, Глеб Иваныч, ка-ак качнется, словно проклюнуть безмерным своим клювом и этаким шипом: «Не свои, не свои слова говоришь. У беса моего с-схимистил соус пикан. Что под сим мнишь?» А я, Глеб Иваныч, для легкости, с этакой хлестаковщинкой: мню под соус пикан, говорю, протчее тому подобное, никому не ведомое до конца-с: науку, добродетель, религию-с.

— Не тяни, — оборвал Багрецов.

— Вот тут, Глеб Иваныч, и случилось. Гоголь прикрыл глаза веками, побелел-с и этак ровно стрелой в меня: «Сгинь!» И поверите ли, пока не придвинулся я к дверям, все крестил: себя большим крестом, а меня

как блошку, чрезвычайно мелко-с. Я полагаю, Глеб Иваныч, дабы выразить этим относительным масштабом свое презрение к бесам низшего калибра. Подумать только, Глеб Иваныч, и здесь табель о рангах. А в Риме-то и после виллы Волконской разговором со мною не брезговал... Еще в спину заклял-с: «Не смей приходить».

— Сам он сюда придет, не вытерпит, — сказал Багрецов.

— Едва ли, Глеб Иваныч, уж очень запуган-с. Когда отца Матфея нет, он за юбку старушки Шереметьевой держится. От Симеона столпника бежит к Савве освященному, всю обедню, пав ниц, горько плачет. Едва ли, Глеб Иваныч, он к вам, к этакому римскому другу... Однако в случае прибытия уж разрешите и мне присутствовать, почитатель ведь я.

— Что слыхал о нем в городе? От Семена? — прервал, не слушая, Багрецов.

— Чрезвычайно-с друзья озабочены. Представьте, и сейчас уж, на масленой, говеть вздумал. Как строжайший монах встречает преддверие поста. При всей известной его склонности к чревоугодию стал в пище урезан: сухую просфору вменил себе в объедение. А припомнить: остерию Лепре и Фальконе.

— Да, — усмехнулся Багрецов, — бывало, загоняет сервиторов капризами.

— А Семен, Глеб Иваныч, как верный раб тоскует: «Еще, говорит, недельки две тому назад, если утренний кофий недостаточной крепости — беда: этакого выдаст словесного векселя. Ныне же за обедом едва примет несколько ложек овса на воде. Отговаривается, что от обильной пищи в нем кишки перекрутятся».

Глеб Иваныч ходил, не останавливался. Из двух зеркал на поворотах на один миг бросался на него высокий человек в сюртуке, но без галстука. Над сюртуком было бритое, одутлое, бледное лицо. Глеб Иваныч любил тщательно бриться.

Под Глебом Ивановичем поскрипывали половицы. Стены длинной комнаты, многоглазой от окон, всё светлели. Громадные хлопья взмывались вьюгой с сугробов снега, поднявшихся выше рам.

— Смерть Хомяковой, говорят, расстроила его больше, чем мужа и братьев. Читал по ней псалтырь в своей комнате. Не знаешь: был на выносе?

— Не был, Глеб Иваныч, у Аксаковых я узнал. Старик-то как есть пустынник и медведь, все с ним не в точку. При мне полез с расспросами: почему да отчего? А Гоголь с строгостью: «Екатерину Михайловну я и один так сумел помянуть, что такова ее благодарность... она всех близких привела пред меня». И вдруг сник, зашептал: «О, сколь страшна минута смерти». Семен поведал: с похорон Хомяковой решил Гоголь помереть-с. Одно твердит: когда-нибудь надо же. Так лучше сам приготовлюсь и помру. Еще Семен полагает, главное все расстройство от отца Матфея, что не так давно был из Ржева. Пугал Гоголя страшным судом, что-то требовал... Семену в щелку не слыхать было, что именно, только крик этот «страшно мне, страшно!»

— Больше нет ничего? — спросил Багрецов.

— Еще последнее, Глеб Иваныч, вчера утром. Сам я ведь крепко больной, сунулся было лекарства просить. У них там наши хохлацкие травы да мази. Семен вышел, не до меня ему. На самом лица нет. «Ночью

барину голоса были: уверился он вконец в свой близкий час. Разбудил, погнал за священником — пособоровать. Однако, когда я привез, поспокойнее вышел, прощения просил. Отложили».

— А ведь ты, братец, и сам вправду болен, — рассмотрел вдруг Глеб Иванович гостя. — Никак, твоя желчь разлилась? Лицо будто желтая репа. Доктора надо бы... Ну, выпьем.

Бах... бахнуло в стены.

Хлопьями мокрого снега лепить стало окна. Будто великаны, промахнувшись в снежки, хватили с силою в стекло.

— Ишь вьюга-то, Глеб Иваныч, смерчем по полю... А вот, бывало, Гоголь вьюгу умел заклинать-с... Наберется нас, украинцев, к нему в петербургской квартирке. Дрянь, мзга сыплется с неба, а он, чародей... ведь глаза отведет: «У нас-то на родине, скажет, скоро тополи ушпигуют весь Киев, на базарах вывалят бабы рядна абрикосов да вишенья. Ученый дрязг — и тот заснует по улицам. И всем в очи Днепр... Днепр — темный, синий...»

В дверь на парадном постучали, сначала робко, потом погромче.

— Что за черт стучит, — проворчал Багрецов, — звонок есть. Когда болен, ложись в диванную, Пашка, — крикнул он и, чего-то волнуясь, пошел к дверям.

Тотчас из зеркала метнулся навстречу ему высокий в сюртуке, но без галстука и проблеснул нетрезвыми глазами на бледном, иссиня-бритом лице.

В большой многоглазой комнате стояла голубоватая мгла, и нельзя было понять, откуда подобное, ни дневное, ни лунное освещение.

В холодную дверь по медной пластинке дробно и сухо лязгали, будто по одному ударяли связкой железных ключей.

Шехеразада, как неживой, замер на белом окне. Лысый череп на тонкой жилистой шее. Желтое, слоновой кости лицо. На нем высоко вздернутые навеки всосались две черные пиявки бровей.

Стук за дверью вдруг рраз... всеми ключами.

— Кто там? — громче, чем хотел, спросил Багрецов. Слабый голос сказал:

— Впустите... Я, Гоголь.

Багрецов поспешил открыть. Ветер хлынул из двери и ледяным поземком понесся по комнатам.

— Где ваша лошадь, Николай Васильич?

Багрецов протянул руки, чтобы снять с гостя шинель.

— Я так посижу, — сказал Гоголь, — я недолго.

— Да что вы? В карете? На вас снегу нет. А кучер?

— Там... — махнул Гоголь рукой. — Согревается...

— Пройдемте ж отсюда в диванную.

Гоголь снял только теплую шапку с наушниками и перчатки. Густые русые волосы, давно не стриженные, упали до плеч. Пробелел пробор. От пробора, как обычно, шел гладкий зачес на правое ухо. Шерстяной шарф, скрывая шею, охватил и подбородок. Нос, иссохший, еще подлинневший, будто из прозрачного алебастра, свисал над чуть видными усами.

Несмотря на мороз и вьюгу, одни скулы едва розовели, отчего казались накрашенными на неестественной для живого белизне лба и лица. Руки, тесно вдвину-

тые одна в другую в широких рукавах шинели, делали фигуру узкоплечей и необычной. И так же необычно, как изваяние слоновой кости, смотрелась в гостя желтая маска — лицо Шехеразады.

Встретясь с ним глазами, Гоголь дрогнул и надменно сказал Багрецову:

— Ну, зачем *это* здесь? Ну, зачем?

— Это — Пашка, Николай Васильич, вам знакомый Шехеразада из Рима. У него желчь проступила. Не беспокойтесь. Иди, ляг!

— Нет, уж по уговору, Глеб Иваныч, давеча вы разрешили присутствовать.

— Как? — вскрикнул Гоголь. — У вас с этаким был обо мне у-го-вор?

Он выпростал из рукава правую руку и крепким, как у скелета, пальцем перевел с Багрецова на Шехеразаду.

У Багрецова мелькнуло, что вот этими костяшками желтой руки он и стучал так снаружи в медную ручку дверей.

— Сядьте, Николай Васильич, вы чуть держитесь, да вот коньячку бы — согреться.

Багрецов подкатил Гоголю просторное кресло. Гоголь сел и слабо отмахнул рукой поднесенную рюмку, забиваясь в глубь кресла:

— С этаким уговор... обо мне!

Багрецов опрокидывал рюмку за рюмкой, стоя так, чтобы не видеть зеркала. Язык его чуть заплетался:

— Все окончательно просто, Николай Васильич, просто и понятно. Оный Шехеразада сказывал, что вы собираетесь в наши места, и, почитая вас безмерно, просил в этом случае быть. Вот и весь уговор.

— А что я желтолик, — вскричал Пашка, — так это от вашей обиды... Как же-с, Николай Васильич. Я заболел разлитием желчи, едва вы меня закрестили, как блошку-с, излишне мелким крестом-с.

Гоголь тесней жался к креслу, защищаясь как бы от нападения исхудалыми кистями рук.

— Издеваются. Над кем? Над писателем русским. — И, воззрившись испытующе в Багрецова, с трудом, но внятно сказал: — В «Брани невидимой» повествуется, что к неким, пронзенным гордыней, во услужение идут бесы, приняв образ раба эфиопа или иной необычайный для страны лик.

— Полноте, Николай Васильич, если я чем пронзаюсь, так одним коньячком, а Пашка тем менее бес... он просто некий... Пашка, ты некий, не оправдавший своих и общих надежд!

— Как многие, как оч-чень многие... — подскочил к Гоголю Пашка.

Словно тополь, прохваченный ветром, весь дрогнул Гоголь. На миг выбрался из шерстяных складок шарфа, обнаруживая обтянутую одной кожей предсмертную худобу лица. И вдруг... ударила тяжесть, сник вглубь до самого носа.

Багрецов еще выпил. Глянул в окно. Сейчас вьюга мелко кружила снежинки. Они в глазах прыгали искрами.

Багрецов перестал чувствовать стены. Но от коньяку ему было не холодно, и он не мог понять, наружи ли он или в доме.

— Как это вы выбрались в вьюгу? — сказал он Гоголю.

— Это они к Корейше юродивому ездили, — хихикнул Пашка.

— Иван Яковлевич меня принять не изволил, — сказал с грустью Гоголь.

— Да не у Корейши ответ вам искать! — закричал Багрецов. — Он зря пряник даст, зря к черту пошлет, не он вам ответит...

— Тогда вы? — медленно, внятно, как часовой бой, сказал Гоголь. — Ах, ответьте! Ведь больше в поле нет никого. А голос был мне: в поле ответ. Отец Матвей приказал мне совсем не писать. Я противился. И вот... Дальше противиться нет сил: перо как колода. Мысли все вихрем. О, как же мне быть?

Багрецов покачался на ногах. Сказал:

— Если напишете вторую часть лучше первой... — я про «Мертвые души», — плюйте всем в бороду и печатайте. Но хуже, Николай Васильич, хуже — вам писать уж нельзя. Про второй том друзья растрезвонили. Второй том Россия вся ждет...

И как эхо — желтая маска:

— Ждет-подождет, ждет-подождет.

— Пошел под стол! — заревел Багрецов.

Шехеразада стал на четвереньки и, метя шелковым персидским халатом ковер, пополз в дальний угол. Гоголь сжался в комок.

Багрецову на миг показалось, что Гоголя будто в креслах уже нет, а сгустилась в кучу одна лишь пустая шинель. Но, пригнувшись, он рассмотрел безмерный алебастровый нос и с удовольствием, что ясная, твердая мысль не уходит от него, продолжал:

— Хуже писать вам нельзя, чем писали, сами знаете... За обновлением сил не зря в Ерусалим съездили.

Однако весьма могло выйти, что зря... Никак сами заверили, что желудок ваш встал кверх ногами, перо колодой, мысли вихрем. Ведь заверили?

Гоголь приподнялся. То возникая, то опадая в шинели, он безмолвно стискивал руки.

— Мне жаль вас, — сказал Багрецов, — и вот слушайте: я предлагаю...

— Гау-гау...

Это в углу Шехеразада собачкой, халатом укутав голову.

Багрецов опять:

— Николай Васильич, я вам предлагаю все ваши писания сжечь.

— Мне, сжечь? — Гоголь вцепился в шинель, где под ней билось сердце.

— Все сжечь, — пролаяло из угла.

— Натурально, — качнулся Багрецов, — жечь, так уж все. Да ведь лучшее вами читано: Шевыреву, Смирновой. И одобрено. И известно... хе-хе.

— Кхе, — чихнули в углу.

— Это прямой вам расчет, Николай Васильич, чисто все сжечь. Задним числом, что не читано, пуще расхвалят. А учителей-то словесности, пачкунов, изыскателей — вот обложете! Века спорить будут. Века... ах-ха...

— ...ха...

В углу трепыхался персидский халат без конца и начала.

— Ах-ха-ха...

Забился в хохоте Гоголь, клюя носом над чуть видными в шарфе усами.

Метель рвала, ухала. Метель хотела скрутить в смерч этот дом.

Хлопал слетевший ставень, и по крыше топали то босые, то медные ноги. Завыл пес.

Гоголь вырос и, пятясь к дверям, как посыпают из щепотки табак, закрестил вокруг мелким крестом:

— Сгиньте...

У входа он высунул из шинели сухую, голую до локтя руку.

— Открой! — приказал Багрецову так властно, что тот, хотя пьяный, не посмел ослушаться, снял крюк, щелкнул ключ.

Гоголь исчез.

— Да как же я выпустил? Да он без лошади...

Багрецов схватился за голову и осел прямо на пол рядом с персидским халатом.

— Вставай, беги за ним. Пашка, беги, — теребил он химика, уснувшего камнем, — беги, вороти!

— Да кого, Глеб Иваныч? Никого тут и не было. Вы да я. Выпивали да спали.

— Гоголь был, — прошептал Багрецов, — Гоголь... — И, падая навзничь, Багрецов стукнул затылком об пол.

В тот же миг внизу стенного зеркала нацелились в комнату две огромных, новой кожей подбитых подошвы.

Приехавшую из города в сумерках Гуль с испугом встретили в передней Дуняша, кухарка и Петр, старый лакей Багрецова. Они, вернувшись с балаганов, вошли через черный ход, от которого был у них ключ. Шехеразаду, Пашку-химика, нашли в диванной в жесточай-

шем бреду, а Глеба Ивановича на полу распростертым во всю длину. В правой руке его был крепко зажат ключ от парадного.

— Похоже, что Глеб Иваныч только что заперли двери, выпуская кого-то, — пояснил Петр, — в случае, если б вздумали прогуляться, — были б одевши. Мы их перенесли в спальню, раздели.

Гуль прошла к Багрецову. Он был очень бледен и спал тяжким сном нетрезвого человека. Она прошла по комнатам, на окне увидала бутылку коньяку. Гуль села в то самое глубокое кресло, которое Багрецов подвигал своему недавнему гостю, и заплакала.

Пашку-химика пришлось отправить в больницу, где, не приходя в себя, он вскоре умер. А в тот же самый день, когда вышел номер «Сына отечества» с объявлением о смерти Гоголя, у Багрецова оказался легкий удар. Ему строго запретили пить.

Была ранняя весна. Пасха только что отошла. Багрецов, досиня выбритый, но не в сюртуке, а в халате, ходил туда и назад по анфиладе комнат. Зеркала почему-то стали ему неприятны; но так как были слишком велики, чтобы их спрятать в сарай, он приказал их закрыть простынями. Стало похоже, что в большой глазастой зале — покойник.

Без Шехеразады Глеб Иваныч заметно скучал; раз даже ошибся, приказав Петру его вызвать из города.

Наконец с заметным трудом он спросил о Гоголе. Гуль подала ему молча отложенные в порядке февральские газеты.

Глеб Иванович заперся у себя. Выйдя вечером, долго безмолвно сидел у окна. Подозвал Гуль. Взял «Сына отечества» и, водя пальцем по строкам, прочел вслух:

«С понедельника на вторник ночью он велел своему мальчику раскрыть печную трубу, вынул большую кипу писаных тетрадок, положил в печь и сжег все».

— Он сжег все. — И Глеб Иванович так усмехнулся, что Гуль заплакала и сказала вне себя:

— Глеб Иваныч, да вернись ты из могилы, стань человеком... сил нету!

Глеб Иванович глянул удивленно и печально, будто только что узнал ее. Потом опять стал ходить.

Наконец как-то утром он сказал:

— Собирайся, поедем к Гоголю в Данилов монастырь.

И в ответ на безмолвную ее тревогу только махнул рукой:

— Небось хуже не будет.

Далеко за городом предместье у заставы. Домишки о трех окнах, улицы поросли травою, ходят свиньи и куры, или, громыхая, протрясется рысцой дилижанс. Старинные казармы. Дальше белая стена, еще более древняя, чудесной кладки с наплывом верхнего ряда зубцов, вознесенная при царе Алексее Михайловиче вокруг монастыря. Врата въездные веселые, пестрые. Голубые пузатые столбики с прохваткой желтым, красным, зеленым. Все в чешуйках да в шашечках.

Во дворе над колодцем шатер с угодником. Далее церкви московские златоглавые да шатровые — и Растреллиева стиля и своих стилей, русских. Золотеют, голубеют сквозь пушистую, еще прозрачную зелень.

— Хомяковы... Языкова... вот здесь, должно быть, и он, — сказал Багрецов.

У забора, на могильных деревьях, протянута тонкая бечева. Какая-то баба, озираясь по сторонам, очевидно

делая запрещенное, но ей необходимое дело, пользуясь ярким весенним солнцем, развешивала детское белье.

— Толстая подоткнутая баба, квохтанье кур... что-то знакомое, — сказал Багрецов. — Да, словно им описанный двор Ивана Никифоровича.

Гуль нашла временный желтый крест, еще свежую насыпь. Сели оба на скамью.

— Молитвы он просил, — сказал Багрецов, — на всю Россию кричал, чтобы молились. Благообразия хотел... а в последние минуты, говорят, врачи его истязали, обкладывали горячим хлебом, к носу две черных пиявки. Так и вижу его с ними. И в могиле не укрылся. И сюда жизнь наперла. Сейчас, полагать надо, ему все равно; однако мне — глядеть тошно. Эй, баба, — крикнул Багрецов, — чего тут развесилась? Не чердак, чай.

Баба обернулась, круглая, добрая, и, сверкая зубами, просительно сказала:

— Да я на часок, пока солнышко. Ведь не на памятник, чай, и повешено.

Багрецов махнул на нее рукой и задумался, упершись в могилу. Страннее всего был этот небольшой размер для такого человека. Как и для всякого — три аршина. Рядом немцы какие-то, наискосок Екатерина Хомякова, по которой он читал ночами псалтырь... вот и все.

— Вот и все, — сказал Багрецов, вставая.

— Я слыхала, — робко проговорила Гуль, — собираются камень ему положить, черного мрамора, и на нем из пророка Иеремии вырезать стих:

Горьким словом моим посмеюся.

ГЛАВА XIV
ГОБЕЛЕНОВ КОВЕР

> Грустил и пугался я Петербурга постоянно.
>
> ...Я думаю, что никогда таким плохим французским языком не говорили у двора русского, каким я теперь начинаю там говорить. Это тоже причислено может быть к моим бедствиям.
>
> *А. Иванов.*

Еще прошли годы. Багрецов по-прежнему жил на окраине против сумасшедшего дома.

Гуль удалось кое-как наладить жизнь. Нашлись люди одних умственных интересов, Глеба Ивановича втянули в журнальную работу, он даже подумывал об одном капитальном труде. Вся его энергия перешла в интересы каждого отдельного дня, и сегодня катилось, как вчера.

Гуль больше ничего не ждала для себя. Ни чудес от своей любви — для него.

Благодаря большому такту она сумела сделаться для Багрецова необходимой, и, насколько мог, он теперь был к ней привязан.

Был июнь, стояла жара. В городе начинался панический страх холеры. Багрецов с утра был чем-то так разволнован, что не мог заниматься, а все ходил взад и вперед вдоль глазастых окон.

Из зеркал, как много лет тому назад, на тех же поворотах, ему бросался навстречу высокий, иссиня-выбритый человек. Только прежняя грузность пропала.

Глеб Иванович бросил пить, иссох, а со спины стал, как в юности, сухопарый, с сутулинкой.

Гуль, приученная жить без расспросов, перебирала в уме, что бы могло его сейчас так взволновать, как Багрецов, остановясь на ходу, ей сказал:

— Приготовь все к отъезду, завтра я еду в Петербург на выставку Иванова.

И, захватив со стола только что читанного «Сына отечества», он, пройдя в свою комнату, заперся.

Гуль заметила, что с тех пор, как пришло известие о приезде Иванова с его картиной, Багрецов расстроился. Раза два выпивал. Конечно, с этим приездом воскресло в нем прошлое: Италия, Бенедетта, — и Гуль глухо ревновала, рада была хоть тому, что Багрецов не стремится к быстрейшей встрече с другом, а, списавшись с ним, спокойно ждет его приезда в Москву.

И вдруг перемена... Уж нет ли чего в газете?

Гуль не ошиблась: в газете, точно, была непристойная статья о картине Иванова.

Глеб Иванович, сидя в своем кресле, еще и еще ее перечитывал, не доверяя глазам. По некоторым весьма специальным суждениям и художественной оценке, обличавшей представителя известной школы, а также по дошедшей молве он явно видел, что под темным именем неизвестного литератора Толбина, подписавшегося под статьей, скрывались иные вдохновители: художники-враги со своим главой — Бруни.

Огромный труд Иванова, раздерганный по мелочам, сводился ими к нулю. Не без яду воздавалось должное лишь его трудолюбию. Местами тон критики унижался до грубой пошлости и издевательства. Так, про велико-

лепную фигуру юноши, выходящего слева из воды, автор заверял, что она исполнена avec un peu trop de licence[1] и напоминает собой довольно вольные типы фигур Джулио Романо, за которые удалил его от своего двора папа Климент VII. К этому добавлено было: «Принимая в соображение религиозный, чисто нравственный сюжет композиции, следовало бы, кажется, вспомнить художнику, что всегда приступали к воспроизведению божественного сюжета с постом и молитвою и всякую лишнюю наготу тела считали недостойной художника-христианина. И что же сделал г. Иванов?.. Он даже не позаботился сообразиться с античными типами... А воспроизвел что-то, напоминающее вакханалии в празднествах Венеры».

И дальше длиннейший столбец в том же роде.

Багрецов не спал всю ночь. Засунув руки в карманы, скрипя половицами, он ходил до утра. То и дело останавливался у окна. Как бывало, наливал в рюмку коньяк, опрокидывал.

Думал об Александре Иванове, а, непрошенный, возникал рядом Гоголь, длинноносый, как тогда, в свой последний приход. Гоголь шептал в самое ухо, щекоча шею свисшими набок длинными волосами:

— Вот я и в Назарет съездил... Мало поучительного, признаюсь, — дождичек шел, как у нас, и блохи преотчаянные, этакая легкая кавалерия, как на отечественных постоялых дворах...

А Пашка-химик из всех углов ерзал бровями-пиявками на желтом, как репа, лице, травил Гоголя, улюлюкал: лю-лю...

---

[1] Несколько вольно *(франц.)*.

Или, может, то дождь шел и в трубах бурлило.

— Александр Андреевич Иванов, ваш «ближайший», в Риме полвека гостил, а вернулся домой... и к развратной Венере, к «им-пу-дике» угодил. Хоть кого обремизят в нашей столице-то!

А филин в окошко: хо-хо...

— Поэт... живи один, ты сам свой высший суд! — выкрикнул для защиты себя Багрецов.

Но тотчас все Пашки из всех углов:

— Один сказал-с, один оправдал-с! Александр Сергеевич Пушкин, щедрейший. А прочим уединившимся, прочим...

— Ну, прочим-то? Ну? — И Багрецов, став посреди, размахнулся бутылкой в углы.

И квакнули желтые морды:

— Грроб...

Да, не вовремя приехал Иванов в Петербург с делом всей своей жизни. Три события волновали столицу: открытие Исаакия, приезд Александра Дюма и приезд Юма, потешавшего знать чародействами. Александром Дюма был очарован не только бомонд, но и весь литературный мир. Он будто напустил всем в мозги французской своей легкости. Какая-то хлестаковщина общелкивала общественное мнение, всем хотелось нарядного, забавного, несерьезного. Наперерыв цитировались изречения французского гостя, и нельзя было понять, он ли дурачил всех, сам ли был одурачен, когда изобрел пресловутое племя les «clopchik», имеющих одну ногу и ни малейшего признака рук, или величественное дерево «la клюква» и прочий вздор в том же роде.

Несомненно было одно: легкий французский пляс Дюма-пера обтанцевал суровый подвиг, глубину, строгое целомудрие родного гения.

— Что за краски, что за гобеленов ковер! — из салона в салон твердил про картину Иванова один известный всякому щелкопер и болтун, и с ним все соглашались. Все смеялись, что не стоило, дескать, «Илье Муромцу» корпеть тридцать лет...

Когда Иванову передали, что чтимый им поэт Тютчев не устает повторять свою же остроту: «Этот чудовищный холст полон не апостолов, а одной сплошной семьей Ротшильдов», — он глубоко огорчился.

— Как, неужто может он так говорить? Столь прекрасный поэт? — воскликнул Иванов и, усмехнувшись, добавил: — Ну, это все Дюма-пер-с, значит и Тютчев «одюмачен»...

Иванов помнил, как его брату Сергею при взгляде на картину пришли на память не чьи-либо иные, а как раз его, Тютчева, стихи:

Над этой нищею толпой
Порабощенного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода?
Блеснет ли луч твой золотой?..

Иванов после этого не обращал ни на что уж внимания. Он тихо и скромно прохаживался на своей выставке среди этюдов. Его почти никто не знал из публики. Портрета его издано еще не было. Он был серьезен и молчалив, когда его хвалили, когда бранили — оживлялся, вытягивал голову, жадно ловил, есть ли тут путное, чему бы поучиться. Больше всего ждал, чтобы заговорили не о нем, а о том, что ему было до-

роже себя, — об искусстве в таком смысле, как думал о нем сам.

Как-то Иванов пришел очень рано. Народу еще было мало. Едва завидев его, от окна, отделился некто высокий в сюртуке и подошел к нему, протягивая обе руки:

— Александр Андреевич!

Иванов узнал не вдруг Багрецова. Но, узнав, сильно обрадовался: обнялись, не виделись десять лет. Багрецов уже не был одет так, как в Риме, отменно и с заботой. Сильно исхудавший, он как-то путался в подержанном своем сюртуке, его галстук был завязан небрежно, только выбрит он был, как обычно, с особым пристрастием. Лицо его, во всех чертах заострившееся, было угрюмо и тяжко. Глаза так окончательно покинуты жизнью, что невольно Иванов воскликнул:

— Ну, чем это извел ты себя, Глеб Иваныч?

— Знаешь ли что, тряхнем стариной, пойдем на скамейку в любимый наш палисадник, — предложил Багрецов, — день ведь чудесный!

— Пойдем, мой дражайший, — заторопился Иванов, — столько есть рассказать...

Он взял Багрецова под руку и хотел уже было двинуться, как вдруг внимание его привлекла группа учеников Академии. У одного в руках был «Сын отечества». Они подошли с хохотом сравнивать статью Толбина с картиной.

Багрецов вмиг понял, в чем дело; он видел, что ученики Иванова не узнали, и сейчас он мог услыхать пошлые суждения статьи с прибавкой их собственных, и с досадой сказал:

— Александр Андреич, плюнь на них, отойди; раз они принесли «Сына отечества» для сличения, путного ждать от таких нечего. Все понимающие дело твердят, что именем Толбина прикрылась враждебная тебе партия, интриганы...

— Нет, почему ж, я послушаю, молодые хоть жестоки, да в точку... — Иванов, добродушно улыбаясь, придвинулся ближе к говорившим.

— Вот она, махина — не картина! Одна таинственность, которой окружал ее автор, довела всех до истомы, — сказал высокий, в воротничках à la Брюллов.

— Велика Федора, да дура, — подхватил другой, — поистине нечего было огород городить, тридцать лет высиживать.

— Пойдем, Александр Андреич, — тащил Багрецов, — срам слушать этих ослов.

— Во всех фигурах северное белое тело... и это Палестина? Под зонтиком, что ль, они шлялись? Прав Толбин, прав...

— Братцы, раб-то! Как у трупа, зеленая морда.

— А посадка вся сперта. Да это точильщик из второй античной галереи!

— Фигура старца точно замучена, а юноша-то! Верно Толбин привел: юноша из вакханалий «Венеры импудики», ха-ха...

— А что значит вся правая группа из двадцати семи фигур? Уж точно — семейная баня Ротшильдов. Какие тут к черту апостолы?

— Да уж пред «Последним днем Помпеи» столько не спросишь, там каждый штрих за себя говорит. И у Бруни и даже у Моллера...

И резолюцию поставил высокий:

— Это, братцы, не картина, а просто маринад из римских жидов!

— А вы просто ослиные головы, а не художники! — сильно окая, вдруг крикнул доселе безмолвный ученик.

Иванов давно приметил лицо его: прекрасный лоб Тициана и глубоко сидящие, очень яркие глаза. Весь зардевшись, в гневе он продолжал:

— Вам мозги засластил Бруни картинками, Брюллов задурил вас бенгальской шумихой, — то-то большого да скромного мастерства вы не чуете?!

— Скажи, как задается?! — наступали кругом. — Уж этот известно... откроет Америку.

— Сапожники, говорю, не художники, а не то б поняли: от Александра Иванова не только приказ: стань мастером! *А наука-то вся дана — как им стать.* Да это понимать надо.

Александр Иванов кинулся к юноше, обеими руками схватил руку его. Грустное лицо его просияло.

— О, благодарю вас, — пришепетывал он в волнении, — благодарю. Значит, и для молодых труд мой не даром!

У юноши слезы стояли в глазах.

— Простите, — смутился он, — вас я не узнал, при вас я бы так не посмел. В защите-то вы не нуждаетесь.

Ватага академистов с высоким во главе в смущении отхлынула. Иванов вынул часы, посмотрел:

— У меня сейчас свободное времечко, не хотите ль пройтись со мной и другом моим Багрецовым сперва

в кондитерскую, а потом в скверик поговорить? Кстати, кофейная все так же стоит на углу?

— Все так же, — подтвердил Багрецов, — и по-прежнему ученики Академии не могут посещать ее из-за карманной чахотки, — ухмыльнулся он, видя смущение юноши.

— Позвольте, мой юный защитник, старому художнику угостить вас, — сказал, с лаской беря юношу под руку, Иванов.

Когда они шли по темным коридорам Академии, из квартиры какого-то профессора вышел важный генерал. На повороте он сверкнул золотом своих эполет и звякнул шпорами. Иванов вдруг дрогнул и, побледнев, вытянулся, руки по швам. Он так застыл, пока генерал не прошел.

— Ты его знаешь, Александр Андреич? — спросил удивленный Багрецов.

— Зачем же знать? Довольно того, что это генерал-с; если не вытянуться, как бы не вышло чего. Ведь у нас в России и самый мундир тугим шитьем ворота так приспособлен, чтобы в нем стоять не иначе, как вытянувшись.

Багрецов боком глянул на Иванова и при ярком луче поразился тому разрушению, которое наложили на лицо его годы нищенской жизни, нечеловеческого труда, отчужденности...

Юноша тоже был грустно смущен: он не мог разобраться в поступке Иванова с генералом. Ирония это или та болезненная мания, которую молва давно связывала с его именем?

В кофейне спутников Иванова ждало новое огорчение: он наотрез отказался брать закуску и кофе из рук

молодых слуг, всем на смех требуя, чтобы ему привели кого-либо из самых древних.

— Нет-с, увольте, из рук этих молодцов я ничего пить не стану-с и вам не советую, — твердил он со страхом и только тогда успокоился, когда ему указали, что жив помнящий его юношей Ермаков. Иванов сам подбежал к старику с седыми баками, облобызался, принял из рук его кучу пирожных и, веселый, притащил их своим гостям и сам с жадностью в них погрузился.

Багрецов молча пил кофе. Лицо его было внимательно и неподвижно, как при непоправимой утрате, когда каменеют в человеке все чувства. Он вспомнил, глядя на Иванова, переданные ему на днях слова Тургенева: «Бедный отшельник, глубокое одиночество не прошло ему даром».

Иванов, прикончив пирожные, с отеческой лаской глядя на ученика Академии, спросил:

— Вы не Тверской ли губернии? Сильно окаете — видать, что Тверской.

— Я-то? А ведь угадали, — улыбнулся молодой так ясно, во все лицо, что улыбкой этой еще больше понравился Иванову. — Да, я из Красного Холма, двенадцати лет вывезен в Академию. Сейчас она мне вместо родины.

— А чтобы художником стать, Академию забыть вам придется... да вот пройдемте в сквер, и точно, погожий денек, — глянул Иванов в окно, — а говорить здесь нельзя, всюду уши...

Вошли в сквер, где в это время, как и всегда, было пустынно. Высокая, все та же, колонна на гранитных

ступенях, кругом утоптан песок. Под большими деревьями скамьи. Сели.

— Да, да, Академию забыть надо, — продолжал, свободно вздохнув, Иванов, опять на безлюдье вдруг радостный и доверчивый. — Разучитесь взгляду на натуру через образцы, хотя бы и бессмертные. Художнику самому надлежит все увидать и, как древнему Адаму, всему дать имя. *Впервые данное имя — и есть картина.* Это запомните!

— Я сам так чувствую, — сказал, краснея, молодой, — я только словами не умею...

— Но, чтоб дать всему имена, самому надо все раньше отдать... Глеб Иваныч знает, — обернулся к другу Иванов и взял его за руку своей, с детства знакомой, теплой рукой с короткими пальцами. — Он знает... Я отдал все: любовь, утрату всех близких, больше того — веру души моей...

— Ты в этом не прав, Александр Андреич, — прервал Багрецов, — зачем обстоятельства личные делаешь законом общим? Не всякому надо терять и близких и веру.

— Книгу Иова читали? А вот поняли ли? Там это самое написано. На все времена и для всех людей написано. *Отдать надо все, чтобы создать хотя нечто.*

— Помнится мне, Ренан книгу Иова хвалит за кучу навороченных противоречий.

— Что — Ренан, книжный остроумец... — прервал Иванов, — ксендзов французских дразнил? Кровью сердца узнают иную правду. А символически для детей эта история звучит так: бог хвалится Иовом сатане. Тот в ответ: спору нет, праведник. Но почему?

Да потому, что тобою спеленут, без своей воли живет, знай из рук твоих смотрит. Отыми руку твою, развяжи повод его — и увидишь! Когда человек вступил в жизнь на готовое, без пересмотра и выбора взял историю и веру отцов — его самого как бы еще вовсе нет. Каждый рождается как *художник*-творец, лишь когда в свои руки возьмет жизнь свою!

Иванов взволновался и по привычке своей стал ходить взад и вперед, иногда останавливаясь перед скамьей. Вокруг по-прежнему не было никого. Старый служитель дремал у ворот. По реке лениво шли баржи, и черными тенями на синеве воды мелькали прохожие за оградой.

— Я видел революцию сорок восьмого года, я понял то, чего вы, молодой человек, живя здесь, понять не могли, — бросал Иванов на ходу. — Не знаю я, кто проклял нашу землю, но без крови люди долго еще на ней не устроятся. И художнику вот задача: среди войн, грязи и мрака — сохранить и провести во всей силе образ и лицо человека. Одному художнику ответить на каждое время, на каждый период истории — новым высочайшим выражением духа своего времени! В идеальнейшем виде его. На высоте уровня своего века должен стоять художник, и способ выражения его — *мастерство*. Бесконечность совершенства стояла пред очами Рафаэля, на бесконечное засматривался да Винчи... И художнику на меньшее нельзя переводить взора, иначе и сапога-то ему путного не слепить.

— Я вас понимаю, — прервал, сильно волнуясь и окая, тверской, — одни, скажем, свиньи хрюкают, не отрывая вверх морду.

— Ха-ха, — залился Иванов, подмахивая растопыренными руками, — понял, истинно понял... Имечко ваше как? Имечко?

— Павел Чистяков.

Они встретились глазами в глаза.

Есть минуты, когда человек бывает способен понять другого без доказательств, даже без слов. Вдруг разбивается средостение между людьми, падает преграда, и глаз, как в минуту возносящей любви, минуя наносное, вздорное, не существенное человека, проникает в его тайное и прекрасное, быть может еще неведомое самому человеку.

В такую минуту мудрый опытом, предчувствуя свой уход, как сеятель, встретивший для посева раскрытую, вспаханную целину, умеет кинуть посев в нее полной горстью.

Александр Иванов, глядя неотрывным мудрым взором в глубокие глаза молодого ученика, сказал:

— Подвиг художника в том, чтобы стать мастером. Мастер — оправдание человеку. Мастер — это...

Иванов, не найдя слов, покрутил пухлыми пальцами и, волнуясь, снова забегал.

Багрецов поднял свои мертвые умные глаза и с необычною для себя нежностью сказал:

— Александр Андреич, покажи мне твои композиции, обидно ведь — город о них говорит, а я и не знаю...

Тотчас Иванов на ходу как-то весь осел. Лицо из вдохновенного стало испуганным, он с болью выкрикнул:

— Ящик-то, ящик с композициями взломан! Подвергли осмотру всю тайную работу души. Мысль моя еще не приведена для показа, а уже грубо расхватана. Со всех сторон слышу: Иванов затеял цикл иллюстра-

щий. Варвары люди! *Храм человечества — всему человечеству*, — вот что я затеял.

Он выпрямился, вспыхнул. На миг глянул очень умными яркими глазами, подойдя, потряс крепко руки Багрецову и молодому ученику и сказал:

— Раз у нас вышел такой прекраснейший разговор, уж надо его до конца... Я извещу вас обоих, когда можно смотреть композиции. Одним вам их покажу...

Иванов вынул часы и опять, внезапно утомленный, вспомнив, что опутан заботами, затормошился с своей записной книжкой, ища в ней расписания дня. И, смущенный, что, увлекшись дружеской встречей, перепутал все планы, Иванов сказал резко, усиленно пришепетывая:

— Повсюду опоздал. Ну-с, мне сейчас в Эрмитаж и в Публичную, и обязательно-с одному, обязательно...

— Да никто к тебе и не вяжется, — усмехнулся впервые добро и весело Багрецов. — Иди себе, Александр Андреич, иди...

— Ах, какой ты! Или это я виноват, я обмолвился? Ну, простите, друзья. — И, в бессилье объяснить себя, он слабо махнул рукой и убежал.

Запомнился молодому художнику необыкновенный этот человек, семенящий небольшими шажками по набережной, среди вихрей взметаемой пыли, то держа шляпу, отлетавшую с каждым его шагом, то нелепо одергивая фалды своего вздымаемого ветром мундирного фрака.

Иванов шел по Дворцовой площади своей тяжкой походкой вразвалку, и лицо его все больше расстраивалось. Горькие мысли о взломе ящика с заветной работой пробудили пред ним те римские годы, когда он

проводил над композициями для «Храма» пламенные ночи: вызывал древнеассирийских ангелов, Соломонов храм, патриархов, самого бога пред лицом Авраама. Он себя, художника русского, отдавал всем векам, расам, народам. Испепелял в себе все: личные вкусы, традиции, гнал себя вон из векового пристанища. Был без ограды, без повода, быть может погибший, как кричал ему как-то Гоголь, быть может охваченный самим Денницей. Да, так и чувствовал он порой, преступая заветы отца, Академии, былого уклада и веры. Он был как огромная чаша, куда капля по капле стекались лучшие чаяния всех времен, всех народов.

Изучив Штрауса, сам утратив детскую веру, он смотрел вперед, он знал: Герцен прав. Скоро опрокинуты будут все культы, человек станет как Иов на гноище. О, как охолодает в пустыне. Куда будет пойти ему в слабости, горе, экстазе? В кабак? И еще — в кабак. Нет, художник русский даст человеку Новый Храм, где встретит его все человечество.

Но тело не выдерживало, тело пугалось дерзости духа. Разорваны были в нем человек и творец все больнее, все глубже. Столь мощный наедине в своих композициях, на людях был беспомощно-боязлив. Чем удачнее шла работа наедине, тем ярче бил в ухо голос, едва выходил он в люди: здесь такого не надо... здесь такому — отрава. От-ра-ва...

И вот как-то, в ответ на приглашение Тургенева отобедать за общим столом в одном отеле, голос яростно крикнул: «Отравят! Отравят!»

Из последних сил, чтоб не выдать себя, Иванов стал безжалостно стискивать руки, но все же под пристальным умным взором Тургенева — не выдержал:

— Нет-с, уж я не пойду. Там меня отравят... яду дадут.

Вспомнил, как Тургенев и Боткин отшатнулись в ужасе, как через миг взгляд их выразил обидную жалость. На днях дошло до него, что они его невыразимую муку определили, как и все, — *мания.*

Ах, это началось так давно... еще тогда, в юности. Одна мысль, что его, ху-дож-ни-ка, подозревают в подделке, потрясла душу его, глубокую и совершенно простую. Дальше — обманы, коварство, интриги, ссора с ближними и дальними из-за неумения жить, как все... книга Штрауса — потеря веры, потеря мечты личного счастья. Наконец революция...

От прежнего в душе не осталось камня на камне, когда с последней жаждой общения писал в Лондон Герцену: «Я утратил ту религиозную веру, которая облегчала мне работу, жизнь... Мир души расстроился, сыщите мне выход, укажите идеалы! События, которыми мы были окружены, навели меня на ряд мыслей, от которых я не мог больше отделаться, годы целые они занимали меня, и когда они начали становиться ясней, я увидел, что в душе нет больше веры. И вот... я мучусь тем, что не могу формулировать искусством, не могу *воплотить* мое новое воззрение».

Но он сумел! Годы под синими очками искусственно изображая уже прошедшую болезнь глаз, чтобы оставили все в покое, а на самом-то деле, обобранный и бесплодный «труп в пустыне», он вынашивал в себе *Новый Храм Человечества.* С ним восстал из мертвых. Но какою ценой? Какою ценой? Гоголь в себе предал художника, а он? А он...

ГЛАВА XV
FINIS

> Мы живем в эпоху приготовления для человечества лучшей жизни. Следовательно, все мерзости от прошлых времен мы должны взять на себя, и в исправности представить обществу — каждый свое поприще, и за прошедшие наши пакости не сметь и ждать, под конец жизни нашей, отрадных результатов: они будут гораздо впереди, со следующими поколениями, и тогда разве вспомнят и об нас.
>
> *А. Иванов.*

Мучительно Багрецову не удавалось эти все дни встречаться с Ивановым. Два раза Иванов присылал ему записку с назначением дня и часа, когда тот должен был прийти к нему с «молодым, тверским», писал он про ученика, которого сердечно запомнил, — но всякий раз прибегал мальчишка от Боткина с «отгласительной» запиской. Иванова экстренно куда-то вызывали. Оценка картины и покупка ее затянулись до тошноты долго. Кроме неблагоприятного и компрометирующего в глазах властей отзыва Толбина — серьезной критики не было никакой. Толки кругом шли презлые. Мир хищный, завистливый, дорожащий своим покоем, как пчельник, взбудораженный залетевшей вольной бабочкой, наготовил художнику свое жало. Наконец Иванова вызвали в Петергоф, где за дело всей его жизни предложили вчетверо меньше, чем строи-

телю Монферрану, — десять тысяч рублей. Поверивший в полную неудачу, задерганный — он согласился.

И вдруг Строганов от имени президента Академии объявляет, что и это жалкое присуждение — еще не наверное. Еще надо мыкаться, на днях идти на прием к министру двора. Иванов решил, что это просто отказ.

Когда он сел на пароход, чтобы из Петергофа ехать в Петербург, — он почувствовал, что силы защищать себя, бороться с незримым врагом иссякли. Он больше не мог...

Был легкий ветер. На палубе свежо. Вид перламутром играющего моря успокоил Иванова. Широкоплечий, приземистый, стоял он у борта и не отрываясь смотрел на нежнейшую акварель северных волн. Но зашло солнце, и вода и небо стали однообразны.

Тогда своей развалистой походкой Иванов пошел топотать взад и вперед вдоль палубы. Из-под широкополой шляпы замелькал чистый лоб, выставилась благообразная окладистость бороды, широкоплечесть, приземистость, все такое родное, общерусское, крепко сбитое, как у хозяина-мужика. Стоять ему век — не погнуться. Но глаза, вглубь ушедшие, обличали иное. Глаза были как у загнанной лошади, когда, упав под превысившей силы тяжестью, она уже знает — не встать ей.

Петербург Иванова доконал. Ужасное предчувствие сбылось. Недаром столько лет упирался не ехать. Да и что могло быть здесь мило после тридцати лет отсутствия? Не дождались родители, умерли. На Смоленском и могил не нашел. Модная живопись, модные нравы, лепешки барокко у Исаакия — все оскорбляло в нем чувство и вкус. Ради выставки и продажи картины без конца надо было просить, благодарить, кла-

няться. Время разметывалось зря, то и дело трепался в придворных экипажах по загородным дворцам князей и княгинь. Кучера с высоты козел его обливали презрением как лицо нечиновное, без орденов, в бороде. А титулованные господа, похуже своих кучеров понимающие искусство, отмечали одну лишь нелепость манер и плохой французский язык новоявленного итальянского чудака.

Сейчас нестерпимо болела голова, и отвратительный нервный озноб пробегал по спине. Чтобы заглушить смутные опасения надвигающейся какой-то болезни, Иванов, заломив коротколапые руки за спину, ускорил свой бег по палубе. Мысли прыгали. На миг бросалось в память то одно, то другое из недавнего прошлого.

Вот прекрасного тона «vieux rose» шелковая обивка кресла. На кресле сидит президент Академии, сестра государя. Отвернувшись своим профилем камеи, она с высокомерной брезгливостью говорит:

— На открытии вашей выставки быть не могу, разве на той неделе. Мне в Академию надо на осмотр фотографий с образов князя Гагарина — так вот после осмотра...

Это она дает урок хорошего тона в ответ на только что сказанную им «грубость». Забыл, с кем говорит, вспыхнул, как художник, и прервал ее на похвалах этому князю, как «первому представителю иконной живописи»:

— Аматёр он в живописи, простой аматёр-с!

Потом узнал: Гагарина прочили в вице-президенты Академии.

Все больней ударяло в виски... Неужто повторение недавней болезни? Намедни едва отходили от холеры,

Ах, если б не крутили заботы, если б замкнуться сейчас в своей мастерской, отстала б болезнь! В Петербурге, как пленному зверю, и в нору не укрыться. И безденежье и тоска.

Бруни дал скверный зал, где рефлексы убивают картину; придворный и неискренний человек, он не устает ткать интригу...

— Русский, какого бы ни был чину, не смеет быть в бороде, когда сам государь бреется! Я вас не допущу в бороде на открытие Исаакия... Ах, это граф Гурьев. Да неужто это он не шутя?

— А у меня и чина к тому ж нет никакого!

Иванов на миг улыбнулся по-детски во весь рот. На минуту стало забавно, что одурачили-таки графа Гурьева. Без него пробрался на открытие, а бороды и не сбрил.

Вдруг, заслоняя собой мачту, скамью и немногих сидящих на палубе, встала пред глазами дородная фрейлина, та, что на интимном открытии картины в присутствии государя глядела на нее и в лорнет и в кулак, вопрошая: «А каковы были украшения у женщин древних евреев?» Перед этим новый царь, совсем как и прежний, отец его, принимая картину за рапорт, приказал:

— Ну, разъясняй, какова тут позиция раба!

Иванов остановился. Как ему было привычно при душевных волнениях, крепко, до хруста, стиснул руки и, глядя в уже почерневшую воду, ежась от вечерней сырости, вдруг, как юноша, с безумной страстью захотел сейчас только одного: сию же минуту перенестись в дорогой сердцу Рим. Только в Риме мог жить, выйдя из собственной биографии, в одном своем мастерстве, не Иванов — signor Alessandro, ото всех погребенный

в студии. О, как счастлив был там в самозабвении рабочего дня, бок о бок с единственно любимым братом! Какое чудо были те вечера на «Via Appia» и дружное возвращение домой вдоль золотом напоенной Кампаньи! Погрузиться б на миг в полноту творческих сил, в собранность воли... Пусть там нищета, питье — вода из фонтана, на обед чечевица, одна жизнь — *мастерство*, одна родина — *Рим!*

Истинно прав бывал Гоголь там, на акведуке Клавдия... И только подумал о друге, как тотчас увидел необычайный носатый профиль его, пронзающий синее итальянское небо, услышал невыразимой страстности шепот: «Италия, страна души моей, к черту Петербург, театры, департаменты, подлецы...» Да, здесь это все охватило... И вот уж душит кольцом, особенно подлецы. И дивно: собираются будто порядочные люди, передовые, но едва наберется их два-три — возникает в придачу какой-то четвертый, подлец. Обговоренные дела тормозят, слова и мнения передергиваются, кто-то завидует, кто-то клевещет! Ничего, ничего не понять.

Иванов сел на скамью и невольно схватился рукой за сердце. От всего того, что сейчас вызвалось непрошеной памятью, ему стало физически больно.

Ящик с альбомами весь доставлен разбитым. Все композиции перерыты, в город пущен слух о новой большой работе, которая досужими названа ил-люстра-ции...

Едва вступил в дом Боткина, помнит, были ему голоса: ограбят, заветное пустят по дешевке. Варвары люди! Не иллюстрации — Храм Человечества.

Закрыв глаза, он схватился за канаты и страшно побледнел.

— Дурно вам, господин? Пожалуйте-с в каюту, — и лакей, поддерживая, свел его вниз.

По дороге рвануло с Иванова шляпу, мальчик поднял, принес; глянув в лицо его, испуганно отбежал.

С ветром поднялись голоса:

— Травить его, за-тра-вить!

Иванов едва спустился в каюту, упал на койку.

— Первый сраженный, — засмеялись в углу, — здоровая качка!

Он испугался, стал мелко дрожать, зашептал забытое: «И расточатся врази его...»

...Голос под подушкой тонко, но ясно сказал: «Ящики с композициями разломаны, кто-то всё переснял, альбомы у Боткина. Хе-хе... Что ты сам думал про Боткина?»

И, как выполняя приказания, Иванов прошептал себе свою мысль, не оставлявшую его, пока он жил в Петербурге: «Ой, обшарит меня этот юноша, обшарит насквозь! И композиции, за которые плочено жизнью, пойдут шататься по ветру».

Голос строго сказал: «Довольно! Конец. Ну и съешь, что обобран. А за работу всей твоей жизни не куплен, а только продан. Тридцать лет — тридцать сребреников, как тот, на картине... Ты его, а уж за это тебя».

Иванов выскочил из койки и, шатаясь, опять вышел на палубу. Ветер надул его плащ так смешно, что дети вслед ему хохотали:

— Ай-ай, пузырь, улетит!

Иванов вспомнил, как в Париже, в зоологическом саду, сторож не позволил ему рисовать верблюда, не

поверив, что он художник: «Должно быть, тоже увидал во мне что-нибудь смешное, не как у всех...» Он улыбнулся детям своей усталой, доброй улыбкой, засеменил было по палубе мелкими шажками, но закачался и сел. Опять ветер донес голоса:

— Травить, за-тра-вить!

Тогда он понял — спасения нет: сам ветер отравлен. Яд просочится сквозь поры кожи, концы волос, сквозь уши, глаза. Яд проникнет внутрь костей. Да вот уж струится он вместе с кровью.

Иванов в городе еле выбрался с парохода, еле дотрясся домой на извозчике.

Яд к вечеру ужалил в сердце. Стало смертельно холодно. Иванов упал. Ему казалось, что до последних сил нельзя уступать, и, защищая от похищения свой «Храм», укрывшийся в обледенелом уж сердце, пока он был в силах, он отталкивался от врагов руками и ногами.

В некрологе наутро было написано, что вечером Иванов забился в ужасных судорогах и призванные на помощь доктора к полуночи объявили его положение безнадежным.

На два дня отлучившийся за город Багрецов, подъезжая на извозчике к Академии, где предполагал на выставке встретиться с Александром Ивановым, прочел в газете, что, проболев холерой три дня, он скончался вчера, 3 июля.

Отпевали Иванова в церкви Академии художеств. Багрецов видел, как профессора, ему враждебные, те, что подуськивали Толбина написать его жалкую статью, хотели с соболезнующими лицами подхватить гроб, —

молодые им не дали, донесли Александра Андреевича сами на руках до могилы на Новодевичьем кладбище.

После смерти пришла от двора резолюция: пятнадцать тысяч за картину, две тысячи пенсии — *пожизненно!*

После смерти прислал царь и орден св. Владимира. Наперебой заработали в газетах художники, критики, друзья и поэты. Сам Стасов уже готовил бойким пером диплом «гения» человеку, столь скромно приходившему учиться в Публичную библиотеку.

На могиле прочтено было предлинное посвящение Вяземского:

> В искусстве строго одиноком
> Ты прожил долгие года
> И то прозрел, что никогда
> Не увидать телесным оком.
> . . . .
> В картине, полной откровенья,
> Все это передал ты нам...

Все было поздно, все было ненужно. При жизни — ветер родины общелкал его с одним посвистом: за-травить!

Домой, в Москву, Багрецов ехать не мог. Каждый день ходил он в Эрмитаж, к картине Рембрандта «Блудный сын» и часами смотрел. Без мысли, без чувств, не как художник. Если б спросили, не сумел бы сказать, зачем ходит. Нет-нет мелькало: так вот и Гоголь перед концом: от Симеона столпника к Савве освященному, к Корейше юродивому...

Минутами по привычке холодно дивился, как мог умудриться гений Рембрандта из друзей своих, обык-

новенных евреев Амстердама, сделать чудо для всех людей и на все времена?

Впрочем, мысли он гнал. Смотрел просто, как тот мужик в лаптях, что вдруг засопел с ним рядом:

— Ишь, по кабакам нашлялся, а к батьке прибёг...

Да, старик и блудный — из притчи. От сына — видна одна спина в лохмотьях. Вот свернутся прахом и обнажат грешное грубое тело, порочный череп дегенерата. На первом плане огромные мозолистые пятки.

Вот на эти пятки Багрецов и смотрел. Долго, не мигая. Быть может, он сходил с ума... неразрешимая, такая последняя скорбь держала его здесь. И не за себя... за всех: тех, что были, есть, будут. Всем бывает свой час: добегаются, и бежать больше некуда.

— Ишь, по кабакам нашлялся, а к батьке прибёг... — уже без укора, соболезнующе говорит мужик. И еще про сына: — Небось в отца мордой уткнулся, ровно пес недотравленный, из последнего, видать... А отец, даром не смотрит — видит, брат... без никаких разговоров. Руки развел, что уж тут, заждался. Прибёг к батьке, прибёг... — окончательным одобрением разрешился мужик и побрел дальше.

У Багрецова не было «батьки», и «блудным сыном» ни перед кем себя он не чувствовал, но прежде чем решиться на свое, на последнее, он испытывал странно отрадное чувство смотреть, как кто-то иной, чем он, мог, обобрав себя, найти себя снова.

Однако довольно... Насиделся перед пятками.

Глеб Иванович встал... И уже как ценитель и приличный, образованный человек отозвался о картине подошедшим академистам так:

— Если истина требует точности, то истинная страсть — крайней простоты. И у Рембрандта достигнуто...

Багрецов написал Гуль письмо. Он благодарил ее за долгие годы терпения и любви, обещал ей часть своего состояния, прощался как отъезжающий навсегда, не указывая, куда именно он уедет. Потом, довольно дорого заплатив, Глеб Иванович достал один несомненно действующий порошок у аптекаря, причем задел его пренеприятно, спросив дважды: «Вы со слабительным, часом, не спутали?»

Аптекарь в гоноре хотел тут же «минимальнейшей» дозой травить забежавшую кошку. Глеб Иванович не позволил... Доверился порошку. Завернул аккуратнейше, еще надписал, уложил на дно чемодана.

Багрецов уехал в Хотыново, то имение, где прошло его детство, где он женился, где теперь жила сестра его Анна, вдова дьякона, вторым браком народившая большую семью.

ИЗ ДНЕВНИКА ПЛЕМЯННИКА БАГРЕЦОВА

...Как сейчас помню дядин последний приезд. Еще б мне не помнить! Но расскажу по порядку: мне тогда было восемь лет, но я все же заметил, что нежданное появление нас забывшего дяди Глеба очень всех угнетало. Он был вежлив, но холоден, говорил, что явился ликвидировать все имущество, чтобы уехать навсегда в Новый Свет.

Раздав при соответствующих грамотах свои земли, он с иронической улыбкой отклонил благодарность.

Наконец однажды вечером, простившись со всеми, дядя ушел на свою половину с камердинером, чтобы, отобрав нужные вещи, наутро уехать. Лошади были заказаны.

Непохожесть дяди на всех людей, которых я доселе видал, потянула меня взглянуть, что он делает на прощание один в своей комнате. Сердце мое замирало, но любопытство было сильнее страха. Я дошел до кабинета и остановился. Как я ни боялся двигаться и даже дышать, дядя, у которого был особенно острый слух, крикнул:

— Кто там? Войди.

Я окаменел и ни взад, ни вперед... Дядя вышел, сам увидал меня и нежданно с радостью воскликнул:

— Как хорошо, что это, братец, ты! Ребенок чист, его рукой правит сама судьба. Даже в лотереях, на величайший куш, берут тянуть жребий — детей.

В комнате он меня посадил себе на колени, чего прежде не делал никогда. Молча гладил по голове. Потом встал. Взял серебряный подносик с ночного стола, поставил два бокала. Позвонил. Лакей, обученный всем привычкам барина, налил нам шампанского и ушел. Дядя, пристально на меня глядя, спросил:

— Знаешь ли какой-нибудь стишок?

— Я учиться не люблю, — сказал я, — я люблю играть в городки.

— Отличная игра, — одобрил дядя, — ну вот: и мы с тобой поиграем. — Он открыл тайный ящик ключом на шейной цепочке, достал порошок, всыпал в бокал.

— Вот тебе и игра, — сказал дядя, — загадка с отгадкой. Слушай внимательно: я отойду в угол, не буду смотреть, а ты переставь бокалы под команду: раз,

два, три. Если я выпью тот, что с порошком, я тотчас упаду на диван и крепко усну. Ты, ко мне не подходя, скушай вот это яблоко. — Дядя протянул мне огромный белый налив. — Только ешь не торопясь: с чувством, с толком, с расстановкой... Когда съешь — позвони, и начнется пред-став-ле-ние...

Помню, с каким невыразимым ехидством он выговорил это слово. Я испугался и стал просить:

— Ах, не пейте гадкий бокал! — Я даже обнял его и почему-то заплакал.

Неподвижное, как у мертвого, лицо дяди стало вдруг такое доброе, он погладил меня по голове и сказал:

— Но я могу выпить бокал и без гадкого порошка. Тогда ты поедешь со мной завтра в Италию. Там превесело, там апельсины, как яблоки, на деревьях. Я подыму тебя, и ты будешь их рвать сколько хочешь.

— Так выпейте сразу бокал хороший, я хочу ехать с вами в Италию.

— Представь, — сказал очень серьезно дядя, — и мне вдруг захотелось, чтобы вышло так, как хочешь ты, но такова игра; перерешать уж ничего невозможно. Если вся жизнь только случай, пусть будет так и со смертью. Ну, похозяйствуем хоть разочек сами!

Дядя хорошо размешал ложечкой бокал с порошком. Он не помутнел и был одного с другим цвета. Отойдя в угол, дядя выкрикнул:

— Раз, два, три — и закрыл лицо руками.

Помня обещание дяди об Италии и все чего-то смутно боясь, я схитрил: полагая, что он, как и я, отлично помнит, где порошок, и, кроме того, конечно, подсматривает сквозь пальцы, как это мы всегда в игре

делали, вместо того чтобы бокалы менять, я каждый приподнял и поставил на то же место.

— Готово? — спросил дядя.

— Готово.

Своей быстрой, легкой походкой дядя Глеб подошел к бокалам, не глядя взял тот, с порошком. Усмехнулся и, словно что-то припомнив, сказал непонятные мне слова:

— Ну, finis — от себя и к себе же! — Он одним махом выпил его и тут же свалился на диван.

Веря дяде, как богу, я, как он приказал, стал есть яблоко, не разбирая его вкуса, горя одним нетерпением — увидеть скорее обещанное представление.

Наконец я позвонил. Прибежал лакей, кинулся к дяде, закричал не своим голосом. Комната переполнилась; призвали врача. Дядя был мертв. Сколько меня ни выспрашивали, больше того, что я знал, я им не мог рассказать.

1926

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ПИСТОН

Эти дни после коронации и кровавой Ходынки Кузьме Лукьянову — что солдату боевое крещение. Как ни подзыкивали на рабочих мастера — во всех отделах работали много ниже нормы. Чуть без дозорного, стекались в кучки, и всё о ней, о Ходынке.

— Мертвые, стиснутые живыми, заодно перли в рядах... Две тысячи в яму стоптали, женщин, детей... Что слез, что сирот!..

— А в газете все дело смазали, и праздника царь не отменил, заместо панафиды кадрель...

— Нельзя было, вишь, пред Европами. Церемониал за печатями, от царя к царю. А люди им что... Тыщи нет — тыща родится.

— Добро бы за дело живот положить! А то из-за кружки с царским портретом. Из-за узелка с дерьмом на полтинник.

— Бараны были, бараны и есть.

— Тише вы, стены ушасты...

Кузьма был подростком и крутился в сварочной возле отца весь этот день. Отец Кузьмы уже много лет работал в этой мастерской, не объявленной вредной

для здоровья, хотя на первом же году в ней слабело зрение и появлялся неуемный кашель. Звали рабочие отца «мироточивая глава» — за то, что чуть выпьет — слезой изойдет. А он, если не работал, — выпивал: «без водки не продохнуть мне, лёхко газом затиснуто».

И правда, Лукьянов тверезый до того клокотал и хрипел в кашле, что сама мать, не выдержав, кричала: «Налижись, дай покой!» Пьянел отец от рюмки и тихо спал.

В эти дни глухой боли, ропота, первой обиды на нового царя за небрежение, за неотмену празднеств, когда даже в «Московских ведомостях» было прописано, что на Ходынке погибло две тысячи человек, — и самые богомольные, отмеченные мастером в благонравии, были выбиты из привычного, из обсиженного. Даже им из-за твердых заводских правил, получек, штрафов, кнота с лампадой, бабьей скрепы, домашнего быта — впервые встало свое, кровное, от чего уж не отмахнуться, что — надсадиться, а донести.

И разжигали друг друга рабочие. Старики, и те вслух называли такое, о чем недавно и подумать-то им — не посметь: «Когда царский поезд в Борках с рельсы сошел, одних шишек на задницы насадил, — небось чудом приказано почитать. И на молебны гоньба, и в церквах звон-поклон, а тут — замято, замолчано, метлой позаметено, кадрелью заплясано, по свежей по крови...»

— Неважная кровь — пониже классом, подешевле кваса... — выскочил Сашка Ткач, не за тканье, за сплетни ткачом прозванный, и чего-то невзначай пистончиков из кармана на рельсы просыпал да молоточком — хлоп-хлоп.

Трахнуло-пыхнуло. Засмеялись.

Обнадежил всех Ткач на предбудущие времена! Дайкось молоточком сыграть, отвести душеньку.

Словно ребята, которым и не помыслить против самого обидчика нáбольшего гнев сорвать, а в пору лупить кулаком по печи, — так большие бородачи в этой сварочной мастерской, в сизой мгле не расходящихся злых паров серной кислоты, как гномы, высекающие какой-то волшебный огонь, один за другим брали молот и хлопали по пистону. Треск, вспышка, дым, запах пороха отвечали какому-то настроению выведенных из равновесия людей.

И вдруг Василь Нефедыч, отец, такой всегда мрачный, неулыбчивый, ка-ак выхватит молот, как визгнет Сашке Ткачу:

— Сыпь их, разэтаких, кучей!

Ссыпнул Сашка коробку, а отец хлоп — тра-та-тах... Зазвездило искрами. А дыму! Паровоз трубой ахнул.

И выругались облегченно рабочие.

Рассеялся дым, а отец-то? На полу сидит, за глаз двумя руками — воет.

— Бе-еда! — вскрикнул Сашка Ткач. — Пистон Нефедычу в глаз угодил.

Тут не сразу понял Кузьма, что случилось. Сгрудились вокруг отца рабочие, тихонько вызвали всеми любимого мастера Гудакова. Пришел мастер, глянул отцу в глаз, сказал вполголоса:

— Перестань, Нефедыч, гласить, сейчас сведут тебя в амбулаторию, там упрись ты, показывай: на работе мне в глаз осколок попал. Уж мы, брат, не выдадим. То-то же: *на работе*.

И, повысив голос, окидывая желтыми, как у сокола, смелыми глазами рабочих, несколько торжественно Гудаков оповестил:

— Иван Нефедыч Лукьянов в сварочной мастерской утратил зрение правого глаза на работе, в чем свидетели все здесь присутствующие и я, мастер Гудаков, случайно в минуту катастрофы проходивший.

— Все свидетели, — сказали рабочие, — все!

Кузьма хотел было спросить, почему нельзя было сказать, что отцу попал в глаз пистон, хотя все это знают, но как-то раздумал спросить и побежал домой.

Наутро, когда мать пришла от отца из больницы, Кузьма понял, чего для отца хотел мастер, из-за чего на неправду пошли рабочие.

Мать, запухшая от слез, красная, словно пьяная, как вошла, укутанная в серый платок, так и осталась колодой на лавке.

— Обошлось дело-то? — подскочила юркая тетка Натаха.

Мать пошевелила губами и, как галушка у нее в горле застряла, сказала тупо, полусонная:

— Не обошлось. Двое их было: наш молчал, а старшой, как вылущил, крикнул: пистон! Пистоном и прописали. Ко мне вышел старшой, в фартуке, рукава закачены, чисто мясник; попенял: «Твой муж с пьяных-то глаз доигрался. Глаз вынем, а в пенсионе откажут. Завод озорству не оплатчик. Вот кабы на работе...»

— Живодеры, — сказала кума, — ой, живодеры. А что, Митревна, в случае рабочие покажут, что Нефедычу от рельс это вперло, уж ты четверти им не жалей.

— И без четверти сами вызвались, не товарищи разве. Да и показать им не грех. Муж пятнадцать годков оттрубил. Мастер Гудаков свидетелем было, а начальники на него: «За облыжное тебя, знаешь, куда? Не рельсу, пистон вынули...»

Дрогнул Кузьма, понял все. Просидел, значит, зря отец в сварочной, за пятнадцать-то лет без пенсии его, вчистую.

Впивался глазами Кузьма в мать, оглядывал. Навсегда вобрал в память свою лицо ее иконного письма, когда-то красивое, прежде срока в работе одряхшее. И сутулину, и руки рабочие, и глаза, больше чем у людей, а все будто незрячие, без вопроса-ответа, выпитые вовсе глаза.

Вышел Кузьма из дома, и прямо к доктору, на крыльце его встретил, торопился куда-то. Этот доктор, любимый рабочими, в золотых очках, большого роста — Кузьма перед ним что воробыш, в мамкиной кофте. Ежится, рукава болтаются до земли. Подхватил их гармонией, собрал на локте, высунул руку, тонкокостную, слабенькую, да как рванет с себя шапку на землю, да крикнет доктору слова мамкины, что всколыхнули в нем душу, как руда темная в мартеновой печи пламя колышет:

— Оступился раз тятька, так вы его затоптать? Затоптать тятьку?!

Тоненько выкрикнул и осек. Хоть убей его доктор, горит глазами.

Только доктор... нет... доктор внимательно пригнулся и на Кузьму чрез очки. Глаза у него в стеклах голубые, как река, а голос ласковый, словно бы мамкин в добрый час.

— Лукьянова сын? Знаю тебя. Вот что, малец, приходи ко мне вечером, в эту же дверь позвони. Как горю помочь, побеседуем. До звонка достанешь ли?

— Не достану — кулаком постучу. Приду.

Вечером сидел Кузьма против доктора в кабинете, где из угла без глаз, одними пустыми глазницами пялился скелет, а из-за шкафных стекол щипцы, ножи, пильники хотели ноги отрезать. Стараясь не разбегаться глазами на эти интересные и страшные вещи, Кузьма слушал пристально доктора.

— Изменить показание я не могу, — не я, старший врач отцу из глаза пистон вынул и к делу его приобщил.

Долго, с терпеливою ласкою объяснял доктор Кузьме жестокие условности жизни, рассказал и про себя, как на медные деньги учился, как голодал, а вот достиг же наконец своего и сам помочь людям в силах.

Узнал Кузьма, что доктор из своих, рабочих, самостоятельно до верхушки дошел, стал его слушать с доверием. Чай вместе попили, и за чаем сказал доктор:

— Еще скажу тебе вот что: так неудачно отец окривел, что, гляди, на здоровый глаз боль перейдет, и здоровым ему не смотреть. Вот и предлагаю: переходи, Кузьма, жить ко мне. Образование тебе дам, мать поддержать сможешь. Ну, по рукам, что ли?

Пожал доктор худущие, словно плети, руки Кузьмы.

— Жду тебя!

Не спеша, без улыбки, как хозяин-мужик, ответил Кузьма:

— Это дело я, доктор, обмозгую.

— Мозгуй, — сказал доктор, — да не очень-то, поступать в школу пора.

Прав был доктор: от больного глаза разболелся отец, старые недуги всплыли. И ослепнуть совсем не успел — умер. В скором времени и мать за ним. Перешел Кузьма жить к доктору, и так тот его полюбил, что, помещая в гимназию, свою фамилию за ним закрепил — Вереда.

— Пусть наше имя в твоем корню не глохнет! Единственный брат у меня в Киеве, да и тот холостяк, тоже приемыша взял себе — девочку Пашеньку. Выйдет судьба, так поженитесь.

Скоро вырос Кузьма, поширел в плечах. «И не узнать прежнего хлюпика!» — кинет при встрече дядя Потап, последний родной по крови, собутыльник и брат покойного отца.

Часто брал доктор Кузьму в операционную, санитарам на помощь. В белом фартуке, начисто вымытый, будто клещами затискивал Кузьма иному буйному под наркозом голову в своих уже сильных руках. И много чего передумывал тут, наблюдая, как вносили неизбежно обреченных на смерть, а выносили оживших, поправленных доктором.

Велика власть человека над телом другого — и от мук освободит, и жизни прибавит, и главное: дело это уже несомненное, нужное без просчета. А чистой наукой заняться, где каждым открытием спасаются миллионы? Это ль не цель? И без насилий, без крови...

А тут ёще доктор: не молодой, давно потерявший надежду в «варварской сатрапии» что-либо изменить, торопился прикрепить Кузьму к своему любимому делу, из рук в руки передать ему и огромный свой опыт и гордость тайной мечты о всех одаряющем знании.

Но только помыслит Кузьма себя открывающим очередную какую-нибудь бациллу — благодеяние всему человечеству, как нарочно подвернется в переулочке пьяный дядя Потап и, сорвав в грязь картуз, заорет: «Наше вам с кисточкой, бывший племяш Лукьянов-Вереда! Вам, значит, овес, а нам, значит, высевки?»

Как клин молодую березку, расщепили мысли всю душу Кузьме. Бывало, в гимназию идти ему из поселка две версты по веселой дороге, все под гору, по берегу синей реки. Как в сказке про царя Салтана, издалека древние колокольни что кедровые шишки торчат, под ними — летом в изумрудной зелени, зимой в сверкании снежном — домишки с дворами, чистые, с благообразием разводных дедовских ставней. Змеятся улочки круто к реке, к лугам заливным, а по реке плавной утицей туда-оттуда, где белеет на холмах монастырь, проползает паром.

Но Кузьме, хоть еще отроку, нет ни радости, ни покоя: да, как клин молодую березку, разбили мысли. Не с влечением ума, не с тягой к науке шла его совесть, и болезненно было двоение.

Кричала совесть про мать, про отца, про заводскую голую жизнь и хлестала волю беспокойством особым, не медлящим с помощью этим обобранным, этим распьяным. Раньше, чем углубиться в науку, надо б другим хотя грамоту. Иль не зря кричит родной по крови дядя Потап: «Тебе, значит, овес, а нам, значит, высевки?» И вот высшая гордость у гимназиста Кузьмы: не себе взять, а отдать. Как высокий Будда, не захотеть полной мудрости для себя, прежде чем свою неполную не отдашь людям.

С головой ушел Кузьма в изучение систем, как верней перекроить условия подлой жизни. Нелегальных в городе водилось довольно, и у доктора были с ними старые связи.

Вот один из сгинувших вскоре в Сибири навсегда потряс Кузьму своей судьбой, еще углубив, как незаживающую рану, его природное расщепление. Восторгался и смущен был Кузьма этим деятелем, подмечая, как горько тяготило его, пламенного поэта, хотя бы и добровольное ограничение чувства и умственной жизни. Пристально следил, как человек ради своего дела общественного служения все суровей приносил себя в жертву, и наконец, надев шоры, притупив цветистость глаза, сурово отмел всю многообразную сложность жизни и создал себе и другим, во имя высшей справедливости, уклад нового, мрачного аскетизма.

А дома сам доктор разбивал способность к простому и цельному восприятию. Порой в час досуга, когда амбулаторный прием был поменьше, подсаживался к названому сыну на диван и говорил тихим голосом, помаргивая веками за стеклами очков, как за крепостью:

— Э-эх, дружище, не смогут люди устроиться. Всегда будут глупые, всегда умные, и злые, и добрые — ну, пропорция-то одна. Да и черт знает людей, что им надо? Мой родной отец из крепостных, а всю жизнь до смерти клял тех, что ему же волю дали. На что телка дура, а и та сама к водопою бежит. Людей же два поколения изнасиловать мало, чтобы граждан создать. Да и граждан ли?

И еще говорил доктор, уже не слушая все слабевших возражений Кузьмы, что единица силы у каждого

непременно *своя* и, как овощ, дать может плод лишь на строго соответственном грунте. Все добро, все на потребу миру, но сапожник знай свои колодки, художник — кисти, деятель — дело.

Словом, доктор Вереда говорил вещи обычные, ума провинциального, немудрящего, но так как он Кузьму полюбил крепко, как сына, то вкладывал в эти слова много той угадки и чувства, которые волнуют неотвратимо и гонят мысль на нелживое познание себя.

Затравленный самим собой, как в запой пьяница, заскакивал Кузьма в книги на долгие дни. И смел ли признаться? Были книги ему — живей жизни.

Но вот опять либо дядя Потап, пьяненький в луже, либо кто из своих «сварочных» попадался в амбулатории с заведомо растравленным безымянным перстом, чтобы день-два «законно» вздохнуть от работы — нужду справить дома али так, протрезветь... и огромной тоской хватало сердце Кузьмы. С покаянной нежностью шел он к своим рабочим принять их бессменную тяготу. Теперь запускал книги, бросал гимназию. Как на милую родину, со всеми вместе ходил лишь на завод.

И вдруг радостно: здесь, как в детстве, все то же. Войдешь во двор, и сдается, будто заброшенное это место, или идет подготовка к огромной постройке. Горы железа, чугунного хлама, грохот, пыль от размолотой глины, и огромный, как слон, железнодорожный кран на рельсах. Пять тонн туда-сюда ворочает хобот, вытягивает тяжести.

Но внутренне завод уж не тот: русско-японская война вспахала целину. То и дело через станцию рядом шли эшелоны с увечными, от них узнавалась вся

истина: о грабежах интендантов, о бездарности начальников, о предательстве сверху. Рабочие бросали работу, свои дела, водку, чтоб послушать «студента», разъяснявшего корень зла. Всю зиму теснились в каморках, убегали летом в леса, у солдат обучались строевым занятиям. И пока царь формировал против японцев вторую армию, третью армию — армия тайная возникала против царя.

Партийных было мало, но вся молодежь выполняла поручения: закупали оружие, разбрасывали прокламации, добывали средства в стачечный фонд. Налаживалась связь по линии через машинистов, кондукторов, телеграф. И все, как сеятель в пахоту, разбрасывали воззвания по пути, а наезжавшие молодые агитаторы восторженно заключали призыв к смелому бою. Победить — счастье, но и погибнуть в борьбе за победу своего идеала — тоже великое счастье!

Каким-то символом, тайной схемой организованной борьбы — предстояла сейчас Кузьме электрическая станция. Отпрепарированный чудовищный организм, где денно и нощно бьется сердце завода — большая турбина, где свое кровообращение — распределение пара в системе причудливо изогнутых труб. Электрическая энергия все целится в вознесенный вверху во всю ширину здания мраморный щит, и бессчетны за этим щитом дрожат пучки проволок — нервы. Здесь, в электрической, рабочий всегда трезв и поджар, свинчен сам как машина. У него глаз остер и зорок, движение в ритме. Здесь человек не унижен, здесь человек победил. Совсем иное в сварочной...

Через электрическую станцию идет Кузьма, как паломник к святому месту, где им на всю жизнь дан

тайный зарок,— в ту жестокую «сварочную», что съела отца.

В сварочной рабочий день-деньской сидит на земле, варит негодные части, ведет машинам ремонт. Мастер в темных очках: через зеленые и красные стекла он только и выдержит тот ослепительный свет, что плавит металл. Но странно: войдешь сюда, и сразу на миг чувство, что ты на высокой горе, — так необычен воздух, пьянящий озон. Но это только сначала. Через минуту по затрудненности дыхания знаешь: нет, не озон здешний воздух, он на легкие падает и глазам ядовит. Как ни защищай их стеклом — пропадают глаза. А сварочная мастерская еще не считается вредной. Вредная рядом — дверь в дверь. Здесь огромные аккумуляторы-аквариумы с купоросной, голубого небесного цвета водой. Раздражена вода, пузырит и фыркает, как верблюд, и рождает премерзостный газ.

— Вредный цех, смертный цех, и быка здесь ухлопает, — говорит дядя Потап. — То-то: кому овес, кому высевки!

Вот этот дядя Потап, пьянчужка беспросветный, ошметок — не человек, злосчастным концом своим дал решающий толчок Кузьме Лукьянову в выборе его мудреной и трудной судьбы. Перед входом в контору деревянные воротца, какие бывают в деревнях на околице. На воротах щит белой жести и большие красные буквы: «Бе-ре-гись».

Как постоишь в этом месте, увидишь: разинут ворота вдруг рот, и, оголтело пыхтя, побежит паровоз, тут и подумаешь: не убережет здесь и надпись! Здесь самой судьбой паровозу — давить. По-домашнему, играючи, входит он сразу в частную жизнь. Никакого ему

профессионального здесь окружения, ни гудков, ни свистков. Направо зеленая горка, летом в цветущих кустах, зимою в снегу, с другой — аллея, заборы и тумбы. У каждой тумбы торговки подсолнухом и стручками. Снуют люди, как черные раки. Мальчишка огородным чучелом, распяля руки, балансирует на сверкающем рельсе, пока не смахнет его в распоследнюю секунду горячим дыханием паровоз.

В день окончания гимназии и решения — что же дальше? — с похвальным листом в раззолоченном орнаменте шел Кузьма в обеденный час к дяде. Для этой награды он, дядя Потап, давно и багет приготовил. Хотел под стеклом, в обрамлении, как образ, похвальный гимназический лист на стену повесить. И подпись заказана писарю:

Кузьма Вереда, он же Лукьянов —
разрешитель сварочных уз.

И правда, до Кузьмы, по мужской линии, все Лукьяновы спивались в сварочниках, а грамоте знали: имя-фамилию вывести. И вдруг, неровен час, — Кузьма в доктора вылезет!

Подходит Кузьма к переходу — там толпа, крики, плач. Увидали его, попритихли... и дорогу ему. На две стороны разошлись, сняли шапки и обнаружили на полотне только что задавленное тело.

— Дядя Потап! — И стал на колени Кузьма послушать, забьется ли сердце.

— Ошметки как есть, ни головушки, ни лица, — всхлипнула ближняя баба.

Кузьма встал, повернулся, пошел домой. А назавтра своему доктору:

— Я в университет не иду.

Нищенский этот ошметок, дядя Потап, а за ним мать, отец, весь рабочий поселок, весь бессрочный завод навсегда взгромоздились на путь жизни его и пресекли. Что же он их... как паровоз, по живому?

«Отныне ихнее дело — мое дело», — твердит Кузьма, а ему многоопытный доктор: «Кто успел мысль полюбить, а за ней не идет, разобьет мысль тому волю».

Об университете упросил доктор одно: окончательно решить после поездки. С спешным поручением посылал он приемного сына на хутор под Киевом, к родне своему Фоме Петровичу Вереде.

Спешные поручения были «сплошной фикцией», — так признавался доктор в предваряющем гостя письме к Вереде. Главная цель поездки — отвлечение от опасного умонастроения, которое, по мнению доктора, было не чем иным, как «самогипнозом на почве гипертрофированного социального чувства».

Смерть дяди Потапа была домашним, внутренним обстоятельством, толкнувшим кровно Кузьму на его решение не идти в науку, но были обстоятельства и внешние. Центральное бюро союза железнодорожных служащих распространяло воззвания, что «пора перейти к действию...», а только что бывший съезд постановил немедленной задачей союза — *подготовку* к всеобщей забастовке. Заводский поселок, где жил Кузьма, прослоился нелегальными кружками, Кузьма в них вовлекся и уже решил в работу уйти с головой, как доктор стал умолять его съездить в Киев. Кроме доктора, на этой немедленной поездке настаивал и товарищ

Шумко, вольноопределяющийся Ростовского полка. Он дал Кузьме важное письмо о настроении в Спасских казармах. Письмо надо было срочно передать саперному офицеру Дмитрию Десницкому. Еще дал Шумко письмо к Абраму Руту, тоже вольноопределяющемуся и подручному Десницкого, где аттестовал Кузьму как лицо, достойное всякого доверия.

Когда подъезжал Кузьма к Киеву, то в газете еще печатались объявления о вещевых и продовольственных пунктах временного комитета по оказанию первой помощи пострадавшим от погрома. Шел перечень дел об утайке награбленного. В театре же шли «Дети солнца», и в четвертом акте публика истерически требовала занавеса, не вынося сцены избиения ученого, напоминавшей недавние события на улицах. И с подъемом писал провинциальный рецензент: «Герои пьесы избиты за то, что они, как и мы, — мандарины духа».

Няня Китовна, темная, векового загара старуха, первая встретила Кузьму на хуторе Фомы Вереды, брата доктора, и спросила:

— А есть ли на тебе, батюшка, крест? Коли нет, изобьют тебя в нашем городе, голубчик.

II. САПЕРЫ

Чтобы попасть в саперные лагери, путь держать надо к бойне, за город. Едва перейдешь холмы, весь город с подворьями, лаврами и звонницами ухнет вдруг в пропасть — и нет тебе города и нет пути. Холмы да овраги.

— Человеку приезжему или штатскому в наших местах — хоть иди, хоть сиди — одна примусия, — говорит дядько́ Вереда, и правду говорит.

А вот темная фигура в солдатской шинели найдет и не глядя: все лето саперы тут лагерем; не похуже Британовых псов знают каждую кочку.

От «Фонарика» дядько́ Вереды по краю большого оврага, как сфинксы в пустыне, те псы; большие и малые, подвернув передние лапы, лежат, не моргнут. И черные, чисто черти, на только что выпавшем снегу и желто-мохнатые львы, ублюдки сенбернаров.

Здесь их Запорожье, собачья Сечь. И порядки сходствуют: заправляет всем сонмом помесь дога с дворнягой, огромный зверище — Британ. Он водит свору на бойню к отбросам, правит лаем и воем и — досмотрели солдаты — не дает на холмах водить «свадьбы». На собачьи дни распускает он свору в предместья, а сам, муругий, в белом жилете, сечет хвостом по ветру прямехонько к Вереде. Женой у него Клюква, пятнистая, очень умная «вередовая сука».

Сидит Клюква на цепи за воротами хутора так себе, для фасона. Ошейник давно разносился, и когда захочет, придержав его обеими лапами, она преотменно вынет вон голову и, лишь наигравшись с Британом, идет обратно в теплую будку. Оттуда высунет блудливую морду, сконфуженно сморщит нос и ждет, когда сам дядько́ Вереда, пожурив ее за гульбу, вновь пасунет на шею ошейник.

Британовы псы тем известны, что дерут за штаны одних «вольных», а к солдатам принюхались, им солдаты свои.

Вот и сейчас, хоть темно, псы провожают без лая, шинель за шинелью, внимательно и умно, дивясь одному: почему солдаты идут не в свой лагерь, а на «Саперные дачи»?

Вблизи лагеря с давних пор командиры себе накупили нарезов, понастроили дач. Одноэтажных глазастых гробов с резьбой и балконами. Это для семейств. На зиму при дачах оставались одни сторожа из своих же окончивших службу солдат.

На даче капитана Рубанова, куда направлялись фигуры в шинелях, сторожем был известный кашевар Прыткин, женившийся летом на Гапке-коровнице. Оба жили в Рубановой кухне.

Совершенно стемнело. Однако, боясь «глаза», солдаты вошли к Прыткину не скопом, а врассыпную. Кто в калитку, кто через забор, кто с необгороженной стороны, как лешак, возник из оврага. Хоть едва ли кто их здесь мог уследить. Дачи отделены одна от другой густым вишняком, высоким плетнем... да и в такой поздний час из-за военных псов не очень-то погуляешь.

В чистой избе Прыткина топилась печь. Перед спасом, из-за фольговых цветов, пестрелись монастырской работы бисерные пасхальные яйца. В зеленой лампаде мигал изумруд. Цвели на подоконниках бальзамины. По широким чистым лавкам, застланным плахтами, пробегал сытый кот. Над портретом царя каждый час, глуповато выдалбливая из гнезда в циферблате деревянной головой, куковала кукушка. И было все ладно, было добротно, все было на тысячу лет...

От кухни, где жили Прыткины, через сенцы вел черный ход во двор. Другой ход из кухни был через

закрытую ковром дверь в анфиладу пустых промороженных комнат летней капитановой «дачи».

По украинской справе, окна забиты ставнями с железным просовом сквозь стену, так что открыть их можно лишь изнутри. Парадные же двери забиты крест-накрест досками. Зимой броненосцем без подступа стоит дача Рубанова, и в ней один есть единственный ход через самое пекло, то бишь через Гапкину кухню. А если Гапка не чистая ведьма, то уж такая вредная баба, что забьет всякую ведьму.

И вот чтобы у Гапки на кухне да была конспирация?!

— Ей-богу, у начальства с переляку от тому подобных событий совершенная в головном чердаке катавасия, — ворчал урядник Коцюра, получив «секретное». — Вместо бани и чайного расположения переть в темноту, в пустыри... Еще б им облаву затеять на мерзлую дачу, псов насмешить!

И Коцюра для первого раза решил по кумовству, по-соседски, зайти просто в Гапкину кухню выпить чайку. А уж в баню, чтобы не продуло, что поделаешь, не идти.

А в Гапкиной кухне, теснясь на скамейках, сидели солдаты и с ними вольноопределяющийся Рут. Сидели подтянуто, чинно, как пред именинным пирогом.

Солдаты были от разных батальонов. Гуцалый, ширококостный, татарского корня, с большим мохнатым пятном на щеке, «меченный мышиною меткой», — от телеграфной роты, рядовой малорослый Стегно — от понтонеров. Были еще два унтера и рядовой Порося,

Он заливался под белой кожей заревом, робел, стоя рядом с приведенным двоюродным братом, заросшим, черным, нимало на него не похожим, беглым матросом Черноморского флота, связанным с командой «Потемкина». Матрос этот — Полищук — укрывался здесь в городе с паспортом какого-то сухопутного гражданина, волосы отрастил, и в нем обличала профессию одна лишь манера широко и устойчиво ставить ноги, как бы противоборствуя ветру.

— Они пока доклад сделать хотят, братцы, — наконец вымолвил белоголовый солдат, указывая на матроса.

Полищук не сел со всеми за стол, а остался стоять среди комнаты, чуть покачиваясь на широкостопных ногах.

— Мы рады выслушать вас, товарищи, но у нас мало времени, — сказал вольноопределяющийся Абрам Рут, к которому вопросительно обратились солдаты.

— Я с одними прямыми словами, товарищи... я примерно как прокламацию.

И, раскачнувшись с пяток на носки, матрос сказал:

— Пока неизвестна судьба вождя масс и дорогого нам товарища Матюшенки, не знаем, что дальнейшее предпринять, как именно исполнять его товарищеский завет. Вот благодаря небрежению сухопутных частей все восстание на броненосце «Потемкин-Таврический» провалилось, а я, сильно контуженный неприятельской пулею, ни к чему временно не годен, как именно, переходя от одной части к другой, воспламенять товарищей на вооруженное восстание, чтобы они об этом предмете медиа-ти-зировали...

Полищук споткнулся на слове, преодолел и, как бы извиняясь, добавил:

— Таково выражение товарища нашего Матюшенки.

— Расскажите им, братец, — сказал двоюродный брат, приведший Полищука, — расскажите по порядку все, что знаете, как не попавшее в газеты, и что видали именно своими глазами.

— Сам я видел, во-первых, вполне бездыханный труп матроса Григория Вакулинчука под почетной охраной экипажа, и слезы над ним всего трудящегося класса, и вопли из сотни грудей. Что же до старшего минно-машинного квартирмейстера первой статьи броненосца «Князь Потемкин-Таврический» — Матюшенки, то, во-первых, вот его фотографическая карточка. Посмотрите, товарищи, на героя!

Солдаты сгрудились над фотографией, а Гапка, оставив печь, протиснулась ближе всех и тотчас горько всплакнула, едва глянула в это лицо, молодое, с коротким носом, с глазами, дерзко распахнутыми. И трогали всех бескозырка с ленточкой и круглые щеки, придававшие облику детскость.

Полищук, распропагандированный самим Матюшенкой, был, как щепка бурным течением, целиком втянут не только в его дело — в его личную биографию. Напряженно и долго он ждал возвращения из Румынии броненосца, уверенный, что, едва тот появится на внешнем рейде, сейчас встанет эскадра, встанут войска.

И вдруг как обухом известие: «Потемкин» сдан Румынии, а экипаж распылился. Полищук, по мнению близких, «сказився». Охваченный назойливой идеей, что если в гибели «Потемкина» виной сухопутные вой-

ска, то он должен эти войска поднять на революцию, он захотел двинуться как был, чуть ли не меняя одежды. Друзья ему справили паспорт, ловко вывезли и поселили здесь, в городе, с земляками, под надзором брата и партии, у которой связь с войсками давно была налажена. Уже летом собирались солдаты вокруг агитаторов и в Голосеевском лесу и в оврагах.

Полищук взволновался, заметно побледнел, взметнул раза два веки и, блестя глазами, упорными, немигающими, сказал:

— Сетовал на сухопутные части наш товарищ Матюшенко и приказал всем передать, в случае не удержит экипаж броненосца...

— Черта с два, удержали. Сорвалось дело... — проговорил мрачно Гуцалый, — капут броненосцу.

— А кого винить? — вспыхнул Полищук и, засунув руки в карманы, расставя ноги, яростно, будто вот кинется, перебирал по очереди горячечными, немигающими глазами сидящих за столом.

В ответ Полищуку горели черные глаза Рута. Эти глаза, на худом, очень бледном лице, били по нервам, как внезапный крик, так что говорил Руту обиженный ротный: «Прошу опустить эти ваши глаза».

Сейчас Рут был в восторге: он уговорился с Десницким собрать солдат пораньше, чтобы до прихода его «создать атмосферу» рассказами о «Потемкине», а раздражение солдат своими домашними делами попытаться ввести в общее русло большого гнева «политических требований». И вдруг — убедительней всякой агитации этот неожиданный, живой Полищук.

От лампы, стоявшей на столе, на побеленных стенах тени сидящих легко набегали одна на другую, и,

прядая в потолок головой, перегибался над всеми, как сломанный столб, огромный силуэт Полищука. Он говорил, от волнения придыхая не там, где по смыслу была остановка.

— Вот именно слова дорогого товарища и вождя... масс Матюшенки: «Винить в этом нас, скажи всем, Полищук, винить именно нас — окончательно несправедливо. А не то и мы сможем сами обратиться к тебе, каждому другу народа и борцу за свободу, с прегорьким товарищеским упреком. И скажем мы именно: а почему ты, товарищ, сладко спал, когда мы день и ночь бороздили волны бурного Черного моря? Было разве не известно тебе, что соленой воды именно пить нельзя, а равно превращать оную в недостающий броненосцу уголь? А если известно, то отчего вы, товарищи, сухопутное войско, не доставили броненосцу всего именно этого?».

Из тени Полищука то и дело выбрасывалась черная рука и с укоризной потрясала над всеми сейчас недвижными тенями. А вторя ей, то взлетывал, то придыхал голос:

— И еще восклицал нам вполне ответственный товарищ Матюшенко, когда в последний раз видались мы с ним у трупа Григория Вакулинчука: «Как, ужели в Черном море придется похоронить нам наш и всего русского народа боевой красный флаг?»

Полищук вдруг побледнел и, сильно качнувшись, застыл на носках, будто ему надо было стать выше ростом, чтобы выговорить то, что следовало:

— Это черное дело, дорогие товарищи, совершилось. И почему именно? Благодаря невмешательству и совершенной беспомочи со стороны сухопутного войска.

Спешите ж, спешите восстать против вампиров правительства и братски поддержать отчаянного на чужой стороне, старшего минно-машинного квартирмейстера Матюшенку и с ним всех верных делу свободы!

Полищук осел, закрыл глаза своими тяжелыми припухшими веками и умолк.

— Они пока кончили, — сказал двоюродный брат его Поpося и почтительно добавил: — им сразу нельзя много говорить, бо зайдуться и глаза заведуть... нехай себе отсидятся, тогда еще трохи можно их допросить.

Гуцалый ловко, как кавалер даму, подхватил Полищука под руки и отвел на скамью.

Другой рядовой, Собченко, за которым стояла целая рота, глядя на вольноопределяющегося еще с тем ожиданием приказа, с каким он в строю «ел» начальство глазами, сказал:

— Ну как же, товарищ Абрам Рут, теперь будем? Ребята решать просят, каждая жилка у их напружена, нипочем ждать нельзя.

— Без Дмитрия Федорыча митинг бы зря начинать... — оборвал Гуцалый, — для чего ж он созывал?

— Да они, может, не будут? — спросил глазастый рядовой, которого привели в первый раз.

— Кто не будет? Это Дми-трий-то Федорович?

И в том, как вымолвил имя фельдфебель, как гневно вскинулись все на спросившего, вольноопределяющийся Рут привычно-книжно отметил про себя ту самую «беззаветно-солдатскую веру», что за Наполеоном бросала войска из Сахары в Москву.

В дверь послышался условный тройной стук с задержками, и Прыткин впустил подпоручика Дмитрия Десницкого.

Солдаты не вытянули руки по швам при виде погон, а поздоровались как с вольным, оглядели любовно вошедшего и вперебивку спросили:

— Ну как, Дмитрий Федорович, ужель без хвоста?

— Без хвоста сейчас одни зайцы ходят, — пробурчал Гуцалый. — Видимо, закружили вы его, Дмитрий Федорович?

— Закружил. И сейчас у чужих ворот мерзнет.

Десницкий улыбнулся, и от улыбки румяное лицо его охватилось той девичьей юностью, какая бывает у очень чистых людей.

— Ваше благородие, Дмитрий Федорович, — сказал Прыткин, — слухи дошли, что мы в подозрении. Дозвольте, я меру приму?

— Гапка, — подозвал он жену, — я пойду дозорным, а ты, чуть в дверь долбану, выпускай его благородие со всей митингой. Фонарь запали. С фонарем вали в дверь, да покруче зайдись!

— Эге-ж, — ухмыльнулась Гапка, — як жинки в базар.

— Вы, ваше благородие, со всей с митингой сигайте чуть что в овраги, сведем вас на жуликов. А парадная дверь, как была, и сейчас без последствий.

«Без последствий» означало у Прыткина, что доски на парадной хоть и здоровые, хоть и крест-накрест, а набиты лишь на самую дверь. Щелкнуть изнутри задвижку, толкнуть дверь, а с ней вместе без всякого шума отъедут и доски.

Прыткин отдернул ковер, прикрывавший ход из кухни в нежилые комнаты, и повернул ключ в замке.

— Отступление открыто! — и разъехался, засветил зубами, щекастый, курносый, одноглазый, похожий на добрый широкомордый молочник.

Душой и телом сейчас предался Прыткин «освободительному движению», как еще недавно был предан царю. Прыткин потерял глаз в самом начале японской войны и, вернувшись инвалидом, как сам выражался, «хоть и окривел, да прочумел». Он один из первых солдат заговорил о поддержке «потемкинцев». А у жены его Гапки любимый брат потонул на «Петропавловске», и она готова была всем кацапским властям за него «перервать глотку».

Рядовой Собченко, нервно подергивая щекой, сказал Десницкому то, что пред его приходом говорил Руту:

— Как быть сейчас, Дмитрий Федорыч? Солдатики решать просят, нипочем дольше ждать нам нельзя.

И подхватили:

— Чего ждать? Кирпичики повынуты, а стена, знай, держись?

— «Щенки, — говорят вчерась в телеграфной, — щенки слепые мы были, Порт-Артур нам глаза продрал, уж теперь шалишь, не защуримся...»

— Прикажите, Дмитрий Федорыч, выступать завтра же? — мохнатый бровями и усами, наступал Гуцалый. — Запал зажжен, фугасу обязательно взорваться. Сил никаких нет. Из-за выеденного яйца солдат сейчас пропасть может. Вчера, к примеру, я одной своей силой Гукина удержал. Капитан Таганов из собранья, конечно, пьяные и через слово Гукина матюгают, а тот, конечно, затрясся и — гляжу — в голенище полез за ножом. Я его за руку — тем и спас, да что в казармах

темно, а капитан Таганов, как на взводе; конечно, хоть глядят, а не видят... Ушли они, я и говорю Гукину: «Что это ты, сукин сын, как самостоятельно себя ведешь? Довольно, говорю, нам одного Иосифа Мочидлоберова, как доблестную, но несчастную жертву. Нам, говорю, не виселицы размножать, а побеждать сейчас полное время».

И еще раз сказал Гуцалый понравившееся слово:

— Верное дело — фитиль зажгли, фугас взорвется.

Солдаты заговорили вперебивку, уже не соблюдая и последней дисциплины, и все об одном — выступать. Черные тени на белой стене взметывались вместе с говорившим, если он вставал во весь рост, или трепетали, не выделяясь из общей массы, выкидывая на стену то сжатую в кулак руку, то указующий для пояснения перст.

Дмитрий Десницкий слушал всех молча. Но глаза его, ясные и пустые, обличали огромное внутреннее напряжение. Глаза вбирали в себя каждого, кто говорил, и отлагали слова его в какую-то глубину. Глаза переводили внимание на другого, на третьего, не возражая, не выдвигая решения.

Так подъемные краны терпеливо и твердо принимают свой груз пред отправкой в далекие страны и спускают его в темный люк.

Последним из солдат говорил доселе безмолвный унтер-офицер. У него было важное сообщение. Несколько раз он приподымался начать, но перебивали в горячке другие. Он опять молча садился, их слушал и ждал с значительным видом, словно первый стрелок, который может и помедлить со своей, решающей дело,

пулей. Сейчас он встал окончательно, вытянулся и торжественно, как на инспекторском смотру, отрапортовал:

— Ваше благородие, весь наш батальон примыкает!

Сообщение было действительно важное. Этот батальон, авторитетный для солдат, был до сих пор враждебен делу восстания. Десницкий побледнел, глаза его ярко блеснули, он тоже встал.

— Прошу слова! — выпадая вперед, вне себя вскричал вольноопределяющийся Рут, не спускавший все время глаз с офицера. Он видел, как вдруг изменился Десницкий, он испугался его решающего мнения и считал своим долгом его вовремя перерезать. Рут заговорил страстно, умело, отрубая по столу правой рукой совсем не в такт своей речи, так что, смотря на руку, трудно было понимать слова.

— Товарищи, от имени партии объявляю: восстание сейчас нежелательно. Оно нецелесообразно и будет так же несчастно, как свеаборгское и севастопольское. Мы должны действовать по плану. Объединить к выступлению заводы и войска. Вы слышали горькие упреки товарища Матюшенки? Ошибки должны служить примером, а не повторением. Город должен встать *весь*, иначе одна часть войск будет расстреливать другую, иначе...

— Тебе хорошо говорить, товарищ Рут, — прервал Гуцалый, — ты в книжку зароешься — отведешь душу. А солдат, что мужик, на одних с ним китах сидел; сейчас выдернуты киты — на чем ему? Голой задницей в воздухе, извините пожалуйста, долго не провисишь. Душа у вас, товарищ Рут, и тому подобных горит за потемкинцев, а вы, между прочим, молчок, а солдатику

до нутра как дошло, так и гаркнул: «Потемкинцам ура!» Один такой чудом вчера уцелел...

— Но у партии предначертан план...

— А видал, как леса горят? Понесет ветром огонь — и озером не зальешь. Было́ б вам, партии, раньше срока людей не трогать. А теперь раззадорили, да опять на постные щи? Да я хоть и телеграфной роты и понимать все могу, а коль скоро Таганов меня сейчас матюгнет, я ему в морду, хотя б под расстрел!

— Товарищи, — сказал Дмитрий Десницкий и поднял руку. И все затихли, так что слыхать стало, как булькает в чайнике кипяток, как Гапка, приткнувшись к печке, тяжко дышит, карими очами воззрясь в говорящих.

— Товарищи...

Рраз, два, раз... и еще и еще забил в двери Прыткин тревогу.

— О щоб тоби к бису! — заорала Гапка и, уже не передыхая, громыхая посудою, просыпала отборную базарную брань. Одновременно она отдернула с дверей ковер, бесшумно открыла дверь в пустые комнаты и впустила туда всю компанию. Вмиг исчезли за дверью. Гапка повернула ключ, утопила его в своем широченном кармане, опять спустила над дверью узорный ковер. Еще припустила руготни, запалила фонарь и, полусонная, дурковатая, пошла в сени отворять дверь.

Ввалился урядник с моржовыми в снегу усами, за ним Прыткин.

— Канпанию выпускала? Окурки в печи жгла? — крикнул урядник, щуря неглупые лениво-заплывшие глаза от внезапного света. Окинул опытным глазом комнату, пошарил на полу.

— Тебе очи продрать, так другому жениться! — кинулся на Гапку Прыткин. — Его благородие заморозила.

— Як почула, так и встала. — И Гапка глупейше осклабилась, засияла зубами. — Выбачайте, ваше благородие, к корове сбегаю да варенец вам внесу. Добрый варенец.

— Ладно, не заговаривай зубы, — смягчился урядник, не найдя следов «злого сообщества», и тяжко осел на скамью. — Чертова служба. Вот лови их, коли нет.

— Да кого ж тут ловить, ваше благородие? — изумился щекастый, под стать жене вдруг глуповатый Прыткин. — Летом воры пошаливали, точно, да и то сознались, что воры свои. Посторонних каких псы не пропустят, ваше благородие, ихний нюх лишь своими не гребает. Летом, точно, летом у его благородия из окна китель слямзили, а подпоручику Камкову, как они были из собрания нагрузившись, сухой горчицей очи заплющили: осердились на них воры, ваше благородие, что иного продукту не нашли. Вот было смеху!

— Ну, ты, Прыткин, зубы не заговаривай, — лениво оборвал урядник, — доведено до сведения: «злое сообщество».

— А вы, ваше благородие, цему доводчику в пику наплюйте! Нехай поганая смерть ему приключится, собаке! — Вошедшая с морозу Гапка поставила варенец и зашлась с новыми силами, как заходится самовар, когда ему поддали жару. — Врет тот доноситель, собака... собраться могут люди, где добрая хата, а не щель, як у нас, было б им где табаком насмердить! А я, ваше благородие, да чтоб табашников приняла? Да я

и замуж-то шла оттого, что мой человек некурящий, а то, скажите, ваше благородие, на что бы он мне сдался?!

— Уж это ты, Гапка, безо всякой пропорции сыпешь, — задетый за свою мужскую честь, огрызнулся Прыткин.

— Хо-хо... — И заколыхалось опоясанное шашкою брюхо. Урядник откинул круглую голову и долго громыхал, охорашивая моржовые усы.

— Других статей, окромя некурения, у Прыткина нас? Ну и Гапка, ну и обремизила мужа!

Умная Гапка уже наставила полный стол жирной снеди, а полынную принес из темненькой сам Прыткин и, дрыгая щеками, сказал:

— Уж не побрезгайте, ваше благородие, раздавите букашку!

— Так-таки раздавить? — полуспросил Коцюра, опрокидывая рюмочку. Снял оружие, распушил усы — и повторную... — Так-таки раздавить?

Уходя далеко за полночь, Коцюра, во исполнение инструкций, опять многократно водил носом и, решительно удостоверив неприкосновенность Гапкиной кухни к «сообществу», сказал:

— Никотинчиком здесь нет, точно, не баловались.

Тем временем, благополучно перемахнув через забор, солдаты, отбежав так далеко, что не видно было и трубы Рубановой дачи, спустились в овраг.

Была темно-синяя первая зимняя ночь. Мороз еще не щипал, но уже замохнатились звезды и ветер колко вздымал и вихрил в глаза снег. В глубочайшем овраге

солдаты в черных тонкоствольных кустах сбились кучею, как бараны, и долго молчали, насторожась.

— Какая тут погоня? — сказал Гуцалый. — Один боров Коцюра только и был, уж я доглядел... Переждем тут, пока он у Гапки чай отопьет.

— Как живем чудно! — сказал один из рядовых. — То по Крестовому календарю разверстаны были дни до самой твоей смерти, до скончания века, а то, на́-поди, утро вечера своего уж не знает. Вот по оврагам, как разбойники...

— А ну, Полищук, докладайте нам про «Потемкина». Он, ребята, Матюшенки словами так и чешет.

— Расскажи, докончи, матрос! Угрелись как в люльке, псы не найдут. Что видал, как слыхал?

— Все вижу я, как оно было с самого начала, и ничем, товарищи дорогие, мне этих видений в себе не заглушить...

Обтоптав снег, присели в кружок солдаты, и начал речь издали Полищук:

— Вот стоит, например, около червивого мяса дневальный, карандаш в закорузлых руках, бумага. Приказал ему капитан всех записывать, кто подойдет смотреть и хаять мясо.

А в мясе именно черви.

И говорят матросики: «В Японии пленных лучше нас кормят!»

А кондуктора: «Под Порт-Артуром команда собак ела, а вам подобная говядина худо?»

Ну, сготовили именно борщ. Свистит дудка обедать. Понес кок пробу. «Борщ чудесный», — похваляют господа офицеры. А матросики набрали в кружки одной

пресной воды — хлеб мочить. А баки с борщом не берут. Все по обеим сторонам камбуза.

И говорит старший офицер коку: «Почему именно команде обед не даешь?» А кок ему: «Команда не хотят кушать борщу». — «Почему именно?» А команда в голос: «Кушай сам!»

Капитан сбор приказал. Команда, как один человек, на ют. Стали во фронт. Вышел старший: «Смир-рно!» Командир, конечно, с буксирного кнехта к команде с речью.

«За такие беспорядки вашего брата вешают!»

«Самого б и повесили...» — не выдержал кто-то.

«Дай срок. Хоть и не повесим, так за борт его, дай срок!..»

И в подробном, мелко заметливом рассказе шаг за шагом, минута за минутой разворачиваются события. От обычного хозяйственного злоупотребления возрастают они до красного Черноморского флота, до победы над эскадрой, над городом...

Солдаты не торопят рассказчика. Они переживают каждый момент вдвойне: и за матросов и, в каком-то переносе на ближайшее будущее, сами за себя.

— В казарму пора бы... — робко шепчет двоюродный Полищука, рядовой Поропся, — хватятся.

И накинулись:

— Сами их раньше прохватим! Слыхал, как на броненосце?

И снова не дышат — слушают. И оттого, что во мраке лица едва различимы, каждый ощущает другого по-новому остро. И оттого, что кругом снег и кусты, что в глубину оврага необъятно высоко смотрит из облаков луна, — пропало время, казармы, пропало все,

кроме способности ответить всем чувством, всей волей на слова простые и роковые. Слова, которые солдатам по-настоящему услыхать — перевернуть жизнь вверх дном.

— И явился караул на зов капитана, а команда вся к башне. Оцепили тех, что борщу кушать не хотели, и в ужасающей, дорогие товарищи, прямо в зловещей тишине как крикнул старший офицер: «Боцман, подай брезент!»

— Ой, братцы, расстреливать будут, — прервал дрожащий голос, и хотя сказавший это, как и прочие, отлично знал, что события повернулись иначе, слышно было, как он всхлипнул.

— Товарищи дорогие, подумайте, до чего захватило в тоске и обиде дух у команды, когда она должна была быть свидетелем злой судьбы человек двадцати вполне безоружных товарищей? Вот их сейчас покроют брезентом, как саваном, и дадут по ним жестокие залпы, и убьют, словно мышат в мешке. Ах, эта жалость, этот ужас и гнев, дорогие товарищи...

Полищук задыхался от волнения; тяжко вздыхали солдаты.

— Вот уж именно решающая вполне минута: или они, или мы! Тут, конечно, первый борец за свободу, матрос Вакулинчук, не выдерживает и, зарядив ружье, стреляет в офицера и сам в тот же миг падает именно первой жертвой. Вся команда в батарейную палубу за винтовки, и пошло!.. Конечно, залп, и — за борт! И что за жалость, товарищи, судьба человека? Командир, за минуту самый грозный начальник, сейчас именно в одних нижних подштанниках, как в сумасшедшем доме, самый жалкий чудак! Это он разделся, думая морем

спастись. Не тут-то было! И вот он перед той же командой, уже не грозясь ее перевешать на мачте, а в униженном виде, с бормотанием испуга...

И дальше Полищук, все подробнее, без отбора важного от неважного. О том, как броненосец для встречи с эскадрой заряжал все семьдесят шесть орудий, как переоделись все в чистое и, готовясь к смертному часу, друг другу дали поцелуй. И вот она, встреча с эскадрой.

Пальцем чертит Полищук по снегу, хоть не видит ни сам он и никто этого чертежа, но так ему легче выдержать невероятное напряжение мысли.

— Вот головным идёт броненосец «Ростислав», рядом «Три святителя», вот «Синоп».

И, как эхо, солдаты:

— «Синоп».

— И вот, дорогие товарищи, ждет броненосец «Потемкин-Таврический» именно выстрела от эскадры. А «Георгий-Победоносец»...

— Хай трохи передохнут, — оберегает матроса взволнованный Порося. — Братец, передохните, бо сами знаете, що зайдетесь и очи заведете.

Передыхает Полищук и, глотнув воздуха, как артист, предвкушающий предстоящий эффект, тихим раздельным голосом говорит:

— А «Георгий-Победоносец», поравнявшись с «Потемкиным», вместо залпа, товарищи, крикнул «ура».

— Ура! — подхватили солдаты.

— Очумели вы, цыть! — одернул Гуцалый и, придерживая шашку, немедленно провел всех по колено в снегу вдоль по днищу оврага в такую глушь, что и псам не найти. — Вот, — сказал он Полищуку, — здесь довершай!

Здесь, в безопасности, прошел последний досказ, здесь Полищук, в окончательном вдохновении зажмурив глаза, в самую душу бросил солдатам те неотразимые слова, которые решили завтрашний день.

— А дальше, дорогие товарищи? Дальше — одиннадцать дней носился героический броненосец «Потемкин-Таврический» в волнах бурного Черного моря. И вот вообразите: шестнадцать котлов топят без перерыва, машина вполне растрепана, команда — выбившись из сил от бессонницы, в самой адской жаре надорваны люди работой. Что делать? Однако лишь окончательно без угля и воды решили сдаться в Румынию... И вот наступает, дорогие товарищи, самый горький, самый ужасный час, по письму одного матросика, недавно дошедшему из Румынии.

Что испытали эти герои свободы, вообразите, когда они затопили в волнах Черного бурного моря, с горючими слезами, свой именно первый красный флаг свободы?

Солдаты были взволнованны. Заговорили вперебивку:

— Чего ждать еще? Кому нам поверить больше своего брата флотского?

— Агитатор, известно, за свою партию.

— Между собой не столковавшись, и нас раздирают. А между прочим, начальство всех на убой...

— А мы партиям в роте сказали: бросьте сами собачиться, дойдите до одного конца, а пока спорите, ну всех вас к черту!

— Свое кровное сами рассудим...

— Она, партия, по книжкам сроки ведет, а у нас мочи нет, жилы гудут...

— Кушать я совершенно не могу, — жалобился ефрейтор, — курю как окаянный, душу себе прокурил.

— Окажите же сочувствие броненосцу, окажите, товарищи!

Полищук встал, встали солдаты. Полищук взял ближайших двух за руки и, потрясая их с силой, из себя переливая всю страсть, заклиная, сказал:

— Жизнь непросветная ваша, товарищи. Все одно погибать. Встаньте ж раньше, чем в тюрьмах сгноят. Встаньте.

— На пороховом погребе моя рота, спичку сунь и — взлетит!

— Пусть партия как хочет, не затушим пожар...

— По рукам, што ль, товарищи?

Скрепил солдатам руки матрос Полищук и тихим голосом, почти шепотом, хотя даже собаки, ожерельем уснувшие по краю оврага, здесь не могли его услыхать, сказал им свои последние слова. Сказал Полищук шепотом не от страха быть услышанным, а от упоения необычайностью этих слов:

— Товарищи, вознесем снова этот потопленный красный флаг. Да здравствует свобода!

III. СЕЛЕЗЕНЬ

— Не люби как хочется, ты люби как бог велит! — И жиг-жиг селезня нянька крапивой по выщипанной по гузке.

Яшка-селезень гагает, розга жигает, а Пашенька ха-ха... Дрожат заалевшие щеки, и кудри недавно остриженных, еще не покоренных волос бьют по плечам.

Из-за погребка, квохча, бежит курица Рябка, за ней, тяжело дыша, то припадая к земле, то делая тщетную попытку взлететь, — Яшка-селезень. За селезнем с гибким хлыстом вербы няня Китовна.

— Няня, ну как же не стыдно, брось Яшку, брось!

Няня Китовна, темная, векового загара старуха, степенна, подхватиста — рраз напоследки!

Селезень, с ошарпанным хвостом, потускнел зелеными щеками, поглупел, сконфузился, квакнул вдруг по-лягушечьи и распустил оба переливчатых крыла, отчего стал похож на базарную масленку. Думая, что прекрасно летит, селезень побежал вперевалку, вздымая в нос няньке первый легкий снежок.

— Ну, Китовна, восстановила закон, и довольно. — И дядькó Вереда, обхватив няню за плечи, отнял прут. Его любимый селезень Яшка, нарушая вековую повадку своей породы — избирать подругой жизни утку, в эту глубокую осень влюбился в курицу Рябку и проделывал вокруг нее пресмешные аллюры, выдававшие с несомненностью его амурные вожделения. Няня Китовна, считая беззаконие селезня «от антихриста», вступившего в мир и урвавшего себе всякой твари по паре, не унялась, закричала:

— Свяченой вербочкой тебя вправлю, не люби как хочется, люби как бог велит!

— Хо-хо... — раскатился дядько Вереда, проковылял к Пашеньке, взял ее под руку и сказал: — Пойдем, Пашенька, за ворота.

Пашенька — ранняя сирота. С детства у старого Вереды живет с няней Титовной, или, как, с детства путая, звала ее, — Китовной.

Хуторок Вереды на отлете, вблизи саперного лагеря, так что в гимназию Пашенька с дядьком ездила в шарабане, на старой кобыле Фанфаре. Земли у дядька десятин пять, хата, птичник да вот Фанфара.

Дядько Вереда об одной ноге — другая деревянная. В турецкую кампанию отрезали, когда дядько пренесчастливо бился против турок. После войны нашатался он по земле, да и осел на свой хутор. И пора была оседать: во всех возможных губерниях подросли дядькины незаконные дети, и в каждое место службы от их матерей шли к прямому начальству дядька пренеприятные цидульки «с просьбой удержки из жалованья».

Этот же хутор, хоть и под большим городом, но, спасибо ему, такой весь в холмах да оврагах затерянный, с землей плодородной, что зараз и укрыл он дядька и прокармливал. В первый же месяц водворения Вереды на «Фонарике» подкинули ему в розовом одеяльце шестинедельную девочку, и Пашенька во всем удачу с собой принесла.

«Фонариком» звали хутор за то, что, из окружавших оврагов, со всей горы всюду видный, он, как в море маяк, подмигивал огоньком. А девочку крестил Вереда Параскевой, ибо, будучи по природе философом, порешил, не гордясь, что женского пола находка в день Параскевы-пятенки должна в честь ее зваться Пашенькой. И колебаний брать девочку не было: человеку хоть одно дитя вырастить надо, не все же одуванчиком сеяться. А свое ли, чужое ли — одна примусия, дитя...

К Пашеньке взял Вереда в няни Китовну, а на десятинах оранжереи развел парники. Продавал в большой городской магазин «примёры», и в такой мере отменные, что в лучшей гостинице, когда лакей предлагал

гостю суп «потафью», то для весу добавлял: «Из парников самой Вереды-с».

И образовалась на «Фонарике» жизнь по огородному календарю, с благодатным процветанием овощей. Дышали отличным все воздухом, свободные, не городские, не деревенские. Для ноги у дядько хранился в шкафу первосортный английский протез. Он протеза того не любил, но по твердому настоянию Китовны все же надевал в двунадесятые праздники, чем сначала пугал, а потом радовал Пашеньку. В дни табельные дядько Вереда носил самодельную колотушку, любимую им за легкость. При ходьбе колотушка стучала: тук-тук, за что Пашенька звала ее «дятел».

Сейчас в присыпанной снегом, еще мягкой от опавшего листа тропинке, по которой шли под руку дядько и Пашенька, привычного дятла колотушка не выбивала и ничто не отвлекало внимания от той речи, которую ей надумал держать Вереда, да все не умел приступить. Наудачу пошел случай с селезнем.

— Вот именно редкостный факт с простою домашнею птицею, факт, наводящий на размышление, — наконец вымолвил, скрывая волнение, Вереда. — Представь, милый друг, я читал у некоего ученого, что подобные случаи несчастной любви в царстве животных случаются и являют собою начало индивидуализма. Каково? И подумать: из-за чего именно человек над зверями кичится? Однако, друг мой Пашенька, чувства сии в жизни юной, выходящей, так сказать, на арену...

— Зарапортовались, дядько. Никак конкуренция с Китовной? — засмеялась Пашенька. — Она селезня учит, как надо любить, а вы уж меня.

Дядько Вереда врылся в песок деревянной ногой, поднял к небу костыль, как жезл патриарший, и торжественно провещал:

— Параскева, названая дочь. Я тебе одновременно и мать и отец, а посему предупреждаю: от обстоятельства любви в твои годы произойти могут прегорькие сердечные аварии. То, что зовется «любовью», настигает каждого в дни его юности. Закон природы как всякий иной. Случай же с Яшкой, узаконив в некотором роде беззаконие, одновременно разъясняет, сколь много по этому поводу нагорожено зря и стихами и прозою. Ибо при здравом рассуждении выходит: что Яшка-селезень, что бедный Вертер, — одна примусия.

— Ой, дядько... — смеялась Пашенька, и метались черные кудерьки, — дядько, куды ж це вы гнете?

— Серденько мое, — сказал, бросив всякую дипломатию, Вереда, — брось ты возню со скаженным Дмитрием Десницким и выходи замуж за простого, хорошего парня, уж он месяц у нас, и я его всячески досмотрел — ей-богу, ладный. А Дмитрий доведет тебя до каторжных работ, чует сердце мое. Дай мне, старому псу, покойный конец; благо парень добрый нам встретился, по судьбе не чужой, и брат-доктор стоит за него...

— Неужто за Кузьму? — И лицо Пашеньки изобразило такое выражение, как примерно у охотника, когда дичь попала в его хитрый капкан.

Но дядько не видал лица Пашеньки, ему от чувств в глаза вступили слезы, и, прижимая к устам ее маленькую ручку, сказал:

— За Кузьму, серденько, за Кузьму... Ты сирота — он сирота. Вас сам бог повенчал. А что Китовна в церквах за это дело свечей понаставила!

Пашенька моргнула ресницами, как углем обводившими серые глаза ее, и нараспев, будто в украинской труппе играла «панночку», сказала:

— Ну и дядько, по сжатому жнец... Да мы с Кузьмой это дело намедни сами решили, так что недели через две думаем и в Москву.

— В Ма-аскву? — Дядько отшатнулся и всей тяжестью на костыль. Пашенька ж сдвинула брови, махнула ручкой — дескать, уж все заодно, одним махом:

— Дядько, послушайте. Сейчас мы жениться не станем, сперва проживем зиму в Москве, я у подруги, Кузьма у своих, оба будем учиться, присмотримся. Не вся ж наука ваш Яшка-селезень? Понравиться мало — надо узнать. А мы всего месяц как вместе. Дядько, отпустите меня с Кузьмой, весной вернемся, ожените сами.

— Дай, Пашенька, срок. Це треба обмозговаты.

Дядько, стараясь покрыть волнение, поцеловав Пашеньку, проковылял на свой хутор, а Пашенька пошла далеко, вдоль по снежной дорожке.

Сейчас за воротами хутора безмерный шел кругозор. Далеко направо золотел главами монастырь Ионы, куда, рассердясь на прозорливого старца, не водила Китовна Пашеньку. Старец, вишь, сказал, обходя богомольцев, Китовне: «Фельдфебель ты, мать, а не баба». Все засмеялись, а старуха в обиду, хоть и знала сама, что военная.

Вспомнила Пашенька, улыбнулась монастырю — ведь в последний раз смотрела, прощаясь с местами, где выросла.

По другую сторону бегут холмы и овраги. По краям овражьим лежат в несметном количестве псы, они

питаются отбросами с бойни. Кличка им: убойные или саперные псы.

Своевольная выросла Пашенька в этих безбрежных просторах, в этих зимой снежных, летом песочных холмах с ярко-зелеными оазисами глубочайших оврагов. А когда снег выпадал, холмы были ослепительно белы, как расколотая гора сахара рафинада.

Белое, голубое, золотое. В этой смене милых цветов проходили мечты, проходили годы. И не оглянулась Пашенька — гимназия окончена. А что дальше? Да разве это для Пашеньки обыкновенный, крепким бытом намеченный девичий путь? Проморгал за своими примерами дядько Вереда, промолила за долгими службами няня Китовна спокойную долю своего «серденька». Еще подростком, с огражденной проторенной колеи, как степной жеребенок, ушла Пашенька в вольную степь...

И на их южный торговый город Кровавое воскресенье накинуло свою красную тень. Сейчас же после событий на «Потемкине» в городе даже лохматые ученики рисовальной школы с ушедшими в пространство взорами, даже нотариус с весом и белым жилетом — все были настроены революционно. Ученики, кроме этюдов, проносили прокламации. Нотариус, из протеста против русификации края, стал выступать публично с одними украинскими думками. У всех читающих дам города на столиках, в красном переплете, возник томик революционных стихов, а безусые литераторы наперерыв приносили в редакцию прескверные переводы с французского.

Агашин, приехавший из Петербурга чиновник, с масонским кольцом на указательном пальце, обежал все

салоны и божился, что недавняя «Прекрасная Дама», воспетая знаменитым поэтом и только что вошедшая в моду, уже воспевается как дама легкого поведения, потому что близится конец мира, потому что всеми по-новому прочтен «Невский проспект» Гоголя, потому что мистический цветок «магов», гелиотроп, перешел в твердо коричневый цвет строительства. Иначе говоря, журналу «Новый путь» пришли на смену «Вопросы жизни».

Сиреневая обложка журнала «Новый путь» символизировала настроение туманных бездн и формулу «tabula smaragdina»: «небо вверху — небо внизу». Коричневые же книжки «Вопросов жизни» были кирпичами строителей, наметивших «ренессанс культуры».

Провинция, провинция...

Шла война, гибли броненосцы, бастовали рабочие, а в только что нарождавшемся кружке «Восточного посвящения» велись дебаты о том, как надо жить: «на зеленой звезде над землей», или принять формулу — создание здешней земной культуры на почве обыкновенного религиозного сознания. Еще говорили в кружках о том, что необходимо, дабы не тормозить эволюцию мира, а в частности России, всю жестокость, все ошибки века ушедшего, как Атлант земной шар, взять на собственные плечи и переживать их будто следствие биографии личной. У англичанки мисс Кэт на ноге открылась рана, и она, принимая ее как кару за притеснение индусов и войну русских с Японией, совершенно не лечила, чем вызывала благоговение «членов». Наконец на одном из заседаний вместе с заграничным проповедником, находящимся под особым покровительством «учителей», все явственно услышали звуки

«сфер», подобные грохоту неописуемой высоты водопада. И хотя умы, низко настроенные, сказали, что то, вероятно, рухнула балка под крышей, умы, настроенные пифагорейски, объявили, что, сколько бы балок ни рухнуло, их падение — чистейший символизм и лишь отражает на нашем плане крушение старого века. И, став на средину, все взялись за руки и сказали «Correspondances» Бодлера.

Пашенька бывала на этих собраниях у матери одной гимназической подруги, и, совсем будто не к месту, вот именно благодаря этим посещениям, возникло ее знакомство с тем Дмитрием Десницким, которого так боялся дядько Вереда.

На вышеописанном вечере, после того как с особой значительностью были сказаны «Correspondances», проводить стал учитель словесности параллели о том, как и кто из писателей отразил в «проявленном мир непроявленный». Вставали и цитировали в виде иллюстраций кто Брюсова, кто Бальмонта, кто, тяжко вздохнув, вдруг выбрасывал: «Ах, мы живем в эпоху, подобную первым векам!»

И спорили в углу: не нашему поколению принять Завет Третий, наше приуготовительное, наше — Предтеча.

— Ах, что вы, Анна Леонтьевна, мы приуготовлены, мы и примем.

И новые споры: наш Рожковский или не наш?

И резолюция: наш, но вне круга, он экзотерик, он пророк бессознательный.

И как показательно, что он любит рисовую кашу...

И председательша: «Все наши, кто под сенью белого братства! Но приготовьтесь: карма страны ляжет

только на нас, только на зрячих. Мы переживем события в духе, они как меч пронзят наше сердце много раньше, нежели история их отметит. Надвигаются сроки».

И все:

— Сроки на-дви-ну-лись.

— А знаете вы...

Но резко прорезал экстазные речи чей-то голос, молодой и до визга взволнованный:

— Довольно разговоров! Подавайте дела!

Секретарь не смутился, и когда говоривший, юноша еще безусый, в черной сатиновой рубашке, от волнения запнулся и умолк, он любезно ему поклонился поклоном сообщника и сказал:

— Ну да, разговаривать больше не о чем. Надо выходить и бороться кто чем, выбор громаден — от драгоценных камней, которые носить с тайным знанием — значит чистить атмосферу, до убийственных браунингов.

Юноша в черной рубашке, ломая пальцы, от смущения встал и сказал резко, как будто толкался в толпе, спеша к выходу:

— Вам покажется грубостью, ну, пускай, мне вы тоже кажетесь грубейшими в свете людьми, несмотря на все ваши тонкости. Коротко говоря — вот вы здесь в белых платьях, в драгоценных камнях, и все о спасении человечества и черт знает о чем... словом, если себя уважаете, жертвуйте ваши камни на забастовщиков. Переполнены тюрьмы. Да, жертвуйте или молчите.

Дама-председательница, высокая, с седыми кудрями, с глазами огромно-сияющими, порывисто сказала, чуть гакая, потому что была из Полтавщины:

— Голубонько, спасибочки, то-то гляжу — ваша гаура така блакитна.

— Голубая аура, которую у вас увидала ясновидящая, — признак чистоты вашего духа, — в почтительной радости возвестил секретарь.

Председательница развела белые руки с нежным укором:

— Не браните драгоценные камни, серденько: изумруд, сапфир, алмаз — да они же чистят атмо́сферу! Их световые флюиды помогают эволюции нашей земли.

— Пусть лучше помогут они нам купить браунинги, — пробурчал юноша и, красный до слез, вышел вон.

Пашенька не первый раз была здесь, стояла у стены, бледнея и молча. Она знала, что не так все это, ах, не так и не то. А что то? И где оно? Куда же снести и отдать свою силу? Только жить больше нельзя было и ждать...

Пашенька догнала нашумевшего юношу на улице и спросила:

— Куда надо принести вам деньги и вещи? И как ваше имя?

Он посмотрел на нее, минуту подумал и сказал:

— Имя мое Абрам Рут, — и дал адрес.

Назавтра Пашенька была в указанном месте в указанный час. И немало она изумилась, когда расписку в получении на «Красный Крест» выдал ей Дмитрий Десницкий.

Ну разве мыслимо, скажем, — до японской войны, чтобы в саперных войсках были такие поручики, как Дмитрий Десницкий?

Хотя по виду саперная жизнь шла все так же: караулы, занятия, обеды ротные и полковые, но вот после

обеда было иначе. Бывало, поручика Шипкина бросали на край длинных, покоем составленных столов, и поручик, как балерина, плясал на белой скатерти, не задевая бутылок.

После же 9-го января в конце первого батальонного праздника капитан Мокиенко, не мальчишка какой, командир роты, и вовсе не пьяный, поднял бокал: *за окончание позорной войны!* И тут же бац — застрелился. Повернули, конечно, будто он с пьяных глаз, однако все-таки, все-таки...

И еще были случаи. Входили болезненно новые идеи, и столь же болезненно уходили старые кровные о «чести офицера». В офицерском собрании другой, тоже капитан, упившись, скомандовал шашкой оркестру, и покажись ему, что капельмейстер нарочно затягивал темп. Подбежал, шашкой рраз — полголовы. Дело замяли. Просидел что-то с месяц на гауптвахте. Но, судимый судом товарищей, уже не был оправдан. И принужден был уйти из батальона.

В офицерском же собрании танцевали по-старому, играли в карты; в далекой гостиной висел голубой фонарь. Фонарь создавал лунный свет, почему здесь преимущественно назначали свидания дородные краснощекие помещицы из-под Конотопа.

Впрочем, здесь же, в собрании, договаривались окончательно и Пашенька с Дмитрием Десницким, саперным подпоручиком. Со стороны на них смотреть: шепчутся, как и все, о взаимной любви, конечно. И вот нет же, о любви не было ни слова, хотя сама любовь, может, чуть-чуть и была.

Чем дался Пашеньке Десницкий? Высокий, очень молоденький, — ничего особого. Но при внимании кое-

чем поражал. Да хоть бы уж тем, что ни одного ненужного слова не слетало с уст его, еще пушистых, не обцелованных, не прокуренных, с той линией четко-извилистой, которой вычерчен в альбомах бабушек неизбежный лук Амура.

Дмитрий Десницкий не танцевал, не играл в карты, но и не готовился в академию, что одно могло бы товарищей примирить с его скромностью. Дмитрию Десницкому было не до академии. Он вместе с немногими товарищами подготовлял восстание в инженерных войсках.

А вчера, вот в этом глубоком овраге, поросшем колючей ожиной, где стоит сейчас Пашенька, они с Дмитрием порешили: ей ехать в Москву, будто на курсы, а между тем готовить место, куда бы после «дела» укрыться участникам. Ломали голову, как сказать о Москве, не возбудив подозрений дядька Вереды, как вдруг сам он подсказал умненько все дело своим сватовством.

— Пашенька, здравствуй. — Кузьма неслышно, по мягкому подошел из-за оврага и стегнул легонько ее по плечу большеголовым, уцелевшим с осени будяком.

— Кузьма!

Был он в рыжей свитке, подхваченной красным поясом, в смазных сапогах, в высокой запорожской шапке.

— Что вырядился? С гончарами приехал чи с салом из Нежина? — ухмыльнулась Пашенька, поднимая глаза на высокого, широкого в плечах человека.

— Примеряюсь, как будет лучше; а если с гримом, так и вовсе не узнать.

— Ай да Кузьма. А дядька нашего как задурил?..

— Дядько Вереда думает, что я благопристойнейший парень и унаследую хирургический кабинет и всю практику доктора, не так ли? Ну и ветрище! Неужто ты, Пашенька, не зазябла?

И, взяв Пашенькины ручки в свои, Кузьма стал отогревать их дыханием. Отогревая, целовал.

Пашенька, вспомнив, о чем надо говорить ей с Кузьмой, вдруг смешалась, выдернула руки и, не подымая глаз, сказала:

— Пойдем к хутору, дядько ждет. Вообрази, он сегодня тебя сватать мне вздумал, а я и скажи, что мы уже сами до того домекнулись, только свадьбы сейчас не хотим, отложим до осени. А сейчас мне с тобой надо ехать в Москву, там будем учиться, друг к дружке присматриваться. Дядько поверил, да не дюже. Надо тебе самому подтвердить и вообще тон держать в соответствии, как жених.

— Пашенька, да мне и невесты б другой не искать. Пусть будет как в книжке. Как по-писаному хоть бы раз в жизни, в угоду обоим Вередам, — улыбался Кузьма.

— Молчи, молчи! — крикнула Пашенька. — Я тебе невестой могу быть для дядька, для няни, сам знаешь... — а что — и не кончила.

— Ну, и знаю...

Молчали. За воротами взялись под руку и пришли к самому дому, где на крыльце облобызали их троекратно с сердечными поздравлениями и дядько Вереда и няня Китовна.

— Чур, наше дело в секрете держать, дядько, не расхвастайте до срока! — крикнула строго Пашенька и ушла к себе в комнату.

А к Вереде приехал на полковых дрожках приятель его, моложавый и дурашливый капитан Грузовой, одного полка, имевшего на фуражке не иной какой, а черный околыш. С этим капитаном дядько, по секрету признавшись, что в доме помолвка, выпил в столовой две бутылки отличного каберне, и капитан перешел на свою любимую тему — похвалу столпу государства Сергею Юльевичу. Говоря о нем, капитан смаковал слова, как вино, и сюсюкал:

— Акт портсмутского договора сдан на хранение в государственный архив. Вообразите, папка темной кожи с небольшим золотым тиснением, и в ней два текста: французский и аглицкий. Тетради сшиты, как у барышень, голубой ленточкой. На растянутых ее концах печати и подписи: барон Комура — Витте.

— Скоро граф будет, чего доброго!

— Граф Витте-с! Каково?

Капитан с черным околышем, почитая Витте превеликим жуликом, залился восторженным смехом. В дверь глянула Пашенька и кинула с гневом:

— Чем хохотать, лучше б прикинули, во что обошлась ваша мирная папка с золотым тиснением? Содержание армии, погибшие суда — *миллиард двести миллионов!* А убитых, увечных?

И, не кончив, она хлопнула дверью и ушла.

— Какова? Точнейшими цифрами кроет, — восхищенно шепнул Вереде капитан.

— Все это его наука, — сказал мрачно Вереда и с ненавистью выдавил: — Будет знать меня Дмитрий Десницкий.

IV. КАЗАРМА

При въезде в древнюю часть города, с лаврой, с угодниками, с широким Днепром, где кричали когда-то славяне навеки нырнувшему идолу: «Выдыбай!» — полукруглая крепость-казарма.

Не часты окна, узки, как бойницы, прорезаны в толстой стене. В стекла настойчиво и раздельно дробит первая снежная крупа.

Волнение в казарме. На койке рядового Ткаченки, на скамьях, вокруг на столах всё свои, да и чужих рот солдаты. Читает Ткаченко газету негромко, с опаской, все еще не веря глазам, что такое вот напечатано. И, затаив дыхание, приставив ладони к ушам, ловят каждое слово солдаты. Еще бы не ловить? О своем ведь, о кровном...

В газете приведена целиком претензия одной крепостной артиллерии, предъявленная ей по начальству. Уже не впервой перечисляет сегодня Ткаченко все пункты претензии, а солдаты, выучив их наизусть, всё так же вот слушают, пока не прорвет их ревом «ура!»

Как заблудшие ночью в лесу вдруг увидят с рассветом, что чащи нет никакой, что до дома рукой им подать, — и обрадованы и смущены слушатели, когда Ткаченко, гордясь, будто все выдумал сам, бросает, как команду, пункт за пунктом претензии: «о вежливом обращении, о лучшей пище...»

В самом деле: в обыкновенной газете, купленной за пятак, вдруг увидел солдат напечатанным все то, что каждый давно и мучительно знал про себя, что шептал в пересудах с ближайшими. И рождалась в сознании,

еще не выговариваясь до конца, новая мысль: значит, дозволено...

В этой роте, стоявшей в старой крепости, кроме обычной казарменной, была особая, своя тягота. Постороннему глазу почти вздорная, но в каждом дне жизни унизительная. Из-за нее, с этой именно роты все и началось.

Своей кухни в крепости не было, приходилось ходить в чужие казармы, где часто ужина на всех не хватало. И смеялись над голодными — «бестрапезники». Было так и сейчас: солдаты вернулись с пустыми манерками, без каши и щей, злые от голода и обиды. Когда отругались вовсю, сказал фельдфебель Гуцалый:

— Скот хороший, и тот лучше вас берегут!

А из-за газеты Ткаченко:

— Як на убой скотыну ведуть, то не дюже и с ею милуются, а солдат что баран — дай срок, пустят всех в перегной.

И заорал с гармошкой Стегно:

С Порт-Артуром попрощался,
Получив большущий нос...

Ткаченко выхватил из-за сапога прокламацию, прыгнул на скамью говорить. Зацыкали на гармонию. Подступили к столу ближние, а дальние, склонив голову набок, как аист в гнезде, заложили за ухо ладонь — не дохнут. Одна крупа в стекло, как дробинки.

— Товарищи, — возгласил Ткаченко, держа в руках прокламацию, — вот дошли ж наконец и до нас вполне соответствующие солдатскому положению речи. Не проповедь, конечно, попа или слова, какие начальству

нужны, а именно речи, примерно как шомпол старинное ружье, прочищающие мозги.

И Ткаченко стал читать прокламацию «к запасным»:

— «Солдаты! Самовластное правительство опирается на войско, которое покрывает все его злодеяния и преступления. Не будь войско на стороне правительства, давно бы была у нас свобода...»

Иной солдат слушал, сразу волнуясь от каждого слова, другой — крепкий хозяин, с недоверием к «агитации» — ворчал:

— Зря наворочено, зря — всякому государству войско есть нужное. Не тут проруха, не тут...

Но когда Ткаченко стал читать о «бессмысленной войне», в которую из своих расчетов «кучка негодяев втянула Россию», сгубила флот, губит войска, — ропот гулом ударил в темные своды и тяжкой волной покатил в коридор. Тогда Ткаченко, с трудом покрывая всех голосом, огласил самую зажигательную весть о последних событиях в Москве:

— «Недавно запасные с вокзала отправились в лавки на покупку продуктов; полиция их не пускала. Завязалась драка, вызвали солдат и приказали стрелять им в мирную толпу запасных. И солдаты убивали запасных, потому что так приказало начальство».

Оборвали. От обиды не могли больше слушать, закричали:

— По своим не станем стрелять! Чего ждать нам еще! Сами начнем! Да хоть вот сейчас...

— Аника-воин с тупым штыком...

— И топорами возьмем!

— Облютели.

— Тише вы, — заорал Ткаченко, — чай, не кабак! Когда облютели, так договоримся уж до чего надо, а то наораться, што ль, на голодное брюхо да крепостную претензию одним храпом своим поддержать?

Вмиг замолкли. Без уговора, само собой, вдруг наибольшим стал Ткаченко. Все на него — ждут.

— Как у вас с нелегашкой? Водится? — спросил хитрый Ткаченко солдат, подошедших из чужих рот.

— Водится нелегашка, — любовно осклабились солдаты, как охотники, набившие до отказа тетеревей, — как не водиться ей, водится.

— В последний промежуток времени особливо успевают два ее вида, — сказал первый солдат, — вот это ваше, именно: «Запасным», и еще другая — «Мочидлоберова Иосифа письмо». Последнее с собой прихватил — может, у вас кто и не знает?

— Хоть и знают, освежить память не вредно, — сказал Ткаченко, — «солдатскую памятку» небось годами долбят.

— Мочидлоберова Иосифа наизусть знаем, — вздохнул Стегно, — преплачевная история, бабы и те письмом его ужахаются и белугою ревут.

— На погромы сейчас ни одну часть не сдвинуть, — сказал Гуцалый. — Против еврея строчат, а вот, между прочим, он за русских жизнь поскончал.

— Товарищи! — Ткаченко воздел над головою руку с листком. — Товарищи, мы сами вот-вот очутимся в плачевном и вполне непоправимом положении Иосифа Мочидлоберова, не вредно посему, как напутствие духу твердости, вспомянуть это дело; вот прослушайте!

Ткаченко развернул листовку, выпущенную на днях Комитетом, и прочел:

— «Солдат Иосиф Мочидлобер не мог помешать делу расстрела матросов «Потемкина» солдатами феодосийского гарнизона, совершенному по приказу командира. Предательски был отдан этот приказ, когда не подозревавшие злого умысла матросы подъезжали к берегу за обещанною провизиею. Один солдат не мог пережить спокойно совершенного преступления. Бессильный помешать ему, он решился протестовать, отдав свою жизнь палачу. Он покушался перед фронтом убить командира полка. Мочидлобер судился военным судом, он присужден к смерти».

Ткаченко опустил листовку и торжественно возвестил:

— Над героем за свободу, Иосифом Мочидлоберовым, приговор приведен в исполнение; почтим героя!

Кто сидел — встали. Голос сказал:

— Ткаченко, прочтите из письма его от слов: «не поддамся на удочку кровожадных тиранов».

И тотчас Ткаченко продолжал наизусть:

— «...и останусь верным своим братьям и сестрам до тех пор, пока канат не стянет мою шею. Я не допущу, чтобы плевали в наш идеал. Пускай они видят, как он силен. Они нас не загоняют своими шашками и ружьями, они нас не испугают своими тираническими измышлениями. Я пойду с пением к смерти. Я теперь только понял, в каком подлом мире мы живем! Благодарю природу, что мне было суждено защищать своих братьев и сестер. Прощайте, прощайте».

— Вот именно в подлом мире мы живем, — сказал Гуцалый. — Вчера фельдфебель Лавриков молодых обучал, ну, обычное — кто враг твой внешний, кто унутренний. — Да брось, говорю, брось: такого-то

«унутреннего» намедни за тебя повесили. Сам я видел, как ты об нем в нелегашке читал. «Ну что же, что читал, говорит, а потом меня думка взяла: может, как он жид, так ему было выгодно, чтобы его повесили?»

— Образ казненного Мочидлобера вызвал с собой бунт потемкинцев.

Поросья сказал:

— А вот, братцы, намедни матросик один нам довел, как именно товарищ Матюшенко, из самой Румынии, сухопутным войскам говорит: «И где были вы все, товарищи, когда мы и день и ночь бороздили воды Черного бурного моря?»

— Дорогие товарищи, — тотчас с ударением и словами незабываемого им Полищука возгласил Гуцалый, — по причине неподачи своевременной помощи со стороны наших сухопутных войск привелось потемкинцам в самом Черном море потопить всего русского народа именно первый красный флаг! Наша очередь, сухопутные войска, например мы, саперы, дело броненосца продолжить и вознести из глубины моря превыше ихних всех мачт утопленный ими именно красный свободный флаг!

— Уррр...а! — долго гудела казарма, то затихая, то снова взрываясь, еще не умея по-иному, не этим привычным криком разрешать новое, разрывавшее сознание чувство.

Слова, обычно произносимые чужими, штатскими, агитаторами, сказал сейчас свой, уважаемый фельдфебель. Тем самым, через Гуцалого, слова и дела потемкинцев становились делом их, сапер. И когда Ткаченко, крепкий как репа, круглый быстроглазый человек, учтя момент, деловито и невинно сказал:

— А что, братцы, не заявимся ль и мы, как тот крепостной, со своею претензией?

Все как один ответили:

— Заявляем претензию! Круче их тесто замесим! Валяй, Ткаченко: *долой позорную войну!*

Обычная, выработанная «вольными» формулировка политических требований, которые лишь по настоянию ораторов солдаты нехотя присоединяли к своим ближайшим жизненным требованиям, выступая на тайных митингах, сейчас в их сознании стала вдруг рядом с их кровными, и наперерыв закричали Ткаченке:

— Требуем всенародного управления!

— Жирным ставь, требуем!

— Довольно битым мясом в Маньчжурии протухать. Ей, Стегно!

И Стегно без гармошки, одной могучей басистой мощью, а за ним следом кто чем — вся казарма общей глоткой грянула:

> Братья, поверьте, победа за нами,
> Правда, как солнце, сильна...

Всколыхнулась казарма. Под большой висячей лампой, перед Гуцалым, явился белый лист, и, водя пером, проставлял он лихим писарским почерком претензию за претензией: § 1, § 2, § 3.

И кричали из ближних, из дальних рядов, из-под темных сводчатых коридоров, вперебивку с требованием учредительного собрания: об одеже, о пустых щах, о судках для развозки пищи в караул, о том, чтобы караульным не пропускать банные дни.

Мелочь, подробности, пустяки?

Нет, обида большая и древняя, как древне насилие человека над человеком. Под косноязычным бормотанием о мешке, о бадье — было восстание личности, были первые проблески достоинства гражданина.

И вот уже между претензией кухонной и мелконасущной вклиняется грозное: «А командира роты желаем сменить!»

Написал Гуцалый и повторил членораздельно и торжественно, как возвещение первого боя: «А командира роты сменить!»

Сорвался с вершины, растет и катится снежный ком, не удержать его. И вдруг один голос, потом много, потом все:

— Командира сюда-а!

В казармах не было командира. Пришел бледный как мел дежурный офицер-поручик. Он был толстовец, не ругался, не прижимал, против него ничего не имели, только дали ему кличку «Сопля». Он убеждал с командиром подождать до утра, а ему в ответ:

— Высморкай нос! Командира сюда-а!

Пробила полночь. Рота все еще не спала. Тщетно увещевали разумные сверхсрочные, помня слова агитаторов, что отложить надо бунт, пока не сорганизуются все войска:

— Одним не победить!

Кричали:

— Одни и не будем!

— За военно-телеграфной встанет артиллерия!

— За артиллерией — вся пехота!

В казарму влетел вольноопределяющийся Рут, глаза, как угли, на снежно-белом лице. Он вспрыгнул на стол, будто литаврами забил двумя печными вьюшками

друг о друга и, пользуясь мгновенным затишьем, охрипшим от митингов голосом закричал:

— Партия не одобряет!.. Партия хочет совместного выступления войск с пролетариатом... От имени партии требую ли-кви-да-ции авантюры!

— Поздно, товарищ Рут, — спокойно сказал Ткаченко. — Поздно требуешь. Мы вытребовали к себе командира.

Рут пытался еще говорить — его не слыхали.

Ни одно слово уже не доходило до сознания солдат. Они были пьяны собою, пьяны тем, что — посмели.

Перепуганный дежурный офицер разыскал командира на другом конце города, на именинах. Командир играл в винт, ему шла карта, и он долго ворчал, не желая ехать в казарму, отечески бранил поручика-толстовца за то, что тот раздул муху в слона.

Но поручик напомнил о том, что уже было с командирами в Севастополе и Свеаборге, и побледневшие хозяева сами послали скорей за извозчиком.

На свежем воздухе хмель выскочил из головы командира, и чем ближе к казармам, тем настойчивее он твердил:

— Нет, уж я в роту, слуга покорный, ни за что не войду. Вы мне пришлите от них депутатов в дежурную комнату.

Командир, приземистый, не злой и не добрый, был из той военной семьи, где не могло быть влияний иных, кроме военных. В лучшем своем выражении предки были «отцами-командирами», а правнуки измельчали, разоренные, жили «двадцатым» числом и, трепеща инспекторских смотров, стали холодными формалистами.

У Копылова к тому же нрав был угрюмый, без привета и веселой шутки. Грубо он не ругал, но за каждый пустяк гнал «под ружье» и в дневальство. Солдаты его ненавидели. У солдат, как у всех взрослых, оторванных от семьи в насильственное объединение людей, чувствительность обострялась до нежности. Солдат в роте ребенок: так, даже в эти дни последнего напряжения пред грозой, среди тайных митингов, добычи оружия, прокламаций — солдаты этой роты выбрали время разбежаться по городу в поисках за пропавшим ротным любимцем — козлом Капитонычем. Обрели его на окраине и в торжественной встрече нагрузили допьяна водкой.

Так что то обстоятельство, что командир, входя по утрам, не здоровался, занесено было Гуцалым, по требованию всей роты, в особый параграф обвинения.

Приехав в казармы, Копылов немедленно заперся в дежурной комнате, послав офицера звать к себе депутатов.

Напряжение солдат было так велико, дело их так рискованно, что, войди к ним командир хоть бы с бешеной матерщиной, — он мог бы еще победить. Но появление сконфуженного «Сопли» с отменно вежливой просьбой прислать депутатов в дежурную вызвало смех и крики по адресу командира:

— Струсил, бурдюк!

— Дери, ребята, нос выше!

И, не стесняясь нимало дежурного поручика, кричала рота в напутствие своим депутатам:

— А прихватили б, братцы, капелек командиру от живота!

Гуцалый прервал смех. Он торжественно поднял руки, как бы благословляя роту иконой, и во всю грудь возгласил:

— Товарищи, зачинается! Из вод Черного моря возносим именно мы, N-я рота, наш русский красный флаг!

— Рррр-а... — ворвалось к командиру вслед за депутатами, переступившими порог дежурной комнаты.

Командир стоял к дверям спиной и, вглядываясь из окна в огоньки, мерцавшие кое-где в тополях, машинально определял, на каких они могут быть улицах. Он уже оценил всю серьезность своего положения и, перебрав в уме устрашающие события недавних месяцев, решил, что невозмутимость будет лучше всего. Он готовился выслушать солдат без гнева и обещать им все устроить. Главным же образом, всю «историю» сразу замять и отнюдь не выводить ее из стен казармы.

Но едва командир обернулся и увидал двух «депутатов», стоявших «вольно», без тени смущения, он пришел сразу в бешенство, закричал:

— Изложить дело!

Один из депутатов прочел по бумажке, ссылаясь на напечатанное в газете заявление крепостной артиллерии, только что написанные Гуцалым требования. Окончив, не повышая голоса, в унисон заявили солдаты:

— Так что рота вас, ваше благородие, желают сместить!

— На колени! — заревел без всякого смысла, теряя самообладание, командир. Он схватил за шиворот ближайшего солдата и вне себя выхватил револьвер. Дежурный офицер едва успел, подскочив, оттянуть его за руку.

Командир опомнился. Еще багровый от гнева, крикнул:

— Под арест!

Депутаты не двигались. «Дозорные» отбежали от дверей в казармы с докладом. И тотчас в казарме поднялся ад: громыхали лавками о столы, били вьюшкой о вьюшку, люлюкали, выли; вставив два пальца в рот, глушили разбойным свистом.

Древняя крепость с столетними стенами, видавшая и татар и поляков, в этот поздний час непривычно сверкая огнями своих редких глазниц, была как наваждение в тумане, наползавшем из глубоких яров.

— Они бунтуют, бунтуют... — шептал командир, из багрового делаясь белым. Он схватился за больное сердце и стал думать только о том, чтобы сейчас ему не умереть. Офицер прошептал ему что-то. Он не понял. Тогда офицер вышел и крикнул самовольно в коридоры:

— Командир на первый раз всех прощает, претензии будут приняты к сведению и доложены. Расходитесь все спать!

Командир наконец пришел в себя, все понял и, пытаясь спасти положение, сказал депутатам:

— Ну, чего вы стоите? Слыхали — я прощаю. Марш спать!

Солдаты расхохотались ему в лицо и ушли.

Командир уехал домой. Офицер, уже не убеждая ложиться спать, сам свалился в бессилии на диван. А солдатам какой сон? Солдаты малевали огромный «фирман». Сверху вывели: от такой-то роты командиру такому-то, снизу подписали подслушанный дозорными яростный возглас: «На колени!»

Посреди намалеваны маляром были двое малых с здоровенными кулаками. Держа их за шиворот, от натуги, как петух, взлетел в небо очень похожий на себя командир, развеяв фалды мундира.

Кто-то вспомнил о пьяном козле Капитоныче. Притащили его из конюшни, маляр промазал ему рога лаком марданом и оставшимся от ротного праздника сусальным золотом на совесть вызолотил их.

— Кумпол у Капитоныча самостоятельный; заместо попа впереди роты пойдет! В бой поведет. Урр-а, Капитоныч!

И, взяв за передние лапы еще нетрезвого, мутноглазого козла, солдаты кружили его перед фирманом.

Смех, гармоника, чехарда, песни, пляс...

Поработал на солдата интендантский без греха,
Хороши наши ребята, только славушка плоха — э-ух!

Под этот гром Дмитрий Десницкий быстрым шагом вошел в казармы. Дойдя до гармониста, он остановился, но не сказал ничего, лишь окинул всех необычно блеснувшими яркими глазами. Все стихли. Сконфуженно брызнули в задние ряды плясуны, бросив козла. Капитоныч, разбрыкавшись, один продолжал прыгать, бодая стену золотыми крутыми рогами.

— Мы это для роздыху, Дмитрий Федорыч, — сконфуженно доложил Гуцалый, — не беспокойтесь, дурь с делом в одно не собьем! Вот извольте проверить претензию. — И он подал Десницкому вчетверо сложенный лист.

Было безмолвно. За минуту ребячьи лица солдат, сейчас без улыбки, были бледны и испуганы. Едва вошел Десницкий, твердый, подтянутый, в парадной

форме, как на инспекторский смотр, все поняли, что свершено непоправимое, что безумная эта ночь — *ночь восстания.*

Еще поняли: Десницкий, с ним бледный юноша, вольноопределяющийся Рут, и еще два-три молодых офицера — пока *весь их оплот,* все их руководство против многих тысяч не нарушивших *присяги* солдат.

Прочно обученные в любой миг вызывать в памяти цифры «Памятки», солдаты невольно прикидывали сейчас в этих цифрах: какая они ничтожная горсть и как несметны враждебные силы... Многие побледнели до зелени, все тесно сплотились вокруг Десницкого.

Помертвев от отчаяния, вымолвил Рут:

— Предупреждал я: войска с заводами не сорганизованы.

Его прервал Десницкий, уже спокойный, как обычно:

— Дело сделав, назад не глядят. Товарищи, не робейте! Кто свой, тот примкнет и сейчас. Одно помнить вам: назад нет пути!

В подкрепление Десницкому — ликующий голос из коридора возвестил:

— Ваше благородие, из третьей роты и из четвертой пришли. Желательно с нами...

— Уррр-а!..

Обнимались с выборными; показалось мало — стали их качать. Уже светало, когда вольноопределяющийся Рут, вскочив на стол, долго и тщетно упрашивал дать ему слово.

— Опять за партию томить станешь?

— Не дождались, вишь, от твоей партии «посошка» в путь-дорожку!

Но Рут уже не думал удерживать. Он объявил, где именно и когда будет совещание всех восставших частей. И еще сделал предложение Рут: совсем не ходить на обед, чтобы начальство не вздумало отобрать у солдат оружие.

V. НА «ФОНАРИКЕ»

Поздно вечером, после конференции, где решили не только выступать, но выработан был весь маршрут — от казарм к арсеналам, Дмитрий Десницкий, сделав большой обход, направился к «Фонарику» — хутору Вереды.

Он вышел сразу, тем глубоким оврагом, где намедни солдаты заслушались Полищука. Собаки уже наелись на бойне и лежали на обычных местах. Они было подняли лай, но Британ — атаман — вынюхал, что путник знаком, и тявкнул на всех, чтоб молчали. Сам же, отделившись от своры, махая хвостом, пошел вслед за Десницким. Он угадал, что путь офицера лежит на любезный ему хутор, где у пестрой Клюквы зарыты для него отличные кости.

Десницкий потрепал пса по лохматой спине и пропустил вперед на тропинку. Ветер взвихривал снег, мел следы; пес повел его нюхом. У Десницкого все стояло в глазах белое лицо Рута, за последние сутки опавшее до худобы от бессонницы, от последних усилий остановить выступление. Рут горько укорил Десницкого за невмешательство, и сейчас ему надо было беспристрастно решить: прав ли он был?

Живя с солдатами одной жизнью, Десницкий научился, как мать за детей, не мыслью — всем суще-

ством ощущать все за них и с ними. И сейчас он знал наверное — для них слов больше нет, есть действие. Все равно какое, хотя бы безумное. Вот почему ему самому, как и солдатам, стало легче, когда решено было, больше не откладывая, не размышляя, завтра же идти против всех.

Но Десницкий знал еще и то, чего солдаты знать не хотели: он знал, что восстание будет неудачно, что иным сейчас оно быть и не может. И все-таки даже здесь, не на людях, сам с собой, легким свистом призывая Британа, чтобы не отбегал далеко, Десницкий был покоен.

Приход Десницкого в революцию не был результатом исканий истины, ни работой воли — это было как тот внезапный и коренной переворот, который в истории религий зовется «обращением».

Из-под Мукдена вернулся старший брат с ампутацией обеих ног. Лежал в лазарете, подробно рассказывал про войну, день за днем, не ужасаясь, не делая выводов. Когда зажили ноги, попробовал ползать на культяпках. Как-то, глянув потухшими глазами на брата, сказал: «Мать человека в муках рожает, сам в муках растет — и вдруг сокращение: не человек — полчеловека!» Улучил минуту, дополз до ящика, взял револьвер и застрелился. А младший, Дмитрий Десницкий, выйдя из оцепенелого безмолвия, куда повергла его эта смерть, почувствовал вдруг, что линия жизни его перевернута, что отныне, если остается военным, то лишь для того, чтобы превратить и солдата — безвольное пушечное мясо — в хозяина жизни.

Дмитрий, потомок ряда военных, не мудрящих, с крепкой, нерасколотой волей людей, не мыслью — бур-

ным чувством пережил ужасное горе, крушение старого. Но, пережив, как паровоз, переведенный стрелочником, и на новых рельсах за собой мчит вагоны, так и он, с тем же сознанием своей силы и права, как был военным, став революционером, за собой повел солдат.

И солдатам Десницкий был близок. Через его простоту и крепость им стало понятней все новое, что агитаторы приносили в казармы. Солдаты, как дети, уставали от напряжения мысли, они хотели примера. Почти каждый «вольный» оратор говорил им о задачах своей партии, о политике, и лишь в связи с общим упоминал о преимуществах от «переворота» и в их жизни. Вчерашние мужики, себе на уме хозяева, солдаты нередко притворялись дураками, чтобы не попасть впросак. Но то, что Дмитрий Федорович разделяет «программу», было решающим; не мог он такой, каким они его знали, их подвести. Знали, что он с ними вместе умрет, и шли за ним на тайные собрания, из его рук брали прокламации, по ним вели дальнейшую пропаганду.

Быть может, Десницкий был вовсе не умный человек, и это помогло ему быть человеком цельным, но зато он был из тех редких удачников, чья голова удерживает лишь то, что вместить может чувство и, не задумавшись, свершит воля. Вот только Пашенька...

В последнее время ему, как путешественнику, узнавшему, что призвание его идти на открытие неведомых стран, встречи с Пашенькой были ужасны. Она молчала, а он знал, что погубил ее, допустив полюбить себя, когда линия жизни его повернулась, когда

от всего личного нужен отказ. Вот почему сейчас, подойдя к хутору Вереды и стуча условными стуками в дверь коморы, где жил Кузьма, он хотел одного: пусть откроет не Китовна, а сам Кузьма, чтобы не дошло до Пашеньки...

Все так и вышло: не дожидаясь повторного стука, Кузьма, который был уже настороже, открыл немедленно дверь и впустил Десницкого. Пятнистая, клокатая Клюква принимала в своей будке Британа и не побеспокоилась лаять на гостя.

В коморе, где у Вереды поселился Кузьма, было натоплено и светло. Посреди, от пола до потолка, стоял для подпоры огромный кирпичный столб, отчего комната сделалась похожей на сцену. Довершал сходство свет, падавший из-за столба на одну лишь постель. Это Кузьма приспособил, чтобы лежа читать. Еще стоял угловой диван, огромный как квартира. На него сел Десницкий, снял шашку и расстегнул сюртук.

— Можно у тебя до рассвета? — спросил он. — У меня утром здесь дело, а от себя идти — след заметать.

Кузьма спускал на последнее незакрытое окно зеленую штору и, прижавшись к стеклу, считал густой бой с колокольни Ионова монастыря.

— Ровно двенадцать, — сказал он, подавая Десницкому одеяло, — стелись да высыпайся, до рассвета успеешь. А у меня бессонница — пойду бродить под луной, как проклятый.

Однако Кузьма не ушел, а сел рядом с Десницким:

— Ну, что у вас?

Не спеша сказал Десницкий:

— Удержать нельзя, поднялись не спросясь, послезавтра выступаем. Вот принес спрятать...

Он вынул из-за рубашки плотный пакет, дал Кузьме:

— Есть сохранное место дня на три? Нам каждому грозит обыск. Тут, между прочим, последние протоколы и маршрут.

— Полагать надо, это уже «история», — улыбнулся Кузьма.—Как бы ни было, вас «проходить» будут внуки.

— Рут за этим зайдет, запри понадежнее.

— Ничего у меня не запирается, кроме двери, — сказал Кузьма и вдруг, оглядев комнату, догадался — в старую печь.

Он открыл заслонку в печном столбе, подпиравшем потолок.

— Сюда до весны не заглянут, топится новая печь, да и ту топлю сам, уже всех к тому приучил.

Кузьма заложил пакет кирпичами и так крепко захлопнул дверцу, что на железном листе загрохотала отскочившая глина. Потом легко вскочил и стал ходить в задумчивости вдоль окна.

Высокий, плечистый, с русой курчавой головой, в этом армяке, схваченном красным кушаком, похожий на разбойника-ямщика, Кузьма стал перед Десницким и с видимым усилием спросил:

— Хочешь видеть Пашеньку? Проберусь и вызову — никто не услышит.

Десницкий поднял к Кузьме лицо. Сейчас оно не поражало юностью, было устало и бледно. Как давно обдуманную вещь, он тотчас сказал:

— Нет, не зови. И больше того: прошу скрыть от нее, что я был.

— Да ведь, если выступление... — Кузьма запнулся, но, взглянув на невозмутимое лицо Десницкого, вспыхнул и жестко сказал: — ведь тебя убьют или сошлют — конченый будешь человек?

Десницкий слабо покраснел.

— Я и сейчас конченый. А ей жить... Память о последнем прощании — трудная память, она может помешать ей устроить свою жизнь.

Десницкий разделся, обстоятельно расправил на спинке стула сюртук, аккуратно, один к одному, примкнул сапоги и чуть улыбнулся в ответ на перехваченный изумленный взгляд Кузьмы.

— Это по опыту — когда все очень аккуратно, легче вставать. А я уже ночи три почти вовсе не сплю. — Десницкий закрыл глаза.

В белой комнате, с головой на белой подушке, Десницкий показался Кузьме каким-то «мертвым именинником».

— Не живой ты, — тяжко сказал он и стал шагать вдоль по коморе.

Злоба его разрывала: и рад он был, что Пашенька не увидит Десницкого в этом спокойствии накануне смертельной опасности, которое она, конечно, навеки запомнит как героизм, когда, быть может, это всего-навсего — ограниченность «поручика». Но тут же рядом у самого были и невольное восхищение и зависть к этому «поручику».

Молчали. От бойни шел лай. Сперва сердитый, потом затяжной, с жалобой. Свора звала для чего-то своего атамана. Десницкий, по-видимому, спал.

«Вот так просто он и умрет», — с досадой думал Кузьма и, не выдержав, окрикнул:

— Дмитрий!

Засыпавший Десницкий привстал, открыл глаза, чуть кивнул, утверждая вперед, что ему все понятно.

— Ну, о чем хочешь спросить? Спрашивай.

Перед доброй готовностью этого человека, смертельно усталого, которому вот-вот вести в бой людей, Кузьме стало стыдно разводить «психологию», и он спросил только о деле:

— Почему ты не поддержал Рута против солдат, а идешь сам с ними в ногу на верную гибель? Что могут два-три батальона? Зря пропасть.

— Зря гибели не бывает. Наш пример повлечет за собой других, и чья-нибудь будет победа. Слыхал: «и погибнуть в борьбе за победу своего идеала — великое счастье»?

Кузьма поморщился. Ему было оскорбительно, что Десницкий, все-таки необыкновенный человек, которому он в чем-то завидует, которого любит Пашенька, — говорит такие готовые, известные фразы.

Конечно, это очень почтенное чувство, но есть и проблемы мысли...

Десницкий поднялся, протянул Кузьме руку, которую тот слабо пожал, но почему-то не выпустил. Десницкий сказал:

— Я понимаю, чего ты не договариваешь в своем вопросе. Да, для меня проблем мысли нет, потому что самого меня нет. От последнего я отказался, не желая видеть ее... и вот из личной жизни я вынут, я только часть целого. Пойми меня: я больше не я, я — они. Точка расширена в круг. Прости, больше мне нечего сказать.

Десницкий откинулся и выпустил руку Кузьмы. Кузьма надел кожух, потушил лампу и с арапником в руке тихо вышел в сени. Ему почудилось, когда он щелкал в дверях ключом, что кто-то шарахнулся от коморы, что, убегая, прошлепали туфли. Но, открыв входную дверь, он при свете луны уже не увидал никого. Сквозь ставни из окна няни и Пашеньки свет не мерцал. Спали все. Луна, застывшая в радужных кругах, стояла высоко над хутором. На будке пятнистая Клюква, задрав морду, выла в ответ несмолкающей стае. Британа в гостях у нее уже не было.

Опасно человеку, еще не набитому, как портфель бумагами, прочным, внутренним жильцом: убеждением, верой или иной определяющей схемой, — смотреть на луну.

Под луной светит снег собственным светом, и бескрайный земной пейзаж, то холмистый, то овражистый, походит на тот, который предстоит глазу при взгляде в телескоп на луну. Когда отвеяны и воздух и краски, проступает скелет планеты, ее четкая графика.

Если долго глядеть на луну — из быстротекущих мигов, смены впечатлений и чувств проступает неизбежно один лишь железный каркас — *моя мысль*.

У Ионы ударили к ранней. Битым стеклом жидкий дзинькнул звук на покрепчавшем морозе, не поплыл над землей, а разбился коротко и увял. И другой звук и третий — без жизни.

И подумал Кузьма: «Подымаются монахи к ранней, а им хочется спать. И, быть может, одному, са-

мому молодому или самому старому, приходит на ум, что он губит зря или уже погубил свою силу и жизнь. Единственную, неповторимую, свою». И тут же мелькнуло: «Десницкий так и умрет, не пожалеет, хоть и не верит ни в какую иную жизнь, кроме той, которую и не прожил».

Что же, когда со всех углов охватит пожар, какому ветру ни дуть — не задуть. Чувство — огонь, толкающий волю на героизм. Мысль — вихрь взметающий. *Мысль разбивает волю.*

Но жить жизнью чувства — или вечное детство, или редкий талант. Нет, Кузьме свое чувство пронизать надо мыслью и такой скрепить системой, которая, выдержав все возражения, не погнувшись, отстояла бы себя...

И Кузьма устремился к тому, что случилось на днях, важность чего еще во всей мере он не мог осознать. Как факт, казалось бы, пустяк: одна разрешенная лекция малоизвестного ему доселе философа. Однако для мысли его эта лекция была то, что смерть дяди Потапа для решения совести.

Кузьма как-то вечером проходил мимо клуба автомобилистов, куда толпами входили, как ему показалось по лицам, манере, ярким галстукам и булавкам, всё сплошь приказчики галантерейных магазинов с супругами. А на дверях клуба была афиша, ничем решительно не связанная с автомобильным делом. На афише значилось что-то о «Спинозе, свободе и догмате». Из расспросов публика оказалась действительно «галантереей», пришедшей на лекцию «сына нашего хозяина».

Некоторые, пожимая плечами, прибавляли:

— И вовсе он еще не профессор!

— Я бы не умер, если бы не пошел, не будь он сын своего отца!

— Идем на пару часов скуки, — улыбались дамы. — Ну, знаете, ради старого Вюсте-отца, нашего русского «законодателя мод».

— Сын таки неудачный, не к этому перейдет дело!

Кузьма понял, что читать будет молодой Вюсте, о котором он слыхал, еще живя у доктора. О нем читал раздраженные фразы профессоров из толстых журналов, что, взрывая все синтезы, Вюсте проповедует «голое Ничто».

Кузьма вошел с приказчиками галантерейных магазинов. Веселенький зал с фотографиями автомобилей и их хозяев, взявших там-то и там-то призы, мало располагал к философии. Публика, очевидно, пришла из почтения к огромному магазину «Вюсте и сыновья», в совершенной невинности по отношению к Спинозе. Охотно сплетничали, что лектор «новый блудный сын и вроде как сумасшедший». Отовсюду слышалось с пожиманием плеч: «И вовсе он даже не профессор!»

Впрочем, были здесь и знавшие, зачем пришли: студенты духовной академии, профессора, интеллигентные батюшки. Они держались кучками и, касаясь друг друга носами, глубоко уйдя в споры, взрывались цитатами, бросались латынью, церковнославянским и греческим.

В стороне один у стены выделялся бледностью и глазами Абрам Рут. Кузьма взволновался, увидев его.

То, что он знал из биографии Рута, наполняло его уважением, но относило Рута к тому порядку людей, как и Десницкий, — людей, на категорическом чувстве

строивших действие. Только Десницкий всего себя отдал делу солдат, Рут — делу партии. Личной жизни и «проблем» у обоих уж не было.

Вышел Вюсте. Приказчики, подталкивая друг друга, немедленно стали аплодировать. Вюсте побледнел, нахмурился, что-то шепнул распорядителю; распорядитель попросил: «аплодисментами не нарушать...»

— И рады, что не нарушать, в чем дело? — смеялись кругом.

Вюсте, очень высокий и худой, сразу похож был на задумчивого еврея-фурманщика, который в Западном крае возит седока на высокой «беде», помахивая кнутом выше головы лошадей. Но едва он стал говорить, забылся фурманщик, а вспомнился и сам Микеланджело и его тяжкий пророк Иеремия. Голос был глухой, с совершенно особой, волнующей интонацией, которая сразу поразила Кузьму. Вюсте намеренной простотой, какой-то вседневностью звука произносимых слов, казалось, хотел обезвредить, сделать менее жестоким значение того, что говорил. Выходило: будто очень доброму человеку, под давлением неумолимой, роковой силы, надлежит жечь, убивать, отнимать...

И все-таки, вспыхивая и бледнея, то мрачно, то измученно глядя из-под мохнатых бровей, казнясь сам, Вюсте казнил. Своим музыкальным глухим, разбитым голосом он отнимал все у того, кто мог понять его слова, и главное — то, что было между строк. Отнимал веру, надежды, гнал в холод с насиженных даровых мест, заражал своей болью, своей глубиной, своим отвращением к дешевой «осанне». И все это будто о Спинозе, о свободе и догмате; но кто понял — узнал, что все это только о нем самом.

И выходило: «У человека нет ничего; все должен создать себе сам. Но в этом создавании лучше погибнуть, чем взять камень вместо хлеба, категорический императив вместо бога живого, жалкую преходящую «любовь» человека вместо «неба в алмазах», прогресс и курицу в супе правнуков взамен собственного, личного «воскресенья»...

Вюсте, бледный, держась длинными пальцами за черную тесьму, вместо цепочки проползавшую у него по жилету, был как яд, обличающий самозванство брильянтов поддельных, и, не вынеся его правды, ему крикнули уязвленно: «Агностицизм!»

Да, в противоположность Десницкому и Руту: «ничего своего, не я, *а они»* — здесь было все только *«свое»*.

Кузьма невольно оглянулся на Рута, ожидая увидеть на его лице высокомерное презрение. На лице Рута, не следившего за собой среди этих приказчиков с женами, скучавших из профессиональной любезности, была большая мука. А когда опущенные глаза метнулись на говорившего, в них вспыхнул настоящий гнев. Кузьма подумал, что и у Рута сумел что-то отнять этот «энциклопедист» космической революции, как брезгливо назвал Вюсте один доцент.

Сейчас, начав вспоминать, он уже видел в подробности, как, желая после лекции нагнать Рута, попал в гущу студентов духовной академии. Один взволнованно повторял: «Спиноза-то ему фиговый лист», а курсистка, не давая окончить, кричала: «В Спинозе он дилетант! Где его диссертация? Ну, где его диссертация?»

Печально следя за услужливой памятью, Кузьма сбивал арапником уцелевшие с осени будяки, легкие и

колючие. Они, как мячи, упруго прыгали по заиндевевшим кочкам, он их подгонял. Со стороны глянуть — сумасшедший кружится под луной.

Вольноопределяющийся Рут так было и подумал, подымаясь из-за холма хутора, но через минуту узнал и окрикнул Кузьму.

Кузьма изумился и с волнением сказал:

— Абрам Рут, вы сейчас мне самый необходимый человек — и если возникли, как черный пудель перед Фаустом, едва я подумал о вас, то должны меня выслушать и мне ответить.

Рут, не улыбаясь, прервал:

— Но прежде я спрошу вас о деле: где Десницкий?

— Спит, как косец, откосивший свою десятину. Дайте ж ему выспаться — и машинам дают отдых.

Рут посмотрел на часы, сказал:

— Это можно. Однако пойдемте хоть медленно к дому.

Светила луна на неровности снега, пустыня была вверху, и пустыня была внизу — неправдоподобным казался пейзаж, и, продолжая свои мысли вслух от необычайности встречи, не стесняясь Рутом, Кузьма возбужденно продолжал:

— Рут, я вас видал на лекции Вюсте о свободе и догмате.

— Вюсте? — переспросил, как бы припоминая, Рут и небрежно уронил: — Мрачный еврей, который волнует одних профессоров догматического богословия...

— Ну, положим, что взволновал он и вас, — отрезал Кузьма. — Какая ненависть была в ваших глазах! Не оттого ли, что Вюсте и из ваших рук вырвал «осанну», из вашей крепости выбил кирпичи и вам было нечем ее отстоять? Я вас уважаю, Рут, я чув-

ствую, что вы, как и Десницкий, не дрогнете ни в тюрьме, ни перед смертью. Но какая между вами и мною лежит пропасть? Вы себя зачеркнули, вам не надо себя перед собой оправдать, вы себя поместили. Я не могу. Как Архимеду, мне для себя хотя бы одну невзрываемую точку. Но ее получить не отметанием — принятием всего в себя: науки, искусства и мысли. Рут, я вашу борьбу понимаю вот как: на каждую мину аршином глубже подвести контрмину. Но в какой глубине! А на плоскости бой — да это рукопашная, это старинные простодушные шпаги — обольщенье юнцов, расчет режиссеров.

Они шли по холмам. Рут, короткий, несмотря на военную шинель, совсем не военный, одним ухом слушая приподнятую речь Кузьмы, думал о полученном им известии о брожении в Спасских казармах и придумывал, кого бы послать туда спешно для связи.

Кузьма спросил:

— Товарищ Рут, можно задать вам один вопрос?

Рут повернул бледное лицо и, не говоря, мигнул ресницами, что слушает.

— Товарищ Рут, неужто вас удовлетворяет до конца положение, что нелепо и ставить вопрос: справедлив ли социальный процесс? Важно, дескать, лишь то, что он необходим. Но если иной убедительности, кроме «он необходим», нет, то разве и мне, участнику в этом процессе, человеку, живущему свой единственный, неповторимый миг, так же не важно и не необходимо все, что вошло в создание человека? Искусство, философия, культуры погибшие и культуры нашего века? Социальный процесс — человеку количественному, богатство культур — качественному. Я —

пересечение. Но приносить свою, неповторимую, личность во благо чьей-то грядущей, безглазой... Отмена жертв во имя жертв новых! Нет, довольно: или, не начав думать, поместить себя щенком в тот или иной кузов, или свершить полный круг и уже излиться от полноты, от чрезмерности, оттого, что все во мне хочет так, мыслит так, и только так. Но для этого, Рут, надлежит совершить полный круг, надлежит отлиться в систему, как в формулу. И пока сам себе я не алгебра — как мне ни хочется, мне в партию поступить невозможно.

— Но это ваше личное дело, — холодно сказал Рут. — Мы почти у ворот.

И, впервые вглядываясь пристально в Кузьму, Рут спросил:

— Вы из дворян? Двоедумец?

— Рабочий! — крикнул Кузьма. — Сын и внук рабочего!

— Тише, — одернул за руку Рут, — вызовите Десницкого так, чтобы никого не разбудить.

Кузьма крадучись вошел в комору, осветил карманным фонарем Десницкого. Тот вскочил немедленно, как солдат, приученный спать в промежутках боя, и через минуту был готов. Тихо вышли из коморы за ворота, и все трое пошли по направлению к монастырю Ионы, где не могло быть за ними никаких дозорных. В трапезной же с раннего утра можно было выпить чаю с постными пирогами.

Тем временем няня Китовна со свечой подошла к коморе. Теперь уже не от кого было, шлепая туфлями, убегать ей, как вору. Подсматривая, подслушивая

по соседству всю ночь, видела она, как Кузьма с Десницким ушли за ворота. Все-таки, оглянувшись, не видит ли кто, хотя к Пашеньке дверь была плотно закрыта, а через стену доходил один мощный храп Вереды, Китовна бережно вынула из кармана второй запасной ключ от коморы. Он хранился у нее с тех пор, как после спившегося здесь мирового, освятив пристройку, туда вдвинули шкафы с соленьями и вареньями. Поражая своим прозорливым контролем посылаемых в комору девочек, Китовна достигла славы «ведьмачки» и всякого отучила от соблазна легкой поживы. За Кузьмой же после сватовства его к Пашеньке надзор Китовны перешел в один политический сыск, особенно после того, как капитан Грузовой уверил Вереду, что ввиду «событий» таких людей, как Десницкий, попавших в крупное замечание, нельзя и пускать на порог. Китовна же досмотрела — Десницкий бывает секретно.

— И что за ночной гость? Как татарин, вошел невесть когда, выпущен на рассвете, без чаю? Такое-то сейчас время, как раз подведет...

Китовна боялась за своего старого барина, а больше всего, что Пашеньке вскружат голову и «вовлекут». Все Пашенька молчала, все носом в книжку. Хороших женихов отгоняла. Вот только этот Кузьма, названый братец, ныне суженый. Только нет, не он, Десницкий ей по сердцу: приметил зоркий старческий глаз Китовны — как увидит его, вспыхнет Пашенька. И не чисто дело с этим сватовством Кузьмы: кабы взаправду любил, уж соперника чуял бы, а то знай с ним шушукаться по ночам! Дело нечистое.

Няня Китовна вошла в комору. Хотя здесь давно не стояли шкафы ее ведомства, что таили соблазны

девчонкам, — все тут до подробности известно старухе. Поставив свечу на стол, она на диване перетряхнула подушки, глянула под наволочку, ища записку или какого украденного у Пашеньки сувенира. Воспитана Китовна была среди помещичьих барышень и знала всю тонкую хитрость влюбленных.

Но сувениров не оказалось. Как вчера, так и сейчас рассыпан был у Кузьмы по столу один лишь табак, и пусты выдвижные ящики. Вместо комода хранил там приезжий белье.

«Ах, нехорошо так, — подумала Китовна, — дому срам; уж коли остался жить да женихом сделался, воля ихняя, надо поставить ему и комод!»

Уже успокоенная, не обнаружив вредных последствий ночевки Десницкого, Китовна вздумала уходить, как ее хозяйский глаз привлечен был некоторым непорядком. Под заслонкой столбовой печи на порыжевшем железном листе лежали комки глины, что всегда происходит при сильном хлопанье дверцы.

— Зачем в печь-то лазали? Хоть и знают, что не топится. Не иначе, что прятали...

И, не докончив мысли, уверенно шаря рукой, с ожиданием ощупать обличающие бутылки, Китовна, к удивлению, стукнулась о плотно наложенные кирпичи. Она присела, как баба-яга, перед печкой, кирпичи вынула и обнаружила под ними плотно набитый конверт.

«Эге ж, — подумала она, — ну и вредные хлопцы: чего дозволенного кирпичом не завалишь».

Вынув бумагу из конверта и положив его пустой назад в то же место, Китовна заложила все кирпичами, закрыла печку и, не тронув глины, чтобы не вышло

улик, как ни хотелось ей навести чистоту, — прошла к дядько Вереде.

— Что приключилось? — испуганно вскинулся Вереда, продирая глаза на пламя свечи.

— А то вышло, — сказала мрачная Китовна, — что достукались вы с этим Кузьмой! Ночью был у него Десницкий. Часа два шептались, ушли на заре, без чаю-кофею, а в печке-то вот. Кабы не самая бомба! Разверните с опаской, — говорил один человек: стрельнуть может бомба из спичечной коробки. Обучились, такие-то...

Вереда развернул бумагу, прочел, побагровел, крикнул:

— Немедленно запрячь Фанфару. Бумага государственной важности. Я сам с нею еду к капитану Грузовому.

Уже был совершенный рассвет, когда Кузьма выводил тропинкой, спускавшейся на базар предместья, своих спутников, чтобы, незаметно смешавшись с толпой, они в ней показались естественными в столь ранний час. Прощаясь, Рут сказал Десницкому, указывая на Кузьму, сказал не то шутя, не то серьезно:

— А что же нам рекомендовали его как сочувствующего? У него самая вредная подоплека, даже странно при его происхождении.

Десницкий улыбнулся:

— Ты, конечно, донимал Рута «вопросами»? Все еще не веришь, что поплыть — надо броситься в воду, а сколь ни будешь узнавать от пловцов, ничего не узнаешь? Жизнь не головой, самой жизнью решается. Вот, вместо того чтобы раздумывать, помог бы ты нам: съезди в Москву! Человека лишнего нет. Все мы тут

наперечет в деле. В университете ж тебе все равно не учиться — такое ли время? Право, съезди, Кузьма, в Москву!

— А ведь в точку, — сказал Рут. — Сделайте-ка нам это дело. Да и не нам — всей России!

— Обдумай до вечера и, если решишь, приходи ко мне на квартиру, — сказал Десницкий.

— Подумаю...

Они спустились на базар, а Кузьма пошел бродить по холмам — предложение его взволновало. Он сам себе уже много раз говорил, что надо уехать: как ни наивна была ловушка доктора, пославшего его на «Фонарик», — он попался: Пашенька с каждым днем ему нравилась все сильней. Сколько ни твердил он себе, что она самая заурядная девица, только свежее и попроще обычных, потому что выросла на воле, но уж в спутницы жизни ему, который и сам-то не знает, куда его занесет, разумеется, не годится. И она на своих ногах не стоит: останься Десницкий обыкновенным саперным офицером, будто не вышла бы за него? Революционные идеи — для нее его личная обстановка, не более. Еще унижала ревность к Десницкому, который в то же время и сам был ему привлекателен.

Кузьма заметался в холмах, здесь все было так однообразно: холмы и овраги, ни куста приметного, ни тропинки. Колокольня Ионы скрылась куда-то, и, потеряв ее, он потерял последний признак направления к хутору. Вдруг он увидел на снегу кем-то убитого Британа и вспомнил ночной поминальный вой собак. Крови не было видно, пес лежал как мохнатый мешок, с оскалом ярко-белых зубов, похожим на улыбку.

Огибая его, из-за яра подвигались собаки. Британу уже все изменили. Длинной вереницей, желтые, пестрые, вслед за каким-то новым вожатым тянулись они к бойне встречать первый убой скота. Поняв, где бойня, Кузьма смело свернул к хутору. Когда он подходил к воротам, розоватый туман уже окреп над холмами. По самой середине наметилось солнце, и вдруг, раскутав свои пелены, как на дежурство зажженный фонарь, оно терпеливо и обычно осветило окрестность.

Перед хутором Кузьма столкнулся с няней Китовной. Повязанная черным платком, с узелком «поминаньица» шла она к ранней, минуя Иону, в другой монастырь.

— Что это вы, батюшка, какая нашему дому от вас неприятность? — сказала она, намеренно не здороваясь. — Гостя-то и кофеем не попотчевал! Чай, моя клеть не на бойне, мог бы сказать. До тебя ни один гость не поевши от нас не ушел.

— Какой гость? Про кого вы? — притворился Кузьма.

Старуха безмолвно махнула рукой, уплыла.

Собаки лаяли... Совсем рассвело.

На пороге в шубке и шапочке стояла Пашенька и гневно спросила:

— У тебя вчера был Дмитрий? Отчего ты меня не позвал? — И, сдвинув брови: — Признайся, ты это сделал нарочно?

— Дмитрий запретил мне говорить тебе. Это было первое, что я собрался сделать при виде его, — вспыхнул Кузьма.

— Прости меня, — взяла его за руку Пашенька, — я чувствую, дни сочтены. Я должна еще увидеть его.

Может, успею. Будь братом, помоги! Расскажи моим старикам что хочешь. Я скоро вернусь.

— Пашенька, — Кузьма сжал ее крепко за руку, — сейчас ты его не найдешь. Позднее я сам тебя отведу. Завтра я еду в Москву...

Он сказал про Москву от волнения, что любовь его к Пашеньке безнадежна; но едва сказал, уже знал наверное, что уедет.

Уходя с Пашенькой, под вечер, Кузьма открыл заслонку старой печи, глянул на белевший сквозь кирпичи пакет. Спокойный, что бумаги целы, он запер комору и положил ключ в карман.

VI. ЧЕРНЫЙ ОКОЛЫШ

Последнее военное совещание состоялось в квартире сапожника на окраине города. Уже ни один голос не поднялся за ликвидацию восстания. Все, как Десницкий, вдруг поняли, что если солдат выскочил из привычного хомута, он, как поезд, летящий быстрее положенной скорости, или должен сорваться с рельсов, или быть управляемым особенно твердой рукой. И вот Рут, Десницкий и еще несколько человек, заранее горько уверенных в поражении, приняли на себя руководство движением. Приняли и ту программу действий и тот маршрут, который выработан был еще за несколько дней и вместе с прочими важными бумагами и черновиками передан на хранение Кузьме.

В казарме остались недовольны последним пунктом постановления комиссии о том, чтобы завтра, после

общего митинга, разослать депутатов по войскам и фабрикам с предложением присоединиться.

— Сами выступим, сами сымем, кто упрется!

— Сымать не придется, только б выступить.

— И конно-горная батарея согласна, и от Курского приходили!

— Еще есть *один* полк, — сказал, подчеркивая, ефрейтор, — «черный околыш». Кабы чего черного он не принес?

— Ты это что, хиба часом сказився?

И рядовой Шпоня, чей брат был в этом полку, рассердился:

— Может, где точно есть сучьи дети, так не они ж? Миргородцы с нами с самого лета! Вместе в лесах, вместе в оврагах. Что у нас, то у них. Да чтобы у меня в глазах потемнело за черный околыш!

— Посмотрим, увидим.

— Коли сахаром их не сманили, так ладно! Только с осени, братцы, идет им усиленный порцион довольства, а ведь и кабанам кормы сыплют не зря!

— Чего раскаркались до срока? Из-за пустого места собачитесь? Вот подымемся, все как один примкнут.

— Уж если казаки прислали гонцов, что не будут стрелять...

— Тоже ведь люди казаки-то!..

— Да немало и побили своих...

— А все же, ребята, Дмитрий Федорыч прав: выступай с боевыми патронами!

Дмитрий Десницкий поздно пришел на квартиру. Денщику сказал будить себя как обычно, думая, что до завтра заводы не столкуются и депутаты от солдат

не будут на месте. О том же, что солдаты еще перерешат, после общей резолюции, и вдруг пойдут «снимать» сами, ему не приходило в голову. Несколько часов он проспал как убитый. Вдруг дробный стук в окно разбудил его. Привыкший за последнее время к внезапностям военного времени, Десницкий вмиг сообразил, что желающий его видеть не хочет быть замеченным, открыл форточку и, не спрашивая, глянул на улицу. Пред ним стоял Кузьма в своей коричневой свитке и рядом с ним... да неужто же Пашенька?

— Войдите, — сказал Десницкий, — у меня нет никого. — Его руки дрожали, и он никак не мог открыть сразу дверь.

Пашенька едва вошла, не сбрасывая шубки, белой от снега, вскинула ему обе руки на шею.

— Как я боялась, что не увижу! — И она заплакала.

— Ты пришла? Сама пришла? Ну, теперь уже все...

Десницкий не договорил, потому что словами сказать было надо: «Теперь уже все, о чем я даже втайне мечтал, сбылось, и для себя ничего мне не надо». И еще бы сказал: «Теперь умереть легко».

Кузьма остался ждать у дверей. На мгновение он увидел лицо Десницкого за стеклом и по тому выражению восторга и облегченности, которыми засветилось оно, понял его чувства. Кузьма охвачен был к нему той жалостной нежностью, которую ощущают к человеку, противоположному или чуждому по природе, но несомненному по высоте внутренних качеств. Сейчас он не ревновал, не завидовал Десницкому. После той ночи на холмах все, что входило в его личную

судьбу, тоже куда-то отодвинулось и перестало быть важным. Он остался стоять в палисаднике и смотрел на круглую вишню, пышно усыпанную снегом, как белым цветом. Тянулись мимо возы с прессованным сеном, шли рядом с лошадью, с румяными щеками и побеленными снегом кудрями, два хлопца, и подумалось: «Хорошо, что восстание начнется в базарный день: разнесут по деревне».

Кузьму окрикнул подбежавший к крыльцу Рут: «Десницкий дома?» и, не дожидаясь ответа, стал стучать в дверь. Отворил Десницкий. Рут и Кузьма вошли.

— Дмитрий, восстание началось! Они опять не послушали, не подождали заводов. Первой вышла третья рота... И военно-телеграфная... Строятся под командой фельдфебелей. Спешим!

Из-за перегородки вышла Пашенька, такая бледная, что Рут ее не узнал. Десницкий быстро подошел к Пашеньке, взял ее за руку, другой взял Кузьму, глянул на каждого широко расставленными заясневшими глазами, сказал:

— Ну, если что со мной... вы продолжайте! А ты, Кузьма, что бы ни было, сейчас же езжай в Москву, передашь спешно.

Он написал несколько строк, запечатал и подал.

— Вот тебе рекомендация.

— Что делать с пакетом? — спросил Кузьма. — Ключ у Пашеньки, я ей передал.

— И отлично; пакет примет от нее на днях Рут. — Но, подумав, что и Рут может быть убит, Десницкий прибавил: — Если не Руту, пакет надо будет отдать тому, кто придет от нашего имени. О пакете все знают.

Еще раз широко глянул Десницкий на Кузьму, чуть дольше задержал глаза на Пашеньке, и конец. Отошел, как отрезал. Спешно надевал шапку, шинель, бросал Руту кратко:

— Какие части? Где?

И вдруг Рут стал ему отвечать подтянуто, как подчиненный.

— Мне можно за вами? — спросила Пашенька.

— Сейчас нельзя. Завтра утром на ипподроме... Будем там рано.

Все вышли. Пашенька пошла было за Десницким, остановилась. Сжала крепко руки, глядела ему вслед. Как глядела, Кузьма видел, и молнией пронеслось: «Если он умрет, меня она все равно не полюбит».

Вдруг Десницкий обернулся, рукой остановил на минуту Рута, кинулся к Пашеньке, обнял ее и, уже не оборачиваясь больше, скрылся за углом.

— Ну вот, — сказала Пашенька с тем же восторженным облегчением, как недавно сказал Десницкий, когда увидел ее за окном. — Ну вот... — И, как он, она не докончила — о том, как важно ей, что Десницкий вернулся и поцеловал ее. Не друга, не товарища по делу, а просто Пашеньку, единственную для него женщину.

На другой день, около семи часов утра, стали выходить из своих казарм взбунтовавшиеся роты. Некоторые со своими офицерами. Выйдя, они двинулись в строгом строю. У каждого выступающего было такое чувство, что уж если он решил идти против начальства, то может ли быть иначе с остальными?

Солдаты были уверены, что едва их роты двинутся, то не примкнуть к ним встречным, состоящим из таких же, как они, солдат, живущим в тех же условиях, переживающим совсем то же самое, — ну просто же нелепица.

Кроме того, воспринятые новые идеи, агитаторы, штатские образованные люди — все убеждало их в собственной правоте и успехе. В газетах, что ни день, сообщалось то о событиях в Кронштадте, то о событиях в Севастополе. То рота строевых матросов на команду «пли», вместо того чтобы стрелять по безоружной толпе, собравшейся на митинг, оборачивается и бьет по тем, кто командует. Убиты контр-адмирал, офицеры...

И требования, подобные их претензии, предъявляют то тут, то там, от медвежьих углов до самого Петербурга, где отказываются электротехники от занятий до исполнения поданной ими претензии. Не перестреляют же всех! Помнили, как всю Россию охватила почтово-телеграфная забастовка, как заступились за своих арестованных на московском съезде, значит, и за них, первых выступивших сапер, — заступятся.

И все-таки, повинуясь какой-то глубокой, кровной памяти, связи с бабкой, матерью и женой, каждый солдат на всякий случай, как для смертного часа, обрядился в чистое белье и выбрился. И, глядя на выступавшие стройные шеренги подтянутых сапер, торговки на базарах, дивясь, говорили:

— И чего ж це воны в таку рань идут до собору?

— Сдаеться, и свята нема ниякого!

— Мабуть, присяга?

И решали, что, конечно, присяга, для того чтобы укрепить пуще войска против «жидів та демократів».

— У нас, в Нежине, студентов на колени в грязь вперли перед царским портретом да всей громадой кричали: «Хай присягають!»

— А мы требовали, чтоб не един, два раза присягнули. Як молитву: утром да ще вечером!

— Да ведь он уже присягнул, скажут нам стары люди. А мы им: а нам яке діло, хай ще присягает! Разов до полсотни.

— А мы так самих гимназистов гоняли...

— Ну, а военные известно. Они, военные, сами идуть.

В этой древней части города, с монастырем, лаврой, скаковым полем, все давно отлилось и застыло: монахи в монастыре, военные в казармах. Сюда ездили в парных колясках дамы высшего местного круга любоваться на закат. Сюда же въезжал парой белый катафалк, и лошади со страусовыми перьями ныряли по выбоинам каменной мостовой, с важным покойником. На плацу, кроме скачек, еще бывали смотры. Проезжий немецкий принц надменно обходил окаменелые роты, или эмир бухарский, будто спрыгнувший с обложки всем известного душистого мыла, с многочисленной свитой в разноцветных шелковых халатах, раздавал офицерам, ему на потеху взрывавшим фугасы, свои туземные, котильонные ордена.

Словом, жители предместья, равно как и жители города, до одури твердо знали решительно все, что могло быть на этом военном плацу.

И когда торговки и их завсегдатаи в столь ранний час увидали в образцовом порядке идущие роты, кому же могло прийти в голову, что идут они с неслыханной целью: «снимать» невосставшие части, незабасто-

вавших рабочих и подать командующему военным округом прокламацию, где в окончательном виде стояли претензии?

Претензии о человеческом обращении, об уничтожении военных судов, об улучшении постных щей, выдаче постельного белья, еженедельной бане, бесплатной пересылке писем и в заключение: «Требуем немедленного созыва учредительного собрания, которое одно может помочь народному горю, улучшить положение крестьян и рабочих, создать новые свободные законы, заменить настоящую армию народной милицией... Да здравствует учредительное собрание!»

И музыкальные команды ввели обывателей в заблуждение. Примкнув к шествию, они для начала проиграли все свои невинные марши и лишь после этого, перед самым огромным военным собором, грянули дружно «тот гимн».

Впрочем, что же такого особенного? Этот гимн русские слышали в дни чествования французов, по странной насмешке истории вступивших с нами в некий «альянц» при монархичнейшем из монархов. Гимн этот звался — «Марсельеза».

— Какой маршрут? — спросила бледная Пашенька ближайшего фельдфебеля.

— Саперный лагерь, инструментальный склад.

Пашенька, боясь отстать, следила глазами за серым пальто Десницкого. Он твердо шел впереди своих. Поравнялся с ней около башни, где расположена была важнейшая для дела рота — военно-телеграфная. Вместо мягкого человека, говорившего только по необходимости, это был сейчас командир, как всадник с конем слившийся со своей ротой.

И начальствующие лица, подъезжавшие верхом, говорили с ним как с начальником восстания.

В ответ на сказанное вполголоса полковником, должно быть увещевание отступать, Десницкий, оглядывая свою роту, намеренно громко сказал:

— Поздно, господин полковник, мы умрем, но уже не сдадимся!

— Ур-ра...а! — подхватила рота, и все солдаты, приведенные полковником, вдруг примкнули к саперам.

У гимназистов, толпой сопровождавших солдат, было восторженное отношение к Десницкому. Они уже узнали его фамилию и всю недолгую биографию, и один, страшно кудластый, вскричал:

— Десницкий, вы герой!

Другие заспорили:

— Это вы по Михайловскому... а мы против героев. И мы все против, но здесь исключительно...

Присоединялись рота за ротой, толпа росла, как снежный ком на пути от вершины к подножью горы. Солдаты братались, смеялись и плакали, были как пьяные. Их ряды стали расстраиваться. Десницкий остановил всех шашкой, взошел на лестницу какого-то дома и крикнул:

— Если вышли, идти надо с честью! Смиррр-на!

— Рады стараться!

И слышала Пашенька — одобряли ряды:

— Этого себе выберем начальником бригады.

Войска шли по широкой дороге за городом; Пашенька едва поспевала с толпой по холмам. Звуки «Марсельезы» долетели до «военных» собак. Сбитые с толку, они обнюхали воздух и, узнав, что идут сол-

даты, удивились, почему в лагери в этом году выступают, когда снег еще лежит по оврагам.

Собаки были сыты, и любопытство молодых победило страх перед необычностью. Собаки поднялись: из оврагов, из ложбин вышли желтые, черные, гладкие и кудлатые. Пышной свитой они двигались за солдатами. С вершины холмов на дороге хорошо были видны события: вот казачья сотня подскакала к саперам, отделился офицер, подлетел к Десницкому, саперы стали. Стало тихо и напряженно до муки. Казачий офицер говорил, слов не было слышно: их отнес ветер, и высоки были холмы. Десницкий что-то ответил, поднял руку и широко обвел тысячи примкнувших к его роте людей.

Казачий офицер нагнул голову и, гибко перегнувшись к своим, отдал какой-то приказ.

— Устрелют! — крикнули бабы в толпе. Но этот крик вдруг просекло бурное, безмерно торжествующее «ур-ра».

Казачьи лошади расступились, и как сквозь шеренги почетной стражи прошли саперные войска, пропущенные без единого выстрела посланными на их усмирение казаками.

Пашенька сбежала с холмов, но пристать к роте Дмитрия ей удалось лишь у казарм артиллерийской бригады. Десницкий сейчас был так окружен, что за солдатами, превышавшими его ростом, на ровном месте он не был виден. Место же, где он стоял, неизменно определялось тем, что туда не переставали подъезжать для переговоров о сдаче полковники или, как в эту минуту, сам генерал-лейтенант.

Вот внезапно он стал на миг хорошо виден: часть сапер, его окружавших, кинулась в казарму убеждать

артиллеристов. В просвете вырезался Десницкий весь: юный, простой, готовый на все, только не отступать. Для Пашеньки он уже был не «он», а как кто-то «на картине».

Даже и слова генерала не имели успеха. Восставшие двинулись дальше. Артиллеристы присоединились, замкнув Десницкого в своем кругу.

Не задержанные казаками, усиленные артиллеристами, саперы дошли до большого базара. Пашенька уже видела, что восстание нескольких рот превращается в триумфальное шествие, уже не беспокоилась об участи Десницкого. Опять оттертая от него шеренгами солдат, она даже не пыталась протиснуться в гущу, а взбежала на боковую лестницу какого-то трехэтажного дома наблюдать с верхних ступенек, как восставшие батальоны пересекут базар, как соединятся здесь с последним пехотным полком.

На базаре, как всегда, шла торговля. Гомонили вокруг своих ларей торговки, зазывали в боковые лавчонки с лентами, ситцами, с ворохом ослепительно красных подушек. В несметном количестве юлили мальчишки вокруг огромных возов с соломой и с сеном, чтобы выдрать соломинки для мыльных пузырей. Замаскированная ларями, стояла учебная рота Миргородского полка.

Видимо возбужденные, продрогшие солдаты, по чьему-то приказу здесь стоявшие с раннего утра, перетаптывались с ноги на ногу, отчего сверху Пашеньке показалось, что они приплясывают.

— А уж эти и вовсе веселые, — сказали про них в толпе.

— Это миргородцы, — узнавали их по черному околышу. — Никак сами вышли, раньше азовцев. Молодцы! С ними вмиг всех поснимут.

Музыканты, подходя к базару, ударили «Марсельезу». Флаги рабочих развернули свои чудовищно красные маки над головами изумленных жителей.

Вдруг, все и всех обгоняя, пьяный от музыки и тщеславия, не слушая окликов своей роты, далеко вперед на базар выскочил ротный козел Капитоныч с золотыми рогами.

Тонким воем залилась на него любопытная собачонка, а за нею вся свора. Нотариус в белом жилете под распахнутой медвежьей шубой, под руку с французом, учителем гимназии, пел вместе с ним по-французски:

> Allons, enfants de la patrie,
> Le jour de gloire est ar-ri-vé!..[1]

— Ур-ра!.. — первая крикнула толпа на базаре.

— Ур-ра!.. — крикнули шедшие с красными знаменами.

Крикнули на холмах. Кричали в оврагах.

— Что они, что делают?! — И побледневшая Пашенька успела только в ужасе ухватиться за нотариуса, указывая на учебную команду, которая за толпой, по неслышному приказу, внезапно сверкнула вознесенными к щеке дулами. Как один, все затаились на миг. И вдруг на прицел. Тра-та-тах... грянул залп. И еще и еще.

---

[1] Вперед, сыны родины,
День славы настал!..

(Первые строки «Марсельезы».)

Огромная толпа шарахнулась. Ринулась кучами на восставших, смяла шеренги. Войска дрогнули, сбили строй. Они были как человек, который уверен, что и следующий шаг его — твердая почва: вдруг сорвавшись в замаскированную пропасть, в первый миг даже не ищет ухватиться за сучья.

Войска обезумели. Строй был безнадежно разбит. Когда спохватились отдельные люди и стали отстреливаться, все дело уже было потеряно. Паника охватила солдат, они бежали. Обезумевший обыватель повалил им в тыл.

После отступления казаков, присоединения артиллеристов не могли же саперы опасаться серьезно полка, где столько было у всех кумовьев, где читались те же листовки и «нелегашки» и такой же был бунт против тяжких условий и японской войны?

Миргородцы стреляли всем вдогонку вдоль тротуаров. Люди, как зайцы, неслись зигзагами и ломали ворота, чтобы спастись. Пули рикошетом несло в сторону, и это множило панику. Пули попали в не успевших укрыться собак. Раненые собаки пронзительным визгом покрыли все крики.

— Это провокация, вперед! — кричал вольноопределяющийся Рут, вскочив на ларек и безумно махая шашкой, которая казалась бутафорской, а сам он позирующим на сюжет «в атаку».

— Товарищи, не поддавайтесь, это подстроено...

— Вперед! — командовал и Десницкий, повернувшись к сбитым рядам. На минуту он стал Пашеньке опять виден весь. Фуражку Десницкий потерял, лицо пылало одной неукротимой волей, и если бы солдаты могли его увидеть, они за ним бы пошли. Но солдаты

не видели ничего. Им чудились за учебной командой легионы враждебных полков.

— Вперед! — еще раз крикнул, окруженный кучкой опомнившихся, Дмитрий Десницкий и, шашку наголо, один побежал в атаку. За ним тотчас фельдфебель Гуцалый, Стегнó, бело-розовый Порося... Не успев пробежать ста шагов, Десницкий взмахнул руками и упал навзничь среди опрокинутых ларей. Пашенька видела, — она кинулась к месту.

Площадь вся опустела. Посреди, плавая в яркой, алой крови, лежал белоснежным пушистым комком ротный козел Капитоныч, сверкая на солнце своими, все еще золотыми, рогами. Немного подальше, на боку, слабо пытаясь привстать, умирал Дмитрий Десницкий. Он упал в неутоптанный пушистый снег, медленно и неохотно менявший свою белизну на красный цвет только что бившихся над ларями знамен. Не видя много крови, Пашенька на миг подумала, что, быть может, рана пустячная. «Носилки», — шептала она, думая, что кричит. Два солдата, кинувшихся на помощь Десницкому, подложили ему под голову шинель, вытянулись, сняли шапки и пропустили Пашеньку ближе.

Став на колени, она приподняла Десницкому голову. Глаза его вдруг прояснели, быть может он ее узнал. Хотел что-то сказать, но уже не смог. Не мигая, разом, как у восковых кукол, тяжелые веки покрыли его глаза.

Гуцалый снял шапку и, широко кладя крест, сказал: «Кончились».

Только через несколько дней Пашенька из оцепенелого бесчувствия пришла, не на радость себе, к дей-

ствительной жизни. Вереда уехал по делам в Нежин, одна няня Китовна стерегла неотступно.

Как-то поздно вечером Пашенька услышала в передней голос, который настойчиво требовал ее видеть, на что няня Китовна, как дятел, долбила свое:

— Не велено.

Пашенька накинула халатик и кинулась к дверям, потому что, хотя узнать было нельзя в бородатом, хорошо одетом господине в очках Абрама Рута, она все же его угадала и крикнула:

— Пусти, няня, я его знаю — это доктор.

— Ну, коли доктор — иной разговор. Да куда же вы в комору, там и не топлено.

Пашенька знала, зачем пришел Рут. Рядом с ним тотчас встало лицо Десницкого, не мертвое, с закрытыми веками, а то, в час последнего свидания, когда, уходя с Рутом в казармы, он еще раз к ней вернулся.

В глубоком волнении, не объясняя, приказала Пашенька няне:

— Дай ключ!

И подтвердил значительно доктор, что ему в коморе почему-то удобнее.

Открыла Китовна комору и пошла по хозяйству. Рут подошел к печке, сел на корточки и, придерживая одной рукой бороду, другой стал выбирать в глубине кирпичи. Забелел пакет. Он его вынул и побелел сам: конверт был совершенно пуст.

— Может быть, бумаги выпали? — еще белее Рута, сказала и Пашенька.

Рут долго шарил в трубе. Черным гнездом слетела сажа. Еще подождав чего-то, Рут сказал тихо, не глядя на Пашеньку:

— Маршрут восставших оказался точно известен властям — отсюда неожиданный успех учебной команды и паника солдат. Сейчас ясно — почему.

Пашенька прервала в ужасе:

— Но ведь Кузьма тут ни при чем, как вы можете...

— Время выяснит невиновность Кузьмы, — как молотком отстучал Рут, — но сейчас я обязан дать немедленно знать в Москву, что бумаг, ему доверенных на хранение, не нашлось. Пускай комитет сам...

Пашенька дальше не слышала. Вошедшая на зов «доктора» Китовна при его помощи перенесла ее в спальню на кровать, не стесняясь ворчать:

— Ну и лекаря, им что заморозить ребенка? Говорила я, что не топлено.

Рут набормотал что-то медицинское и ушел.

. . . .

Пашенька пришла в себя ночью. Ей стало сразу как в детстве, когда становилось вдруг страшно, а няня брала к себе на постель. Сейчас, как тогда, она утопала в пышной перине, от которой шел слабый дух задержавшегося с лета гвоздичного масла, отвратителя комаров. Пахло мятой, липовым цветом и просто «дикохтом», от всех болезней насушенным няней и подвешенным в мешочках под потолок.

Перед троеручицей горела лампада, и навсегда знакомым острым клином от нее пала тень на белый потолок.

К постели придвинут был столик, на нем, прислоненная к толстой библии, радугой отливала «неопалимая купина», и стояла бутылка со святой водой,

— Няня, верно, опрыскала всю, а я и не слыхала, — подумала Пашенька, — и «неопалимую» подняла...

Образ «неопалимой купины», полученный няней от некоего старца, ею хранился в общем киоте за стеклом, и она «подымала» его, как «иверскую», только на случай болезни или большого несчастия. Последний раз, помнит Пашенька, «неопалимая» гостила в изголовье дядько Вереды, когда он, поскользнувшись у ледника, расшиб больную ногу и доктора хотели ему от нее еще отрезать кусок.

— Владычица уж знает, оттянет от ноги.

Китовна сидела сейчас у окна на стуле в белой кофточке, в белом платке. И тоже, как всегда бывало в детстве, во время кори, когда Пашенька очнется — где няня? — а няня, намолившись, легко дремлет на стуле. Крепка вера у Китовны, как огненный столб, и на все у нее свой есть ответ. Лицо, темное, твердое, во сне еще строже. Нет к няне подходу, одно знает, свое.

Чует Пашенька — нашарила няня в печке пакет. И вот узнать теперь: что с ним? Ужель и дядько приложил тут свою руку?

Хоть минуту еще не знать. Все назвать — разбить эту жизнь.

И Пашенька, холодея в пышной перине, боится шевельнуться, боится вздохнуть, разбудить няню раньше срока... какого срока? А такого, когда прильет сила к онемевшим рукам поднять молот, и хвать им — все вдребезги.

Вдребезги разлетится вся жизнь на «Фонарике», когда навеки уйдет от своих Пашенька. А она уйдет.

— Няня!

— Серденько! — И, как по воздуху, в мягких туфлях няня неслышно к постели, и руки целует, и слезы текут. — Ожил, голубок!

Поклоны, поклоны «неопалимой», и шепотом, как, бывало, казалось, волшебница в сказке:

— Чего ж тебе, серденько? Вареньица, сливочек?

И глаза, тысячелетние, светлые, на резном твердом лице. Одна любовь в глазах, — что им сказать?

— Потом, няня...

И опять ждет Пашенька новой силы нанести свой удар и разбить этот мир удушающей любви. Как на ладони перед нею дядько Вереда со своими «примёрами», Китовна с образами — оба с одною любовью к «серденьку» — и нет гнева. Надо их одним умом, одною холодною волей...

— Няня, куда же ты дела бумаги, которые вынула из печи? — говорит наконец, как диктует, Пашенька, и ловится старая Китовна, словно слепец берет топор из рук Пашеньки, подсекает сук, на котором сидит.

— Вредная то была бумага, серденько, хорошую б хлопцы не спрятали.

— Дяде отдала?

— А как же ее не отдать? А дядько сдали в полк. Не у себя ж, прости господи, держать такую бумагу! Могла бы, кажуть, и полиция к нам прийти. Только все то миновалось, не бойся, серденько, никто на нас худо не мыслит, хоть и подвел тот скаженный...

— Молчи! — крикнула Пашенька. Отвернулась.

— И то я молчу. Спи, голубь, сном твое лихо пройдет.

Кончено с няней. Уйдет Пашенька молча, от обедни вернется няня — и нет ее. Навсегда нет. Пусть решит, что «испортили». Не объяснить ей словами.

Вереда вошел чуть свет к Пашеньке с каким-то доктором. Пашенька не захотела лежать, встала, отвечала доктору, чтобы отвязаться. Когда же доктор, объяснив, что у нее «нервы и рост», уехал с кучером на Фанфаре, Пашенька сама позвала в кабинет дядька, заперла дверь на ключ и сказала, как и няне, без всякого гнева:

— Вы дали бумаги Десницкого капитану Грузовому?

Вереда встал, качнулся вперед, словно бежать, но, опираясь крепко на костыль, сохранил равновесие и вдруг, совсем не любящий дядько, а насквозь штабс-капитан, награжденный Георгием и пенсией, выпятив грудь, сказал:

— Да, сударыня, врагам моего государя и родины я не покрытчик! И не сделай засаду славные миргородцы, что бы народу погибло...

Дядько не кончил, Пашенька сникла на стуле, и странно, как привязная, болтнулась рука.

— Ой, и дурень же я. Китовна!

И дядько, не штабс-капитан, а тот, что, помогая курице, бывало, отколупывал нежно цыплят от яиц, заквохтал над Пашенькой:

— Прости грубого дурня, прости...

Властно отстранив Вереду, Китовна сказала:

— Як били из пушки по турку, так ладите и с дитиною!

Опять Пашенька у няни в перине, опять «неопалимая», и лампада, и липовый дух, и веселая домовитая трескотня сухих березовых дров в слепительно кафельной печке. А Пашеньке холодно, горячи руки и голова, сердце ничем не согреть. Опять ясны мысли, одно жестокое сознание: опустить надо молот и

разбить, как тот хрупкий серебряный шар, что стоит в городском саду и переливает в себе деревья и облака. Да, хрупок и призрачен тесный мир детства и юности. Разбить его — вон из скорлупы.

Ах, когда б так! Когда б скорлупа — эти два старых лица. Твердой деревянной резьбы лицо Китовны и дядько с сивыми баками, с ясными глазами испуганного Пана. От одного пахнет чебрецом, мятой, ладаном, от другого — крепким нежинским тютюном.

Въедливы запахи: память забьешь, а запаху не закажешь. Когда захочет — запахнет. И навеет запахом прошлое, и не изболеть его боли.

Пашенька ушла из дому, когда никто этого не ждал, без объяснений. Оставила короткую записку: «Уехала навсегда. Не ищите».

Руту рассказала все дело, просила оправдательного письма для Кузьмы и указаний, как ей в Москве войти в работу. Рут дал все и вдруг коротко предложил работать вместе, никуда не уезжая отсюда.

— Да ведь у меня тут старики...

— Ах, простите, — спохватился Рут.

И впервые видела Пашенька, как он смешался и покраснел от своей невнимательности. Пашеньку Рут выделил и принял как отдельного человека. И вот, скажите ж, посчитался с ней Рут, хотя никаких революционных заслуг за ней не было.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. «ПРОБА»

— Да-с, как и все годы, тысяча девятьсот пятый начался первым январем, отмеченным обычной правительственной идиллией: великому князю дан рескрипт для ношения на груди на андреевской ленте портрета, а горожанам оповещение, что новый московский градоначальник изменил традиционный обычай ездить на паре с отлетом и лицезреть его можно будет отныне лишь на паре «в дышле».

Модест Иванович тронул спутника рукой за колено и, пригибая к нему свое отставное бюрократическое лицо в такт колесам вагона, потрясая отличнейшей бородой, раздельно сказал:

— Де-мо-кра-ти-зация парадного аллюра не помогла-с. История продвинулась, идиллия, дорогой мой, сменилась — бомбой. Традиция, быт, вековое, пустяковое — ну, я вас спрошу, что нынче не взорвано? Покушения в сорока пяти городах, волнения в крупнейших, до основания разрушен Баку, татарами объявлен газават. То-то же...

Модест Иванович с таким удовлетворением отвалился на спинку сидения, что со стороны можно было

подумать: он и есть главный двигатель происшедшего, хотя на самом деле он служил не малым чиновником в министерстве и был просто усердным читателем либеральных газет.

Он и его собеседник, два пассажира второго класса, занимали в вагоне супротивные одиночные места под окном, и, как в игрушках «мужик и медведь», вступая в разговор и кончая его, один и другой то поклевывал вперед носом, то откидывался на спинку сиденья.

Впрочем, человеку, сидевшему против Модеста Ивановича, не подходило понятие клюва: нос у него был что зовется картофелем, глаза велики, чуть лупоглазы и очень приятны по выражению, умному и детски-смешливому. Он сказал:

— Почтовые чиновники перестали верить в бога, убивают своих невест и самих себя и записочки оставляют: «похоронить, дескать, вместе». Знаменательно, Модест Иванович, и ведь это те самые, недавние, чеховские. А подпоручики и поручики делают то же самое, и без всякого дебоша, отметьте себе, в отдельных номерах первоклассных гостиниц. Да ведь это символ времени, это, Модест Иванович, не иначе, как поиски Прекрасной Дамы, своеобразно преломленной?

— Эк, батенька, отмочил! Прекрасная Дама была и есть дело приватное. Суть в иной разновидности, ядовитее. Вот не угодно ли: «проклятые» все вопросы, над которыми человечество болело века, взять да ахнуть сплеча? А нашлись такие, что ахнули. Это намедни про них писал с завистью старый циник: русские девицы и юноши веруют, что едва будет всеобщее, прямое, равное, тайное — как вишня начнет цвести дважды в год.

— Ах, преотлично сказано, — обрадовался Ерголышко, — вишня, вишня зацветет дважды в год — и всего от четыреххвостки? Преотлично, ибо как раз с этими вот юношами мы и договоримся!

— И пикнуть вам не дадут эти юноши. Да на якого биса вы им сдались, как по-вашему говорится. Культура, батенька, руки вяжет, а им надо, чтобы были развязаны. Вот в газетах — приметили? — среди сообщений характера придворного, ну там разводы графинь Монтиньозо с принцем Кобургским или поднесение «цветником» дам гарнизона цветов государыне, — все крепче вклиняется некий твердый столбец: разгром крестьянами экономий, — и ка-кой, батенька, разгром! С отрезанием у коровы сосцов, с идиотским переводом племенного скота. Да-с, их дело взрывать, а не сеять. И вы, оранжерейнейший садовод, сюда и не суйтесь с альянцом!

По коленке похлопав Ерголышку, Модест Иванович опять отвалился на спинку скамьи. Вынул гребешок, расчесал бороду, передохнул и уже эпически, как некий Пимен, умывая руки над злом и добром, сконстатировал:

— В общем же — неразбериха. Московские присяжные поверенные привлекаются к суду за участие в союзе адвокатов в те самые дни, когда союз левых извозчиков подает министру внутренних дел коллективную просьбу о том, чтобы он приказал седокам говорить им «вы» вместо «ты». А правые извозчики представлялись государю в Царскосельском дворце, и он им сказал: «Объединяйтесь, извозчики, я рассчитываю на вас». Тэк-с. И потеха, союз пчеловодов туда же... Союз пчеловодов нашел, что пчеловодам нельзя заниматься

пчеловодством без свободы слова, печати, союзов и совести...

Ерголышко подскочил от восторга, как заяц, забарабанил по коленкам.

— Каковы пчеловоды-то! — обращался он, сияя крупным большеглазым лицом, к соседям справа и слева. — Каковы?

Но Модест Иванович, любя один держать речь, отвел вмешательство Ерголышки барским жестом и снял бобровую шапку. Затем, переходя гребешком с распушенной бороды на волоса, сводку событий повел к заключению.

— Весь этот год, Ерголышко, одни обвиняли, другие ждали амнистии, и все вместе до одури выкликали Думу. Ну и выкликнули... себе на голову.

— Дума, смею сказать, Модест Иванович, Дума, когда дело перешло от символа к выполнению, оказалась совсем не прекрасной, а всего-навсего лишь «булыгинской».

— Хе-хе, — заколыхал свое большое тело Модест Иванович и стал вкусно загибать один белый палец, другой, третий, приговаривая: — волнение в Польше, в Финляндии, на Кавказе.

Перебрав все, что знал из газет и по слухам, Модест Иванович вдруг ослабел, но, повинуясь внутренней необходимости осознать положение страны, закончил досмотр необыкновенного истекающего года уже через силу, короткими предложениями:

— Итак, военное восстание стало уже делом обычным. И достукались, Ерголышко, достукались: погасло в домах электричество. Стали конки. Газеты не вышли. Онемел телефон. У ворот возникли дворники в шубах.

Запылали на перекрестках костры, у костров грелись пикеты. Грянула всеобщая железнодорожная забастовка, и вышел на белом листке одинокий столбец — ма-ни-фест.

Кто-то с верхней полки Модесту Ивановичу в октаву угрюмо рявкнул: «А за манифестом по-громы».

Но Модест Иванович, как председатель, уже закрывший заседание, дотянув события до вчерашнего дня, отбыл службу, поставил точку и, перестав держать в руках судьбу страны, захотел, как самый обыкновенный старик, пить чай с лимоном.

Напившись, он пошел раскладываться на ночь, для чего приказал Erголышке взметнуть над ним верхнюю полку. Посердился, что тот чай пить не хочет, обозвал его франкмасоном и, когда Ерголышко пошел на площадку дышать воздухом, сказал ворчливо, ни к кому не обращаясь: «По его науке, перед сном обновлять надо какую-то там животную ауру», — и, повернувшись к стене, захрапел.

Кузьме досталась наискосок верхняя скамья. Не желая ни с кем знакомиться, он лежал на спине, глядел в свежепокрашенный потолок и, нащупывая на груди твердый конверт с письмом Десницкого, сперва думал о том, что его ждут в Москве, потом слушал болтовню Модеста Ивановича. Его заинтересовал этот забавный человек с детскими глазами, которого барственный бородач звал Ерголышкой. Когда он вышел, Кузьма, легко спрыгнув сверху, пошел вслед за ним на площадку курить.

Ерголышко стоял у окна, засунув руки в карманы, и, покачиваясь с носков на пятки, провожал улыбкой бег пушистых от снега берез. Кузьме показалось, что

покачивание это неспроста — либо из упражнений по Мюллеру, либо какого-то иного ритуального смысла. Он подался было назад, чтобы не мешать, но Ерголышко перевел с пушистых березок свои круглые, очень светлые глаза на него с той особенной лаской, какая бывает у иных слегка тронутых или чуть пьяных людей, и сказал:

— Вы это что, никак тоже в Москву?

«От глупости это он или от мудрости?» — подумал Кузьма, глядя на лупоглазого Ерголышку, но почему-то доверие почувствовал полное и ответил просто:

— В Москву ненадолго, и даже крова там не имею.

— У меня, у меня есть кров, — поспешил Ерголышко, — не скрою — мансарда, подчердачник, однако одинокому, холостому — сущий рай. И денег не возьму, живите за топку. Холодноват домок!

— Да как это? Вы ведь меня не знаете! — удивился Кузьма.

— Э, батенька, чего знать-то? Посмотрел в лицо, на походочку, услыхал голос... Да, так именно в пифагорейских школах на конкурсный прием экзаменовали. Вами выдержан.

Засмеялись. Кузьма сказал:

— Я слушал, как вы итоги пятому году со своим спутником подводили...

— Нет итогов, не кончен год, — прервал Ерголышко. — И еще живы ли будем к шестому-то? Может, всех и всё он к черту взорвет.

— Почему же всё? — удивился Кузьма. — Довольно, чтобы хоть тех, кого стоит.

— Да я ведь не про бомбу, — усмехнулся Ерголышко, — я про окончательный, про космический взрыв.

Кузьма вдруг вспомнил, что видал этого самого Ерголышку на улице в Киеве, тогда же заметил его, а Пашенька сказала: «Вот и этот из апашинского кружка, только московский».

— Вы из кружка Апашина? — спросил Кузьма.

— Ну не-ет, — протянул обиженно Ерголышко, — слуга покорный. Ведь у них там одна абстракция, а мы — «пахари жизни» — новые земледельцы. Нет, я сам по себе. Сейчас такое время: кто видит и слышит, тот и кружок. Но те — кабинетчики-теоретики, мы — практики. Мы — лаборатория новых сил. Как же мне быть их кружка?

— Извините, — улыбнулся Кузьма, — я никаких знакомств в этой области не имею. Вот только символистов читал...

— Все одно-с, — прервал Ерголышко. — Отделы того же хозяйства, что ни разновидность! А главное вот: новое семечко. Один век кончился, вступает другой. Если вместе с упомянутыми символистами, хотя бы их только читая, вы волновались предрассветьем, туманами, всходящими зорями... вернее, если и вам всходили какие б то ни было «зори», — вы наш, вы соратник.

— Повторяю, я только читал...

Но Ерголышко понесся:

— Одновременно с революцией снизу идет революция сверху. И чей удел пламенеть...

Он вдруг присел и выпрямился с полу, как грибоискатель, найдя редкий гриб, засветился радостью и, ухватя Кузьму под руку, зашептал:

— Преображение сей юдоли в чудеснейший вертоград — вот лозунг, ибо вся тварь совокупно стенает.

И представьте, того, кто за чаяния пролетария, за рабочий восьмичасовой, — мы приветствуем! Мы — «новые пахари». Эх, наше дело не словесное. Трудненько словами...

И Ерголышко закачался с носков на пятки, словно это движение могло докончить его мысль. Кузьма с любопытством спросил:

— А что значит, по-вашему, быть новым пахарем?

— Ну, это особь статья, а вообще я вам отвечу, так сказать, не своими речами, а французскими. Ибо своей историей мы лишь дублируем эту чудесную страну, и сейчас, в виду назревших событий, полезно просмотреть поражения чужие, дабы не повторить. Мы ведь в первый раз, мы только сегодня égalité, fraternité,[1] а там — уж и плоды посбирали: терпковаты. Вот рассмотрим из отдаления, в чем вышла проруха... Как известно, перевороты рассчитаны на экономическое благополучие, причем человек внутренний со всем скарбом чаяний, вкусов, мечты — выметается, извините, батенька, на поля орошения. Короче сказать: одновременно человека одевают и обнажают. Ну-с, переворот благополучно свершен. Гражданин меняет лохмотья на пиджачную пару и в упоении смакует пресловутую курицу, ту самую, что вожделел за него Генрих Четвертый.

— Однако позвольте... — пытался тщетно Кузьма.

Но Ерголышко, напирая руками, глазами, всем взлохмаченным существом, забил как фонтан:

— Мы присутствуем при образовании нового духа, при рождении нового глаза на мир, при новой логиче-

[1] Равенство, братство *(франц.)*.

ской совокупности идей и чувств. Последнее наиважнейшее, ибо человек жил и живет чувством, сколь ни запугивай его гильотинами. Чтобы стало ясно, куда я именно гну, пересмотрим с вами кого попонятней, ну хоть ярого позитивиста, этакого крепыша, как Золя. Автор искреннейший и честнейший. Кто круче него, в противоположность «гнилой романтике», повернул к разуму и науке? Однако, разоблачив психологию по всем линиям, что он нам вскрыл? А то: человек просто гад. Оговорю, батенька, оговорю... истинно гад, но только доколе не преобразится особой внутренней самочисткой — в нового человека. Ибо, как океанский прибой колченогого, захлестнули каждого из нас среда, наследственность и прочие силы рока. Круг замкнут, человек в мышеловке. Так? Однако, черта с два, — не хотим-с!

Ерголышко опять вдруг присел, подпрыгнул и, тряся за обе руки Кузьму, возгласил:

— Есть лазейка, дражайший: дракону противопоставлена Дева! Надежда новых пахарей — просветление быта, через чистейшее, через женское... Производительная Диада — откровение нашего века.

— Все поэты про это долбят, — успел вставить Кузьма, досадуя, что Ерголышко, такой особенный и занятный, сбивается на готовое.

Но Ерголышко воскликнул:

— Поэты безответственны, поэты пропоют и в кабак пойдут. Есть люди: живут, как веруют, круглые сутки, и это дает им права... Дражайший, субъективный мир человека обязан идти об руку с его социальным освобождением. А если этого не случится, если вы, как пыль из матраца, из граждан вытряхнув старое, не дадите новому быть — то для такого-то... для холо-

щеного сукина сына стоит ли, черт возьми, кровь проливать?

Кондуктор, открывая дверь, толкнул Ерголышку в спину и, не извиняясь, сказал:

— Загромождаете, господин, пожалуйте либо в уборную, либо в вагон.

Прошли в вагон. Ерголышко влез на свою полку, над Модестом Ивановичем, и долго еще через узкий коридор к голове Кузьмы от окна хрипел его говор, приглушаемый стуком вагонных колес: то проклятие дилетантизму — фиговому листку современного эстетизма, то банкротству рационализма, вплоть до краха науки. Да, да, до краха...

И, сияя большими — от переполнявшего чувства глуповатыми — глазами, Ерголышко захлебывающейся скороговоркой просеивал речь афоризмом:

— Чтобы жить, нужен синтез. Новый, полный, опять не-по-сред-ствен-ный синтез. Великий правдивец Золя знал, что сказал: религии могут исчезнуть, но религиозное чувство создаст нечто новое. Да-с, даже и при науке.

— Это вы и есть, что ль, создатели?

Ерголышко, чуть не выпадая из своего гнезда вниз, на сердитых, разбуженных им пассажиров, забыв про спящих, вскричал:

— Не религию, а не угодно ли вам самое новую жизнь, самое осязаемую конкретность?

Сердитый разбуженный пассажир заворчал: «Господин, вы б заткнулись, ей-богу пора».

Ерголышко рассыпался в извинениях, перебудил новых сердитых людей, угомонился и, закутавшись в плед, утонул в подушке.

А Кузьма, едва закрыл глаза, как тотчас увидел, что кружится по саперному полю. Поле однообразное, снежное, над ним тускла луна. От луны, как в фокусе от театральной, яркое пятно; им освещен лишь один труп Британа, вождя военной собачьей стаи. Сверкает белый оскал зубов предсмертной собачьей усмешкой, и вот уже это не зубы Британа, а Пашенькины жемчуга на полной голой шее. За шею запрокинута голова, и белки закатившихся глаз бельмами смотрят на луну. Кузьма кинулся поднять Пашеньку — и вдруг не найти, где она. Пропала луна.

— Черт знает что, тут слезать, а у них свет погас, — заворчал в уровень с его головой готовый для выхода Модест Иванович.

— Тула, господа, кому нужна именно Тула, — привычной скороговоркой бросал вниз кондуктор, забравшись по лестничке к фонарю и вставляя в него новый толстый огарок.

В Туле вышел Модест Иванович, которому Ерголышко без конца спускал вещи и заботливо кричал, чтобы он не простудился.

До Москвы Кузьма больше не спал; билось сердце, мутило тоской и злобой: зачем залез в чужое дело — не по выбору, по чужому воздействию. Уж лучше бы остаться на месте охранять Пашеньку, разделить ее участь. Один, со своей бессонницей, беспощадно подсматривал мысли, опять ловил себя на желании не только не входить в реальную борьбу — сбежать от всякой реальности, чтобы в одиночку наконец разобраться, какой из звучащих в нем голосов — его собственный голос. И в ушах звучала и томила строка:

Я жду призыва, ищу ответа...

От ритма строки, от биения сердца ширилось чувство, хотелось сгореть, не быть, отдать себя в жертву. Но чему отдать? И новая строчка того же поэта обличающе отвечала:

Чему нет названья, что вне описанья...

Вместе с тем разумом Кузьма не только знал — он твердо хотел, выйдя в Москве, идти в район такой-то, к товарищу такому-то, чтобы приложить руку к работе реальной, касавшейся тех, которые еще недостаточно были сыты и простым черным хлебом. Воля его зачеркивала бесконечность между его тайной взволнованностью интеллигента, сына своего времени, и твердыми, простыми, ясными лозунгами бессрочных заводов и тех, перед кем неоплатный все множился долг. Но чувство, но чаянье зачеркнуть было вне воли, и тяжко болело сознание его двоедумством.

Утром с Ерголышкой пошли разговоры домашние. Оказалось, что он земляк отцу Пашеньки и самолично не раз закупал у дядька Вереды знаменитые «примёры» для своих «Новых пахарей», разумеется, сплошных вегетарианцев. Даже лошадь Фанфару он запомнил по звучному имени.

Кузьме было приятно это перечисление милых сердцу имен из уст Ерголышки, сиявшего дружелюбием и невинностью. И на повторенное приглашение ехать прямо к нему в подчердачник — Кузьма согласился.

Поехали за Сухареву башню, к заставе. В старом доме, с проходами, кладовушками, витой лестницей, Ерголышко ввел Кузьму в светлую горницу под крышей и сказал:

— Располагайтесь!

Кузьма долго глядел в окно на одноглазую башню, как в кружевном одеянии, в переплете лесов, красневшую в утренней мгле, на дальний голый лес Сокольников и с ужасом думал, забыв всякую психологию, какие вести о киевском восстании суждено ему будет узнать от Шумко, вольноопределяющегося Ростовского полка, к которому была рекомендация Десницкого.

Кузьма решил без проволочек войти сразу в дело и отправился в Спасские казармы. Шумко куда-то торопился и, прочтя письма из Киева, сразу сказал про самое важное:

— Если запасных не отпустят — наш полк вот-вот подымется...

Предложил дня через два зайти снова, чтобы идти вместе на переговоры с комитетчиками.

До этого срока Кузьма решил съездить в свой поселок, повидаться с названым отцом и, отказавшись окончательно от ученой карьеры, целиком отдаться московским делам. Он переночевал у Ерголышки и утром опять понесся в вагоне в родной город, который был в нескольких часах от Москвы.

Выйдя на вокзале, Кузьма саней не взял, решив пройти пешком те две версты до дому, знакомые с детства от далей и горизонтов до последнего придорожного камня. Он сильно волновался, и ему надо было привести себя в порядок ходьбой.

По дороге из Москвы Кузьма ехал со знакомым агитатором, который отзывался с восхищением о рабочих его завода. За это короткое время в их сознании произошли огромные перемены. Рабочие поняли вдруг то, чего, думалось, они годы понять не способны.

Рабочие поняли, что вся их неудача от выступления цехами и вразброд. Цехи перестали сейчас враждовать, и в недавних переговорах о выставленных требованиях, как говорил агитатор, выборные держались сплоченно, как один. Возник свой «совет рабочих депутатов», который за один этот месяц, наподобие Петербургского совета, стал правительством.

Кузьма подумал, что если бы он не уезжал в Киев, то естественно стал бы участником заводских дел и такое бы сейчас чувствовал удовлетворение, как вот этот московский агитатор, не свой, пришлый на заводе человек, которому он завидовал. И поднимался гнев против названого отца за то, что испугался он за его судьбу и услал с завода. На «Фонарике» от Пашеньки Кузьма узнал о сопроводительном объяснении доктором его болезни как «гипертрофии социального чувства».

Да, иное было бы дело, если б судьба его не выбила из среды. Оставался б рабочим, как отец и дядя. Сейчас знал бы злобно и твердо, вместе с лучшими заводскими, не сознанием только, а каждым мускулом, за что ему биться. И всей бы волею, без остатка хотел лишь одного — победы.

Волновался Кузьма и от предстоящей встречи с отцом. Твердо знал, что она будет последней, потому что решил уйти и ничем не зависеть от доктора. С такими думами шел он по крепкой тропе, над широким разгоном, за которым бесконечными черными лентами неслись к лесу рельсы.

С каждым шагом все ближе, все ярче, как живой виделся названый отец — доктор Вереда, последнее время сутулый, с сивою головой. Только глаза сохра-

нялись прежние, синие как река. Глаза, сквозь стекла очков, смотрели просительно и умно. Вставала та первая встреча, когда в ответ на свое хорохорство мальчонка встретил ласковую, твердую помощь. Вставала вся жизнь, год за годом, в крепнущей незаказанной связи свободного выбора отцовской и сыновней любви. Тем сейчас неблагодарнее и жесточе была невозможность не только взаимного соглашения — простой жизни вдвоем.

Впрочем, едва поднимались упреки доктору, как уже падали, не сказанные до конца и себе. Ведь если это доктор оторвал его от среды, заразил своим скепсисом, создал двоедумца, как кинул тогда на саперном поле ему Абрам Рут, он сделал все же лучшее, что он знал, и от своего лучшего.

Сейчас старый, с больным сердцем, разве незаслуженно ждет отец утешения? Без огляда взял к себе, вырастил и любил. И Кузьма думал о том, что счастливее для обоих было бы, если бы доктор вдруг умер, пока отношения не испорчены, и остался бы он с одной глубокой памятью о названом отце ссвершенно один, без роду-племени, свободный как ветер.

И так ярко он этого захотел, что от ужаса и испуга даже сразу не понял, о чем спросил его, затягивая вожжи у бойкой лошадки и соболезнующе склоняясь с высоких саней, встречный знакомый сосед — купец Топырин.

— Чай, по телеграмме приехал? Это я спосылал. Фекла, вишь, ваша неграмотна. Ну, божья воля, не дождался он тебя...

— Кто не дождался? — крикнул Кузьма, хватаясь за борт ковровых саней так сильно, что, как куль,

закачался Топырин, а его лошадь, вырвавшись, пробежала вперед.

— Кто не дождался меня, кто? — догнав Топырина, еще тяжко молвил Кузьма.

Топырин смешался, покраснел и, стараясь как поделикатнее, оправдываясь бормотал:

— Ну, вижу я, что ты пеший, не спешит, чую, домой, знает, что горю уже не помочь. Ан ты с телеграммой-то, видать, и разъехался! Ну что, брат, делать, отец твой названый, почтеннейший врач Вереда, три дня пронемог — ночкой кончился. Да-с, под сердечным припадком. Садись, пожалуйста, для такого дела я и коня поверну...

Кузьма сел рядом с Топыриным. Лошадь нехотя завернула назад. Кузьма молчал, а купец, довольный его сыновним горем и гордый тем, что ему выпало первым так поразить известием, хрипел своим знающим приличие баском о превратностях жизни, о заслугах покойного, о ценах на гроба всех разрядов.

Кузьма же, больше всего потрясенный тем, что его тайные мысли совпали с свершившимся фактом, сейчас ощущал эти мысли позорными и будто повинными в смерти отца, сколь ни оправдывал себя в том, что желание свободы от старика происходило наполовину от страха его же огорчить. Вспоминал, что доктор сам не однажды предсказывал себе подобную внезапную смерть, — ничего не помогало.

Свидание с отцом, сейчас совсем по-иному, согласно его тайным мыслям, выходило последним, и Кузьма в родной дом вошел как преступник. Так памятные, синие как река, глаза доктора были закрыты тяжелыми веками, и без привычных очков это лицо желтого пер-

гамента стало просто чужим лицом мертвеца. Уже не было нужды заострять свой ум и волю на борьбу за линию жизни, и Кузьма растерялся. Он будто разбежался изо всех сил, чтобы разнести препятствие на пути, а взамен препятствия оказалось голое место, и вот некуда деть развитую бегом силу.

Скорее обратно в Москву, там вложить эту силу в работу, которая здесь уже сделана без него. Слова агитатора подтвердились. Кузьма прогулял важнейшие события во внутренней жизни завода: сформировался комитет, железнодорожная организация росла и крепла, как сказочный богатырь. Огромное значение ее Кузьма воочию мог оценить сейчас же, в день похорон доктора.

Из дальней пограничной крепости пришла весть, что вынесен смертный приговор инженеру и железнодорожникам за принадлежность к союзу и революционную агитацию. Исполнение приговора назначено было на днях.

Вечером в большом здании театра со стойла́ми, изображавшими ложи, шел митинг. Кузьму поразил порядок: входили рабочие цех за цехом, подчищенные, причесанные, как на праздник, пьяных не было. Под фотографиями, гордостью завода, где изображен был выпуск первого теплохода по Оке, увидал он знакомых: лысого благообразного монтера, заведующего театром, начальника соседней станции, присяжного поверенного в длинных волосах, похожего на престарелого Надсона, и чертежника-сердцееда, черные усики кверху, и того молодого блондина в черной рубашке — ехавшего с ним агитатора. Его, видимо, привыкли слушать, ему верили — все глаза были устремлены на него.

Блондин влез на стул, не входя на эстраду, и прочел для сведения товарищам: «Отдел союза инженеров... просит оказать энергическое содействие к спасению начальника участка и других агентов, назначенных к повешению».

— Товарищи, — сказал, глядя поверх голов, читавший, — телеграмма эта сейчас обсуждалась на собрании станции Москва, и единодушно постановили рабочие: за-щи-щать. Как же мы, товарищи?

Окончить не дали, загудели:

— Присоединяемся!

Лица пылали, все стали одной воли. Эти люди, разрозненные, доселе знавшие интересы своего цеха, часто враждебные цеху чужому, в один миг выросли из самих себя от одной товарищеской гордости, что заявили свое право на защиту осужденных.

Волнение собравшихся, еще непривычных облекать свою силу в формулировку словесную, было как страсть. Оно требовало себе простора и действия. Слышались возгласы: «Телеграмму министру... Директора в шею! Наша работа, наш и завод!»

Провизжали мальчишки: «Камнями хозяев!» И нацелились было сшибать в палисаднике бюсты братьев-инженеров, основателей завода. Старшие не дали.

Махая над головой белым листком, как флажком, молодой телеграфист пробрался к члену центра и, не в состоянии от радости и волнения что-либо сказать, молча подал ему полученную телеграмму. Блондин встал на стул и прочел:

— «Общее собрание рабочих и служащих нашей дороги, глубоко возмущенное произволом и беспримерным насилием над нашими товарищами со Средне-

Азиатской дороги, постановило заявить, что если до десяти часов вечера не будет получено уведомления об отмене военно-полевого суда и смертной казни, то объявлена будет забастовка, ответственность за которую всецело падет на правительство, дающее одной рукой свободу, а другой производящее акты возмутительного насилия над личностью».

В театре крикнули:

— Долой смертную казнь!

И долго, как всплески разбушевавшихся волн, из общего гула взметывались ярко эти слова, то вразбивку, то неразорванной тяжкой фразой: «Долой, долой смертную казнь!»

Наконец блондин опять взял слово:

— Товарищи, мы посылаем настоящую телеграмму и предупреждаем вас, что если в десять часов не получим удовлетворительный ответ, то предлагаем вам прекратить работу и поддержать общее дело.

Кузьма хотел уехать вечером и опять не уехал, а вместе с цехами, не желавшими расходиться, совсем поздно ночью дождался ответа в театре, освещенном как для спектакля.

Торжественно с эстрады член центра прочел:

— «По распоряжению военного министра исполнение приговора к смертной казни... будет вновь пересмотрено».

Рев восторга заглушил дальнейшее. Люди плакали, обнимались. Это было больше, чем радость, это было торжество рабов, получивших власть творить жизнь. Ведь еще так недавно, летом, они на далеких, окутанных лесом полянах, пугаясь каждого куста, робко пытались запомнить посулы агитаторов о своем праве

к силе в золотом каком-то веке. И вдруг этот миг наступил сейчас. Воля их союза — закон.

— Всеобщей забастовки струсили, добром их, чертей, не пронять, нипочем не отсрочили б казни!

— А забастовку кто делает? Разве не мы?

Перед отъездом в Москву Кузьма зашел попрощаться с заводом: знакомые места. Вот здесь на рельсах, у палисадника, паровоз раздавил дядю Потапа. Сейчас сомкнуты ворота, и краснеет на них все та же неуберегающая надпись: «Берегись!»

Сконфуженно, будто ведая про вчерашние угрозы разбить их, такие домашние, созданные для гордости лишь семейного круга, темнеют в палисаднике бюсты братьев — основателей завода. Гордились заводом рабочие, им хвастали пьяные и тверезые: «У нас паровозов одних двести сорок что год. А землечерпалок? А ледоколов?» Хвастали сердцем всего производства, как мужик родимой кобылой, гордостью горячего цеха — печью Мартена.

Кузьма, как свой, прошел в середину завода. Не слышна поступь по мягкой земле. Здесь каждый знает свое. Здесь все само возникает, само исчезает: вот выплыл чудовище-кран, вот с грохотом тянутся цепи, и уже нету цепей, огромный крюк провис из лиловой мглы сверху. Как маятник в легкой раскачке, он что-то нащупал. В грохоте, в густой песочной пыли черны машинисты.

Кузьме здесь все с детства родное, все дорого, всему знает он имя. Как потомок древнего рода в фамильном склепе себя ощущает особенно остро членом

фамилии, так Кузьма на заводе себя чувствовал только сыном, только внуком и правнуком рабочего.

— Мы сварочного цеха графья, и не запомнится, какого колена; вот он, наш герб, — говаривал дядя Потап, подходя, бывало, к печи Мартена.

И сегодня особенной кажется эта печь. То ли после вчерашнего от полученной телеграммы, от торжества, что пред рабочими сдались сами министры, но хоть закрыты у печи Мартена веки-заслонки, сдается, гудит и бушует за ними сплав яростней, чем обычно. И как радует ее пламя, ее раскал добела. На него без стекла и не глянуть, а в стекло оно нежно-лилово. И вот поражает — хоть заслонка огнеупорной глины не шире аршина и едва отдернута — за ней море, море огня.

Пред Кузьмой встала вчерашняя зала театра, и ликование цехов, и крики: «Долой, долой смертную казнь!» В непостижимом волнении Кузьма опустился на скамью мастера у стены; прямо напротив пролет. В него солнце метнуло лучи сквозь стекло потолка, и зашевелилась, пошла клубами голубоватая мгла.

— Словно в архиерейскую службу от ладана, — мимоходом бросил Кузьме Гудаков, указывая на подъемные краны, проплывавшие наверху, как в фимиаме, во мгле.

Гудит печь Мартена. Мастер делает знак, нагрузной длинным черпалом из волн бунтующей стали берет малую пробу. Эту пробу льет в форму — брызги огнем. Мастер пронзает сплав острием и роняет слова: «мягко», «твердо», — нет еще, нет пропорции.

Новый знак — разверзлась опять пасть Молоха: лопаты, лопаты железной руды. Опять за заслонкою волны сплава, как волны моря.

Форсунка в печи Мартена фыркает и клокочет, визжит пневматический молот. В кабинке какие-то высшие части машины подвергаются внутренней сложной прочистке, выдуванию прибором со сжатым воздухом. И визги, и стоны, и будто терзают кого-то живого.

В печи Мартена много сот пудов сплава, и плавится сплав круглые сутки. Работают смены, работают ночи и дни. Нагрузные, накидные мастера, и без счету руды...

Вот старшому на грудь вешают градусник, температура предельна. И смотрит с опаскою мастер, как бы не потек самый свод. А все еще «мягко», все еще «нет пропорции».

Вот последняя лиловая, светоносная струя «пробы»: как живое тело из пламени, выхватил ее нагрузной, и долго в куче мертвого лома не меркнет, как в темной зге светляк, этот огненный кубик. И торжественный удар в колокол: «есть».

Довольно кормить ненасытную печь черной рудой. Сплав готов. Чтобы его достойно принять, докрасна разжечь, надо необъятно-сказочный чан. Уж не тот ли, что в сказке про Иванушку-дурака...

Стоит чан внизу под желобом из печи Мартена. Вот, багровея, раскаляются его стенки, пышет пожар изнутри, а сверху из мглы наезжает мостовой кран с адским грохотом. Крюк, тихонько спустившись, будто завернутый хобот слона, набредает на петли, вот зацепился, их воздел на себя, и бьет мастер третий, последний удар.

От замазанного отверстия печи Мартена к громаде ковша протянут желоб. Рабочий долбит ломом забитое глиной выходное отверстие. Вот он подался вперед го-

ловой, вот приник совсем к ложу стали — и вдруг... вдруг просчитается человек, когда отдернуть ему лом? А просчитался — в глаза ему бешеный сплав.

Но нет, опытен мастер: как пикадор в быка, он всадил в глину и вытащил лом. Вытащив, отскочил. И по желобу ринулся в чан, тяжко шумя, как кованая золотая парча, густой огненный сплав. И вот когда ферросилиций.

Лихо извернувшись со своею лопатой, подкинул рабочий в чан напряженной рукой порошок для улучшения качества стали. Облегченно вздохнул, весь взыграл тяжкий сплав легким серебряным светом. До краев полный, тяжко крякнул, сорвался с места сказочный чан, скользнул по рельсам и пошел разливать в разнообразие форм свой огонь.

II. «НОВЫЕ ПАХАРИ»

И в этот день на Сухаревке толкался народ с разной подержанной дребеденью. Рыжими жилетками, сюртуками и брюками торговали старьевщики, исходя в клятвах, что «тройка» как есть впору на всякого: и дородного, как овощ на полях орошения, от вечных паров раздутого банщика и на щуплого чиновника, забежавшего прямо со службы с портфелем, пока только прикинуть глазом, по росту ли, в чаянии приближения срока рождественских наградных. Стоял декабрь.

На Спасские казармы, которые были тут под боком, никто не смотрел. Они, как и прекрасный фасад белоколонной больницы, давно стали сухаревцу привычным фоном всякой рыночной суматохи. И у прохожего,

за мелкой заботой, его заедавшей, не было глаза различать что-либо, кроме насущно потребного.

Да и что было в казарме особенно различать? Годами с утра до ночи здесь шел свой военный обычай, схожий с движением стрелок в заведенных часах: караулы, шагистика, отдание начальнику чести.

Но Кузьму, подходившего к казармам с особенным к ним интересом, еще издали поразил необычайный их вид.

Солдаты, без военной выправки с выпяченной грудью, шли сегодня вольно, с сутулиной, вразброд, или сновали из калитки во двор с узелками, как в банные дни. На большом внутреннем дворе, не видном с улицы, Кузьма узнал от знакомого фельдфебеля, что офицеры обезоружены и содержатся ротами под арестом. Глубже, во дворе, среди толпы шинелей, таких же серых и сбитых тесно, как в коробках инжир, стоял на бочке агитатор. Говорил он, видно, давно, судя по тому, что охрип и срывался с голоса, дорубывая фразу руками и энергичным сверкавшим лицом.

— Колесо немазаное... Да пусть тебя предыдущий сменит! — кричали оратору.

— Не угодно нам предыдущего, ногами он деркотит.

— Хрипи, товарищ, хрипи во здравие!

Солдаты были хмельны. По признаку предыдущего оратора — «деркотит ногами» — Кузьма догадался, что только что говорил вольноопределяющийся Шумко, к которому он и шел. По скромности не доверяя силе своих слов, Шумко обычно дополнял речь егозливостью, что солдатам, привыкшим к внушительности начальников, совсем не нравилось, и за трепыханье они про-

звали оратора «воробыш». Впрочем, Шумко любили и на деле слушались больше всех. На вопрос Кузьмы, где вольноопределяющийся, ответили:

— Из воробышев в орлы возведен.

— Довольно речей, — опять закричали оратору, — не раки, чтобы пятиться. Веди к комитетчикам, полк готов!

Вышел из погреба Шумко, принимавший винтовки и пулеметы. Это был блондин, с рыжинкой, чуть-чуть «кувшинное рыло». Он восторженно прошлепал толстыми губами:

— Ребята, все шесть в исправности; всего же на Москву тринадцать пулеметов. А винтовок...

Покрыли криком: «Выступать!»

Неправдоподобно было Кузьме, заодно с выборными и Шумко, выйти из казармы на улицу, такую, как всегда, еще не знавшую, что солдаты обезоружили офицеров. Улица разворачивалась то оголившими деревья бульварами, то кривоколенностью переулков, то всегда нежданными в Москве площадями с добротным памятником и небьющим фонтаном. Все носило печать многолетия, уклада, с наведенным наскоро декадансом, как кудряшки и модный рукав баллоном на спокойном дородстве замоскворецких купчих.

Идущих то справа, то слева через всю Москву провожал золоченый купол храма Спасителя в синей эмали морозного неба. И мчались от храма стремглав, будто в ссоре, все дальше отбегая одна от другой: Пречистенка с Остоженкой, со своими присевшими, словно в страхе, церквушами.

На окраине Шумко провел выборных и Кузьму черным ходом в чью-то квартиру. Вышли двое: неста-

рый человек в очках, с умным ассиро-вавилонским лицом, похожий на те надгробия, что стоят в Историческом музее. Он печально всех оглядел и, ожидая, что скажут солдаты, молча укрылся за свои очки, как за защиту.

Солдаты, стесняясь непривычного положения, считая, что со штатским говорить надо как-то особенно, чтобы он понял, в чем дело, затоптались на месте, твердя: «Весь полк как один, весь полк».

Потом они умолкли и пальцами, не занятыми отданием чести, стали теребить борты шинелей.

Солдатам ответила женщина с гладко зачесанными волосами и твердым белым лбом. У нее было доброе лицо, несколько старинное, с дагерротипа, и белый воротничок. Она тоже была словно не рада заявлению солдат и сказала с тоской: «С выступлением надо бы подождать, пока будут сагитированы и другие части». Еще добавила: «Ведь у нас предначертан свой план».

Шумко покраснел, как краснеют одни рыжие, — до корней, выкрикнул: «У вас план, а здесь люди!»

Оборвался, махнул рукой. Кузьма понял, что, как и он, Шумко, едва упершись вплотную в людей теории, уже узнал свое бессилие объяснить им, что чувство, охватившее солдат, вчерашнее пушечное мясо, не может ждать. Фельдфебель же простодушно сказал:

— Пока вам, партии, подсчитывать московские штыки, разложится наша часть.

— Ваше благородие, — доложил другой, приложив руку к козырьку, отчего нашел сразу нужные слова, — безусловно начальство за ум возьмется; а едва отпустят запасных — молодые отвалятся сами.

Комитетчики, измученные мыслями о неудачах и расправах в Свеаборге, Севастополе и Киеве, молчали.

Наконец женщина с дагерротипным лицом встала и, жестом отпуская солдат, скорбно начала:

— Ведь мы обязаны быть осторожными, мы отвечаем, мы...

— Товарищи, — прервал ее, вбегая, человек в набекрень съехавшей студенческой фуражке. — В комитет депутация от казачьей сотни!

Из коридоров мгновенно набрались свои люди, открыли запертую на ключ входную дверь, и через нее молодцевато вступили в собрание два казака. Они протянули руки, как выстрелили из пистолета, сказали:

— Ваши листовки наша сотня читает, да одним невнятно — приказали, чтоб от вас толмача.

Поднялись предложения, споры, каких ораторов лучше послать. Выборных от ростовцев забыли. Шумко, заметно побледневший от волнения, тронул за рукав человека в очках и с обидой вымолвил:

— Ведь решения люди ждут.

Комитетчики посоветовались между собой пониженными голосами, и тот, что в очках, объявил:

— Приходите дня через два, мы вам скажем, что решили на общем собрании.

Дорогой в казармы выборные были растеряны. Один, запомнилось Кузьме, с испугом, детскими молочными глазами, все оглядывался на Шумко и восклицал, именуя его партийной кличкой:

— Товарищ Лебедь, как же теперь? А, товарищ Лебедь?

Но Шумко, небольшой, егозливый, безмолвно деркотил ногами и, передергивая лопатками, будто утряхивал и не мог утряхнуть на спине какой-то незримый, тяжкий мешок.

Дом Ерголышко, где жил Кузьма, был у самой заставы. Комната лепилась под чердаком, и в далеком обхвате мог видеть глаз из окна и Сухареву мглистую башню и деревья дальних Сокольников. Здесь часами, глядя на золотеющие в синеве купола, пытался Кузьма осмыслить необыкновенные события последних недель. Но осмыслить ничего он не мог. Сейчас в пору ему было только двигаться подобно лунатику, вознесенному на опасном карнизе, с ежеминутной угрозой падения вдребезги, если окликнут по имени.

Благодаря письму Десницкого Кузьма стал сразу у дел. Как доверенный, ходил в войска, заводил связи. Сжимая в кармане браунинг, ежеминутно готов был убивать, защищаясь от ареста, и все-таки той уверенности в необходимости своего дела, какая была у простейшего члена партии, у него не было. Он себя отдал чужому налаженному механизму как рабочую силу, помня слова Десницкого, что, не кинувшись в воду, не научишься плавать.

Апашин, тот самый, что приезжал в провинцию и носил на указательном пальце кольцо с мистическим кадуцеем, как-то, встретясь на улице, рекомендовал Кузьме всячески посещать собрания кружка Ерголышки, который, прибавил он, конечно, хотя не наш кружок, но имеет свои достоинства. Кузьма до сих пор как-то не встречался с Ерголышкою, который был хранителем чего-то в музее и приходил только вечером, когда Кузьмы не было.

Сегодня, войдя в свою подчердачную комнату, дальнозоркими глазами разглядев на часах Сухаревой башни ровно шесть, Кузьма вспомнил, что как раз накануне Ерголышко, ухватив его за руку, умолял не-

пременно прийти для оценки какой-то «экспозиции» работы кружка.

— Всенепременно придите, вы продвинетесь, я уверен.

— Куда именно продвинусь? — рассеянно спросил Кузьма.

— Вы продвинетесь на Пути, — упирая на слово, мысля его, очевидно, с большой буквы, молвил Ерголышко. И Кузьма обещал.

Сейчас, выйдя на лестницу, извилистую, с мудреными завертками, с слуховыми оконцами и чуланами, Кузьма увидал двух подростков-маляров, которые старательно докрашивали какие-то куски. Ерголышко, в парусиновом запачканном фартуке, топотался над ними маленький, очень румяный, кругом лысый.

— Под брюхо ему подпусти, слышь ты, под брюхо! — кричал он подмастерью живописных дел мастера, выводившему на темном зубчатом куске картона желто-красную полосу.

— И то напустил... не одним, чай, баканом — в копеечку вгоните!

Другой подмастерье тут же ладился промахнуть тонкой кистью усы на ужасающей морде дракона.

— Злодей, где экспрессия, где? — вскричал Ерголышко, всплеснув руками, и Кузьма не опомнился, как он прыгнул сам к маляру, присел на корточки и, состроив лицом презабавную японскую маску, застыл.

Маляр, как на привычное глядя, прищурившись, на гримасу Ерголышки, деловито заносил складку за складкой с его бритых щек на зеленую морду дракона.

Кузьма смеялся, а Erголышко, уже рядом, тряс ему руку и, будучи много ниже ростом, пучил на него вверх, как на дерево, большие смешливые глаза.

— Придете? Вот-вот подкрасим, и откроется.

То, что Erголышко позировал сам на дракона, чем-то понравилось Кузьме, и ему захотелось впервые узнать, что у него там за кружок. С иным человеком бывает как с пейзажем, уже намозолившим глаза, которому отведено в мозгу неважное, серенькое запоминание, и вдруг, в каком-нибудь необычайном наклоне увиденный, этот самый пейзаж предстанет цветистым, как радуга.

«Вот он какой, — думал про Erголышку Кузьма, — не дурак, не глупец, а какой-то мудрый Иванушка-дурачок».

Ровно в шесть часов к Кузьме просунулась румяная лысая голова, огромные глаза Erголышки выманили его на площадку, а рука, для крепости ухватив за рукав пиджака, повлекла за собой по бесконечным лестницам и переходам вниз. Erголышко, торопясь как всегда, разъяснял на ходу работу кружка:

— Мы вас понимаем, а вам надо бы нас. Ведь ваша работа на то, чтобы всем быть без классов, без войн, а в смысле душевном — какая-нибудь этакая простокваша долголетия. Так? Уж признайтесь, как давеча я вам говорил: после ваших рук человек хоть и будет одет, да станет голеньким. Вот так ребус, хе-хе! Что я вам про Францию докладывал, все то как пить дать сами повторим, коли вовремя не спохватимся, что не враги с вами, батюшка, а союзники. Вот скажите там вашим «кто был ничем, тот станет всем»: коль соединимся, всего и запасем! В одиночку же ни нам, ни им не потрафить. Ой, изверги, смазали...

Ерголышко прыснул в угол, расставил по стенке сбившиеся в кучу куски декораций, повел пальцем, понюхал, лизнул и вдруг ринулся, напер на Кузьму руками, глазами, светлыми, как у горных пастухов, отвыкших от речи, завопил:

— В обоюдном союзе запасать нам кормы будущим!

«Иванушка-дурачок», — опять подумал Кузьма и спросил:

— Вы немец?

— Бабушка, — отрубил Ерголышко. — Для меня уже не существенно, я вне рас. Но бабушка нюрнбергская бюргерша, почему кюммелькухены с кофеем чту. Однако к нашей теме — последний удар обоюдной работы по раскрепощению гражданина таков: вести его до художника. Раскрепощаете — вы, доводим — мы. Тэк-с?

— Любопытно, каков ваш прием, — заинтересовался Кузьма.

— Рановато прием, лаборатория. Место нам после вас. Практически сейчас работа ваша. Когда вспашете, мы взбороним. Глядишь, семечко и даст сто крат... Сюда пожалуйте, вниз. Бутафории не пугайтесь, не у всех, знаете, воображение — соображение. Надо покрепче внедрить. Вот, между прочим, дракон...

Ерголышко не кончил, сбежал один скоро с лестницы, нашарил какую-то палку в углу, вернулся снова, крепко стиснул руку Кузьмы и, припирая его к стене, вышептал:

— А «Дневник-то писателя» — как про эти дела? У него, батюшка, капризов ни-ни, сплошь предуведомление. Из брезгливости к социализму механизирован-

ному, если вспомните, зна-ме-на-тельный порожден там персонаж. В грядущем-то, в утробном благоустроении, персонаж тот возьмет да и возжелает послать все гармонии к черту! Вот и скажите им, батенька, — кому, сами там знаете: если мы с ними рука об руку, механизация не воспоследует.

И опять на корточки, и, как из вербной игрушки ванька-встанька, Ерголышко порхнул кверху и перстом в грудь Кузьмы:

— Вы из подданных в гражданина, мы гражданина — в ху-дож-ни-ка. По рукам? Куете вы, куем мы. Обоюдно — горячего цеха кузнецы, тэк-с.

Наконец утомился и уже безмолвно потащил за собою большого Кузьму через ступеньки, завертки, чуланы. Потоптали склад старых книг, испугали котов и внеслись в апартамент экспозиции «Новых пахарей».

По задней стене большой комнаты шла ниша, в ней полукругом скамья, на скамье люди: пиджаки, очки, платья темного цвета, как на любом педагогическом заседании, и посреди только одна не сидящая, очень красивая женщина стояла во весь рост в пеленах цвета картин Леонардо. В ней поражали длинно подведенные, будто крылатые, змееподобные глаза. Женщина подняла голую руку, лениво махнула кистью, словно мух согнала, и тотчас вышли на эстраду из боковых дверей черные фигуры, скорее женские, чем мужские, вроде тех, что поют в опере Зибеля и пажей. Фигуры выстроились перед публикой — Кузьмой, двумя малярами, чьими-то гувернантками, чьей-то учащейся молодежью. Председатель, голенастый высокий человек, вышел к рампе среди ставших парами черных. На руках у него, как библия, лежал огромный квадрат,

В него мелом был вписан круг, разделенный множеством радиусов. Концы их, точки на окружности, ртутными шариками трепетали на своих местах.

— Авва Дорофей! — воскликнул председатель и нажал какой-то механизм сзади круга. Шарики, перестав топтаться на месте, кинулись, как остервенелые, чтобы слиться в общее ртутное озеро. В тот же миг грянул за дверью аккорд, и на стене в канделябрах пыхнул свет.

Председатель, торжествуя, сказал:

— Авва Дорофей учит так: люди — точки на окружности. Жизни их, даже диаметрально противоположные, если будут двигаться по своему радиусу к центру, одновременно станут и ближе друг к другу. Точки — люди, радиус — служение людей миру. Каждый, потонув в своем, встретится со всеми в центре, ибо все будут там, как дошедшие по собственному радиусу.

Председатель иерейским движением вознес на свою голову квадрат и, как в малом выходе, устремился в боковые двери. Скоро вернулся с пустыми руками и вопросительно глянул на прекрасную женщину, стоявшую среди ниши. Женщина снова махнула ленивой рукой, и четыре маски шагнули вперед. Руки их были стиснуты, головы опущены долу.

Маски сказали хором:

— Женщина! — и умолкли.

И опять:

— Женщина, в облике Евы тленной, множит тоску древнего Адама по божественному Андрогину, по пленительному мифу Платона — не рассеченному яблоку, когда каждый имел сам в себе сад услад.

И аккорд, и контральто, и хор со скамьи:

— Сад усла-а-а-ад!

Выступил некто с отчаянной отчетливостью, как топор по дровам отрубил:

— Утрачена сила. Утрачена полнота. Утрачены, утрачены.

Фигуре не дали продолжать. Справа и слева взметнулись маски, выгнулись руки, и медленно, выпуская слова, словно штуку добра, бесстрастно разворачивали длиннейшую фразу: «Восстановитель единства — одна она, вечная, вечная женственность». Сидящие полукругом в очках, пиджаках, темных платьях встали, подняли руки, потом сели.

Пожилой человек вроде старого профессора, почему-то без всяких ухищрений, как обыкновенный лектор, вышел на обыкновенную середину и, старчески шамкая, объявил:

— Сейчас будет чудо Сикстинской мадонны, выпрямляющей Глеба Успенского.

— Будет! — возопил раньше времени хор справа и слева, старичок, осердясь, потряс бородой и, набрав воздуха, стремительно зачитал:

— Сквозь символ искусства дается опытное знание, но не пробужденный наш разум бесплоден...

Ерголышко вздернул вверх палец, и плеснули тонкие голоса по-гречески и по-русски: «Бесплоден».

Тут произошла неожиданность. Младший маляр, напряженно слушая, покраснел вдруг от гнева и закричал Ерголышке, сидевшему крайним:

— Ефрем Васильевич, прикажите, чтобы не переговаривали один другого!

Второй маляр тотчас присоединился и, решительно махнув рукавом, сказал:

— Пущай их поодиночке, один чтоб конец.

Засмеялась публика, зашептались на скамье.

Ерголышко, сияя сверхчеловеческой ясностью, взбежал на эстраду и закричал:

— Благодарю вас, друзья, сестры и братья, вы от нас назидаетесь, мы от вас. Прошлая аудитория была иного состава, и при ней инсценировка оправдана, но мы наладимся и с вами. Ведь мы не предрешаем, дорогие друзья, мы обслуживаем. Не правда ли, вы хотите, чтобы профессор читал совершенно один?

Опять маляры закричали:

— Довольно переговаривать! Желательно в одиночку.

Вышел профессор, упер глаза над головами слушателей в лепную звезду потолка и начал докладывать:

— У Гете, у Данте есть своя схема истории восстановления ущербного человека. Об этой истории вы узнаете во втором отделении экспозиции нашей работы, а сейчас на символе, который вы видите... — Профессор опустил взоры, затоптался и с видимым неудовольствием повторил: — На символе, который вы еще не видите, но который сейчас вам будет показан. Он будет показан...

— Федька, Пимен, — закричал Ерголышко, давно и тщетно делая знак малярам исчезнуть из зала и заняться каким-то с ним общим и, очевидно, им ведомым делом. Но маляры, вытянув головы, до самозабвения впились в сухонький рот профессора, слагавшего губы то трубочкой, то кружком, и, не будучи

пьяны, дивились немало, почему в несомненно русской речи не могут понять ни синь пороха.

Крик Ерголышки оскорбил сидящих на скамье. Ближайшая дама дернула его за рукав, он вырвался и, страшно лупоглазя на маляров, пронесся, как конь, в боковую дверь. Через минуту все из тех же дверей, кивая публике оскаленной зверской пастью, нося отдаленное сходство с самим Ерголышкой, выбрыкнула первая часть дракона и, словно икнув, остановилась.

— Под хвост забирай, нагнетай, Федька, нагнетай, Пимен! — долетал вопль Ерголышки. Многократно икнув, дракон выбрался наконец весь наружу, обнаруживая вслед за хвостом, как незаконные придатки, мускулистые голые руки двух маляров, с разбегу выпавших из дверей. В тот же миг раздался повторный аккорд, вспыхнули канделябры, и торжественно подошедший голенастый председатель указал жезлом Меркурия на Ерголышку-дракона:

— Вот он! — И еще: — Вот он — побеждаемый Девой!

В этот миг горничная Стеша подбежала тихонько к Кузьме и зашуршала над ухом:

— Вас спрашивает военный, он прошел уже к вам. Какой-то не в себе, не унес бы чего!

Кузьма вскочил, догадавшись мгновенно, что это Шумко и с чем-то, наверное, важным, кинулся к себе на мансарду. За дверями у стены стоял точно он — Шумко. Не поздоровался и вообще имел вид человека, который куда-то шел, забрел сюда не по своей воле, а сами ноги завернули и взнесли на знакомую лестницу.

— Что случилось? — спросил Кузьма, подвигая стул.

Шумко все-таки не сел, сказал не сразу, с трудом:

— Ну вот... — и умолк.

Кузьма, не двигаясь, смотрел на Шумко, пока тот, видимо, отдыхал, как отдыхает тяжко больной в те первые минуты, когда его с привычного ложа страданий перенесут в новое место, — без мысли, боясь дохнуть, чтоб хоть миг не вызвать привычную боль, которая вот-вот с удвоенной силой вдруг кинется грызть.

Как для бега, Шумко вобрал глубоко воздух, выдохнул, повторил:

— Ну вот... На днях мы готовы были в бой против властей, а завтра пойдем уже в бой за власть.

Еще подышал Шумко и кончил:

— Полк принес покаянную, и в искупление вины он назначен на разгон митинга.

— А как ты? Как же вы?..

Кузьма шагнул к Шумко, тот отстранил его рукой, вздернул плечи своей особой манерой, подеркотил ногами на месте, круто повернулся и, бросив за собой дверь, стремглав ринулся вниз. Казалось, внезапно опомнившись, он вдруг понял, что забрел не туда.

Кузьма кинулся вдогонку за Шумко, крича ему: «Подождите!» Тот на ходу отмахнулся и, на миг протемнев на белом снегу улицы, скрылся в узком проходе.

Кузьма остался стоять на крыльце, жадно впивая морозный, яблочный воздух. В тоске пред надвигающимся ужасным каким-то делом смотрел он в ночное легкое небо без всякой мысли и цели, ища на нем алмазное дубль-ве Кассиопеи.

Только когда его затрясло от холода, Кузьма взбежал обратно, хватая сразу по три ступеньки. не глядя

по сторонам. Он чуть не стукнулся о высокую женскую фигуру, недвижно стоявшую на плохо освещенной площадке вверху лестницы. Кузьма поднял голову и отступил. Перед ним была та самая красивая женщина, которую заметил он в несчастной экспозиции кружка Ерголышки. Сейчас она была без змеиного грима и без своих тканей цветов Леонардо — в простом темном платье. Белые, чуть пухловатые маленькие руки были тихо сложены, лицо простое. Вместо крылатости подведенных глаз глянули на Кузьму сейчас с детской надеждой, с какой-то непромолвленной просьбой глаза — просто красивые, с большими зрачками.

Странно было, что женщина не двигалась, не говорила. Она только спустилась ступенькой пониже, совсем близко к Кузьме, не спеша вскинула ему обе руки на плечи и поцеловала его в губы. Поцеловала так необыкновенно, как поцеловать может одна долго ждавшая, много обманутая и наконец все-таки нашедшая своего любимого женщина.

Перила лестницы, мигающий свет, дверь — все закачалось и на миг поплыло перед Кузьмой. Женщина помедлила, чуть откинулась и прошла в коридор к Ерголышке.

Кузьма влетел в подчердачник, открыл форточку, долго и яростно смотрел на дубль-ве Кассиопеи и вдруг решил, что все до чрезвычайности глупо. Конечно, женщина ждала кого-то другого, в полутьме ошиблась и сейчас чувствует себя как и он.

Всего досаднее Кузьме было на себя самого, когда он понял, что мысль о поцелуе, полученном им по ошибке, была ему неприятна.

III. «БУЙСТВО ЛЮБВИ»

Утром беспокойство за участь Шумко погнало Кузьму к Спасским казармам. Там уже все было в порядке, по-старому: навытяжку стояли часовые, и хотя Кузьма знал всех в лицо и люди знали его, часовой с одеревенелым лицом взял на прицел и крикнул: «Не суйсь — заколю!»

Это был один из ходивших с делегацией к комитетчикам, как раз тот, который тогда с детски расстроенным лицом сказал, что надо ждать, пока сагитируют все войска. И это он твердил с жалобой: «Товарищ Лебедь, как быть?»

Теперь он узнал, как ему быть. Шумко был прав, полк не смог вынести напряжения, не переходя в действие. Уже ночью часть раскаялась и освободила из-под ареста офицеров. А едва офицеры появились, все, как зачарованные, стали на прежние места. К тому же сбылись и догадки фельдфебеля. Власти спохватились и отпустили немедленно запасных и отслуживших сроки.

— Рота, стро-ой-ся! — командовал офицер. Вразумляющих речей никто не держал. Разговоры в военном мире, за исключением приказов, почитались делом штатским. Командиры с сознанием силы выпячивали грудь, отдавали краткие властные окрики, и по тону их Кузьма понял — солдаты опять плотно вогнаны в твердое расписание дня. Сверхсрочные, научившиеся рассуждать, были спешно отпущены, молодые отвалились сами.

Кузьме увидеть Шумко и думать было нечего, и, расстроенный, он пошел домой. Когда подымался на

свою лестницу, мимоходом заметил, что Стеша и один из вчерашних маляров разнимают дракона на составные части. Они долго не могли выдернуть его голову, застрявшую шипами в следующем куске. Рядом с добродушно-ужасным драконом вставала голова Ерголышки, присевшего на корточки, вспомнился и нелепый тот вечер с женщиной в тканях да Винчи и внезапный поцелуй ее на площадке.

«А все-таки глуповато все это», — мелькнуло у Кузьмы и остро кольнуло, что, не поглощаясь с головой своим делом, всё чужие дела подсматривает.

Маляр и Стеша, бережно сложив кусок на кусок, вдвинули дракона в темнушку и прикрыли холстом.

— А ну как крысы сгрызут? — бросил Кузьма.

— А сгрызут, подмалюем, — деловито, как о путной работе, отозвался маляр.

Небрежно продолжая разговор, Кузьма спросил Стешу:

— А кто ж та высокая, что вчера стояла, когда все сидели?

— Да это ж Серафима, племянница барина.

— Ерголышки племянница?

— Ане ж, — сказала по-своему Стеша, — фамилье ее только другое. А вам газет куча, чего не берете?

Кузьма взял газеты, пробрался к себе, лег на постель. Их скопилось за несколько дней. Привычные, на вертикали графленные столбцы: на крайнем левом объявлялось о дешевой продаже оставшихся от сезона материй, о том, что вышла новая книжка «Правды» с произведением Семена Юшкевича и почему-то Анатолия Франса — как в сороковых годах писали: Федора Гегеля.

Ответ графа Витте земской депутации тоже сопровождался аккомпанементом объявлений: «сегодня бега», «виноторговля кн. Голицына закрыта», «магазин Select». А в хронике театра, как на прошлой неделе, шли — «Одинокие», «Дядя Ваня», «Дети солнца» и «Чайка».

В следующем номере объявления всё те же, те же хроники и грабежи. Но под охраной вседневности, как под защитным брезентом артиллерийское орудие на фронту, буквами не большими, не меньшими, чем «остатки сезона», некое сообщение: «Петербургский совет рабочих депутатов от командированных делегатов в провинцию получает вести, что всюду, где делегаты побывали, учреждаются местные районные комитеты, немедля входящие в непосредственные сношения с центральным советом в Петербурге». И дальше на следующий день та же история; в крайнем левом столбце, как в вчерашнем: «Остатки у Шанца», а под защитным брезентом «происшествия каждого дня» новое многодюймовое орудие: «Русь», «Сын отечества», «Новая жизнь», «Свободный народ», «Наша жизнь» и «Начало» конфискованы за то, что напечатали манифест объединенных революционных организаций, где предлагается народу не допускать уплаты долгов по займам.

В последней газете была передовица под дерзким заглавием: «Что это? Провокация или безумие?» И разнос графа Витте за обиду вчерашних газет и возгласы и упреки: «Где свобода печати? Свобода слова?»

На крайнем же левом столбце москвичи бессменно ходили в театр, в театрах бессменно шли «Дядя Ваня», «Чайка» и «Авдотьина жизнь» с Ермоловой.

Анонсировался приезд известного престидижитатора Лео, во фраке, в белом пластроне, в черных зарослях бороды и усов. Под ним «Вестник исследований о сношении с загробным миром» предлагал купить все свои двенадцать книжек за рубль, и, как венец, как символ окончательной незыблемости быта, в обособленной черной рамке:

«Подписка на «Ниву» 1906 года».

Но чем гуще быт, чем неколебимей киты обывательского благополучия, тем тревожней известия из-под брезента:

«...назначено экстренное заседание оставшихся на свободе делегатов. Место в строгой тайне. Слухи: ввиду репрессий политических прав общества, решено принять меры до всероссийской забастовки включительно и вооруженного восстания...»

О вооруженном восстании говорил весь город. Оно уже стояло в воздухе таким привычным, неназываемым, как стоит в июле густой запах лип. Не хватало той, всегда внезапной, сколько бы ее ни ждали, чиркающей спички, от которой фосфорная нитка, окутывающая непременную рождественскую елку, зажженная в одном месте, обегает в мгновение дерево сверху донизу. Было празднично и напряженно до пределов. Уже из последнего говорили и агитировали. Но природа людей, нравоучительный и скупой хозяин, чтобы их привести к мысли, что человечество один организм, все еще дробила на многих дары: один правильно мыслил, другой в действии был быстр, как стрела спущенной тетивы, но, как и она, без направляющей руки сам не ведал, куда ему надо лететь.

Разорванных сил для восстания было довольно, но столковаться они всё еще не могли. Давно собирали деньги, копили оружие, из сугубо штатских людей формировали батальоны.

Боевые дружины боролись с погромами, охраняли митинги и демонстрации, но настоящий, открытый бой все еще казался несбыточен и далек. Но этот первый газетный намек на вооруженное восстание взволновал Кузьму как сигнал, за которым уже неминуемо действие.

Кузьме в дверь постучали. Он открыл: Ерголышко, и тоже с газетой. Его болотные глаза доброй лягушки моргали часто, словно надеялись смигнуть что-то, мешавшее им смотреть.

— Извините, — сказал он, смущаясь, — у меня в доме только женщины, и не от мира сего, так что не с кем, знаете, поделиться...

Ткнув пальцем в столбец, Ерголышко прочел: «На Ильинке и других улицах, прилегающих к Красной площади, в виду каких-то ожидаемых на днях событий, в банках и конторах сооружают оконные и дверные заграждения...»

— Скажите, что же это будет-с?

— Поживем — увидим что, — сказал неохотно Кузьма.

Увидев, что толку от него не добьешься, Ерголышко замолчал и, глядя блаженными глазами в одну точку, стал покачиваться с носков на пятки, как тогда на площадке вагона. Потом совсем другим тоном, внезапно просияв, сказал Кузьме:

— Ну, а как вам наше вчерашнее?

— Как сказать, не пойму, право, кому оно нужно. Разве что на драконе маляры заработали.

Erголышко прыснул по-мальчишьи и присел.

— Ну, с вами, батенька, не мне, племяннице моей Серафиме разговаривать. Я, батенька, больно смешлив. А племянницу мою, верно, отметили? Серафима, не Erголышко, а Гнучева. Фамилия символична — гнет всякое косное вещество в дугу. Впрочем, убедитесь сами. Племянница желает с вами иметь разговор после вчерашнего.

— После чего это вчерашнего? — Кузьма покраснел и рассердился от мысли, что женщина про поцелуй рассказала. И мелькнуло: уж не с его ли благословения инсценировка была?

— Сами знаете, — уклончиво сказал Erголышко. — Вы всё решительно знаете сами, только паутина у вас на глазах — упрощать вам желательно. За все цап руками и под микроскоп. Однако ж разрешите часок драгоценного времѐни для племянницы.

Кузьма ответить не успел, как Серафима, не стуча даже в дверь, будто опытная актриса, без режиссера знающая свой выход, плавно вошла.

Кузьме показалось: племянница Erголышки была как лунатик, бродивший всю ночь и еще не пришедший в себя. Хотя она была плотная и большая, но впечатление от замедленности ее движений и особо спокойной тишины было такое, будто она может проходить сквозь стены, двигаться по водам, вообще нарушать законы, которым подвластны прочие люди. И странным двойником, как дракон за ее дядей, возникала с ней рядом та вчерашняя женщина, в драпировках да Винчи, с глазами удлиненными и крылатыми от грима. На самом же деле сейчас, при дневном свете, это была просто приятная баба-ключница (та-

кую видал он в Третьяковской галерее). Глаза были обыкновенные, на совсем русском лице — серые, умные, понимающие. Кузьма подозрительно учел эти новые, спокойно-деловые глаза и насторожился. Отстраняюще сухо сказал:

— Чем могу служить?

— Вы ходить любите? Вот прошлись бы, поговорили, — ответила Серафима с ласкою, минуя сухость обращенного к ней вопроса.

— Ни на ходьбу без цели, ни на разговоры у меня времени нет.

Кузьма указал гостье на стул, сел сам, всем существом обличая, что речь Серафимы он будет слушать лишь по необходимости.

Несмотря на это, она, все так же, не пересекаясь сознанием с собеседником, совсем другая и странно похожая на себя вчерашнюю, стала говорить. Она не торопилась речью, иногда просительно, вроде как Ерголышко, вскидывала глаза, чуть отстраняя небольшой пухлой рукой возможные возражения Кузьмы.

Она говорила о том, что есть люди, которые пылают нетерпением жизнь обыденную преобразить в жизнь прекрасную — но путем иным, чем люди политики.

Прервала себя:

— Я знаю, люди политики говорят, что подобные затеи с жиру... Но подумайте, так ли? Если они хотят уравнять всех в правах экономических, мы — в богатстве внутреннем, то наши дары — чем они меньше, чем бесполезнее ваших? Одним забота о *коллективе*, другим — о самом *человеке*.

Кузьма посмотрел на часы:

— Мне скоро идти.

Не закрывая крышку, он часы положил пред собой. Опять сел официально, нарочно не облегчая Серафимину речь.

Она покраснела, медленно, с усилием сказала:

— Ну как хотите, хоть немедленно забудьте то, что я вам скажу. Но сказать я обязана. Только не думала, что это выйдет так трудно. Долго я не стану... Ну вот, в ком буйство любви...

— Буйство любви? Забавное выражение, — наконец улыбнулся Кузьма. — Откуда это?

— Конечно, Франция, представьте — двенадцатый век, символисты оттуда подхватили. А правда об этом выражении такова: обладать буйством любви — это значит вместо черепашьего шага эволюции, путем своеобразной революции, здесь вот, сейчас, до истечения всяких исторических сроков, перековать свою злую природу в природу светлую и вступить с людьми в те легкие, доверчиво-радостные отношения, какие бывают только в детстве. Буйство любви раскует ограниченность.

Серафима говорила то сама себе, как говорит человек от избытка восхищающих чувств, то вдруг, доверчиво пригнувшись, засматривая в глаза, совсем некрасивая, похожая на Ерголышку, по-книжному, торжественно, как некую важнейшую тайну:

— Неравенство, скудость, всякое зло должны быть разрушены не одной революцией политической, а силой воли чистейшей, освобождающей завороженную темной страстью стихию жизни. Пора выйти всем из убожества, пора понять, что чудо Сикстинской мадонны не достояние клерикалов, а самой живой и необхо-

димейшей жизни. Да, вечно живут Беатриче и Гретхен! И, как верующему сквозь догмат, — сквозь символ, рожденный искусством, дается сейчас уже новое, опытное знание. Это знание о том, что одна вечная женственность, пока нужен процесс исторический, способна его удержать. Выньте ее — и все внутренно оскудеет, превратится в бездарный хаос.

— Словом, мировой катаклизм, новый потоп...

— Напротив того: совершенная цивилизация и вместе — безмерная пустота. Подумайте, если выброшены будут из сознания быт, чувства, два животворных символа — Прекрасной Дамы и Девы-Матери... Когда человек плюнет в свое самое прекрасное и чистое, что, допустим, его собственный вымысел, но его же питавший века, когда он плюнет в колодезь, откуда ему надо пить...

Она оборвала, у нее захватило дух, она стояла уже около Кузьмы, схватив его крепко за руку, и, не повышая голоса, внутрь себя, как откровение, как молитву сказала не стихи Соловьева, затрепанные эпигонами, а внезапную вдохновенную импровизацию:

Знайте же, вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.

От Серафиминой манеры говорить просто в строчку, без подчинения стиху и рифме, сказанные слова прозвучали Кузьме как совсем новые. Он только через минуту сообразил, чьи они, рассердился и жестко сказал:

— На меня вам вообще тратиться нечего: признаться, я подобных настроений хочу избежать, меня

гораздо больше пленяет противоположение индивидуализму — простота и самозабвение одного ради всех.

— Но революция моральная не только не грозит гибелью декларации прав человека и гражданина — она, наоборот, утверждает их еще более, — так в последней своей книжке пишет богоискатель вашего толка, бывший марксист. Не правда ли? — нежданно с насмешливой остротой сказала Серафима.

— Хорошо, я покорился, дотерплю, — снова улыбнулся Кузьма. — Но времени у меня, право, очень мало, а потому разрешите мне самому назвать тему подоступнее, и попроще, и такую, что каждому на потребу. Ну хоть «о грядущей любви». Раз для новых, лучших условий жизни, по-вашему, нужен и новый человек, то, не правда ли, важнейшее в личной жизни каждого — это с кем он соединен.

Серафима прервала:

— Настоящее соединение совсем невозможно без завершения самого себя. Прежде всего себя найти до конца. От соединений преждевременных хотя бы с несомненной дополняющей половиной, но еще тоже себя не завершившей, — вся скука, все горе прежнего брака. Но грядущий, изумительный брак, единственно достойный лучшей действительности, которая вам так дорога, — во встрече двух завершенных...

— Когда им стукнет по сту лет? Ведь завершаются люди пред смертью, и то...

Оба расхохотались.

— Ах, нет, — сказала Серафима, — дело все-таки будет раньше. Знайте, выбор окончательно перешел к женщине. Мужчина засорил свое зрение, он от лени, разврата и скепсиса давно научился брать малую дробь

вместо целого, он докатился до последней крохи, до «изгибчика» Грушеньки вместо всей Грушеньки, он...

— Да что тут размазывать, дело ясное: мы — сплошь негодяи, вы — Прекрасные Дамы. Однако любопытствую, какова в вашей экспозиции, говоря языком вашего дядюшки, эта пресловутая встреча двух завершенных грядущих?

Не замечая насмешки, Серафима сказала:

— Про нее уж объявлено, но не слышат... Вот, к примеру, хотя бы «Идиота» по-настоящему прочесть.

— Ах, увольте, после целых пудов критики тут нового не придумаешь.

— Будет новое, будет, — даже вскинула руки Серафима. — Повторяю, только понять «Идиота»: это выхождение из себя, испепеление всякой отдельности, отграниченности людей друг от друга... Эти предвидения, прозрения, угадка без слов — разве не дают они новой способности заполняться стихией другого, едва с ним вступаешь в общение? Эта напоенность внутренней сущностью и восхищает и пугает, как беззаконное покушение обратить скудную земную эротику в общение несказанное. Словом, великая встреча. Подлинность ее угадал первый князь Мышкин с первого слова Рогожина Настасье Филипповне. Припомните, в тот же день он целует портрет ее, случайно попавший в его руки. Знаменательно: поцелуй еще незнакомой Настасье Филипповне единственный во всем романе. В великой встрече поцелуй дается при узнании.

И, помолчав, она прибавила:

— При узнании одною из сторон другой.

— Однако встреча Мышкина и Настасьи Филипповны, хоть вы ее, чувствую, называете с большой

буквы, оказалась катастрофической, — иронически сказал Кузьма, желая подчеркнуть, что тому поцелую на лестнице решающего значения не придает.

— Но почему? — прервала запальчиво Серафима. — Почему? Пора знать почему.

— Кому пора?

— Вам пора. Из князя Мышкина вынуты — колорит, могучая мужская устремленность, действенная страсть, словом — все качества воли и характера. Эти качества возложены на духовно не рожденного Рогожина. Мышкин же, при всей внутренней свободе, хозяином жизни не делается. Он жизни не лепит, не лепит, — с такой укоризной повторила она, что Кузьма покраснел от досады, что слова эти обращаются прямо к нему.

Невольно обличая свое раздражение, Кузьма сказал:

— Ну, и Настасья-то Филипповна пока что не Прекрасная Дама.

— Вот и отлично, — засмеялась Серафима, — вы не заметили, как сами вошли в суть дела.

Серафима встала и без малейшей игры, которую Кузьма злобно и пристально хотел в ней подметить, произнесла, кланяясь по-бабьи в пояс:

— Ну, простите ж меня, что ошиблась.

— Простить за поцелуй? — с намерением нагловато, подавляя смущение, спросил Кузьма.

— Да, и за поцелуй, — не отвечая на вызов, не подчеркивая, серьезно и просто ответила Серафима и взялась за ручку дверей.

— Постойте, — крикнул Кузьма, — а в дни, когда грянет восстание, вы тоже творить будете новую личную жизнь и дарить наудачу избранников поцелуями?

— Я сестра милосердия и фельдшерица, два года работаю здесь в больнице; а как только будет нужда, выйду работать на улицу.

— Вы фельдшерица! Не может быть!

Серафима так забористо засмеялась, что засмеялся и он.

— Ну, попался, — сказала она, заправляя кончик выбившейся косы из двойного венца, обегавшего голову. — У кого ж это косность? У женщин или у вас? Да вы еще от Тургенева не ушли. Если женщина на своих ногах, так уж ей быть мужеподобной обезьяной. Уж и косы ей нельзя. Однако вам окончательно пора. — Она скользнула лукавым глазом по открытым часам и вышла.

Кузьма совсем по-мальчишески прыгнул за дверь и ей крикнул вдогонку:

— Нет, коса это хорошо, если такая, как ваша. А вот зачем вы на «экспозиции» рукой помавали, зачем преглупейший дракон и прочая ерунда?

Серафима остановилась, обернулась, расцвела широкой улыбкой.

— Ведь мы еще сами не знаем, как надо, всё пробуем. И знаете: жаль, что вы после дракона ушли. Вы бы увидели, какой замечательный человек дядюшка Ерголышко. Он и советник, и помощник, и общественная совесть, он ведь имущество свое все роздал. Вы бы простили ему маленькую слабость к экспозициям... К тому же, если припомните, слова были все замечательны, все таили огромное содержание. Дайте срок, мы научимся это содержание раскрывать. Сейчас хоть бы только начать. Теоретики умнее нас, но в такой же

мере они сухари, а у нас для людей, право же, есть кое-что, а дураками мы казаться не боимся.

Она подошла ближе и, понизив голос, не без лукавства сказала:

— Ну, а у вас не такая же ли детская подготовка, да хотя бы к восстанию? Одни споры о винтовках чего стоят. Знакомый дружинник рассказывал: намедни целую партию прозевали, пока в спорах надсаживались — конспиративны они или нет. Научитесь вы — научимся мы.

— Итак, до союза в завершенном и исправленном виде, — протянул руку Кузьма и чуть задержал небольшую пухлую руку Серафимы. — Но признайтесь, дракон все же преглупо икал.

Смеялись оба и от смеха вдруг сблизились больше, чем от длинного отвлеченного разговора.

— Однако вы опоздаете, — напомнила Серафима.

Кузьма надел пальто и кинулся в казарму.

Смеркалось. Над ларями и площадью стояла мгла. Черными чучелами чернели в ней, как вороны, обсевшие древнюю башню, сапожники с холодной починкой. Рядом с вышедшей ротой, там, где крайним выдавался Шумко, Кузьма, несколько отступя, как человек из толпы, старался идти в ногу.

Шумко был так бледен, что встречная баба, взглянув на него, воскликнула:

— И куда же это ты, мой родимый, идешь? Гляньте-ка, душенька в нем на отлете.

Шумко услыхал, вспыхнул и, как-то легче ступая с носка на носок, подошел со своей ротой к тому зданию, которое приказано было оцепить. Неизвестно откуда выросла толпа, уже знавшая, что ростовцы при-

сланы разогнать митинг. Переодетые городовые, особенно дубоватые в непривычном штатском, нелепо выдавали себя, то и дело хватаясь за несуществующую на боку кобуру.

А солдаты? Да, те самые, которые намедни предлагали свои пулеметы, сейчас с оцепенелыми лицами жаждали команды. Шеренги продвинулись. Теперь рядом с Кузьмой пришелся тот фельдфебель, с которым он был вместе у комитетчиков. Фельдфебель обернулся, встретился глазами с Кузьмой, узнал его и сказал со злобой и болью, отвечая на безмолвный укор и одновременно поясняя дело себе самому: «Солдат — что бык. В одно может целить. Вразброску ему не поднять».

Кузьма не спускал глаз с Шумко. Он знал, что Шумко не может так кончить, как все, и ждал, отделенный от него солдатами и толпой, но всеми чувствами сливаясь с его волей. Он торопил его на что-то в крайнем напряжении сил.

И, как бы повинуясь, Шумко вдруг отделился от ряда серых шинелей, взлетел на бревна и повернулся к ротам лицом. Кузьма облегченно вздохнул. Шумко для чего-то снял шапку, сразу перестал быть военным, стоял рыжеватый, плохо выбритый, чуть-чуть кувшинное рыло. Вдруг во весь голос он крикнул:

— Братцы, вчера еще!..

Безо всякой команды, бешеной злобой заглушили со всех сторон:

— Вчера вчерашние были!

— Не смей с присяги сбивать!

— Чай, не святки, чтоб на качели перелетывать!

— Вчера разум был свой, нынче солдатский!

И кто-то звонко, всех громче, пронзительно как петух:

— Про-ку-ме-кали нашу свободушку!

Среди криков, не задерживаемый никем, подходил офицер. Такой же бледный, как Шумко, он держался за эфес шашки рукой. Не дойдя, заревел: «Ар-ре-сто-вать!»

Шумко обвел солдат ничего не выражающим взором, будто наскоро пересчитал для какой-то цели штыки, взмахнул рукой широко, как скомандовал песенникам, и всадил себе пулю в висок. Обезумевший офицер вскочил на те же бревна, рядом с упавшим телом, и крикнул солдатам: «Пли!» Солдаты, взяв на прицел, дали залп по осажденным участникам митинга, пытавшимся бежать через забор.

IV. «БИРЮЛЬКИ»

Как вода, напирая на плотину, долго глухо ворчит и грозится и вдруг, от небольшого дождя получив нужную для прорыва силу, сорвет плотину и уже помчится без удержу, — так стихийно, само собой возникло восстание.

Революционные организации еще действовали под лозунгом накопления сил, а войска уже распадались. Словно частичные извержения вулкана, не нашедшего себе единого пути, бунты вспыхивали то тут, то там, но так же скоро, как вспыхивали, они опадали, и солдатский быт опять прикрывался привычной декорацией казарменного дня. Но обыватель, как и градоначальник, знали: вооруженному восстанию быть.

Наконец с первым декабрьским морозом приехал в Москву видный товарищ с предложением московскому комитету почин взять на себя. Созвали общегородскую конференцию.

Когда Кузьма вошел в зал, он был полон рабочими и делегатами от заводов. У всех, как капустные белые бабочки над лугами, трепетали в руках сотни легких бумажек, поднятых на голосование: «Район такой-то, завод такой-то...»

И стоял гул от криков: «В распоряжение комитета... В бой, сейчас в бой!»

— Куды рветесь? — осаживали старики. — Дружины полтысячи нет, ружей — кот наплакал.

Крыли негодующе:

— Ружей нет — пики выкуем!

Прорывался сквозь гул голос, выкрикивал, срываясь от боли:

— Время упущено, войска не примкнут, не восстание — а-ван-тю-ра.

Какой-то, очень молодой, в блузе, с яркими белыми зубами, вихрастый и злой, проговорил рядом с Кузьмой, обращаясь к приземистому человеку, слова, удивительно выражавшие как раз то, что давно волновало Кузьму, но чему не то что не умел, он не смел найти точное слово. Юноша сказал:

— Будь у комитетчиков не теория, а система, твердая, как тверда сталь, как механизм на заводе, что отсекает «прибылую часть», излишнюю для отливаемой формы, — система бы вынесла. Что отмела, что приняла. Стала бы каждому как скелет. Люди боятся ответа. Ответ был бы снят. Всякий посмел бы — лишь когда выгодно сметь.

Другой голос, захлебываясь от волнения, прервал:

— А сейчас что вышло-то, что? Комитет побоялся кровопролития, прозевал войска, прозевал пулеметы и браунинги. Сейчас зря уложат не одну сотню людей.

Отвечал молодой:

— Ну что ж, пролив много крови, узнают, что надо им знать: или не соваться, или... *ввести кровь в бюджет.*

— Ввести кровь в бюд-жет? Неслыханно... но, впрочем...

— Товарищи! — всех покрыл голосом некто, вспрыгнув на стол и вытягивая, как гусь, шею длинную, с вспухающим адамовым яблоком, — мы требуем немедленных боевых действий!

— Прежде чем объявлять, изложите, где конкретная часть?

— Пока не столковались, объявлять — захват власти.

— Все силы партии отданы агитации, но где же конкретная часть? Где конкретная часть? — настаивала борода с таким видом, будто конкретная часть такая же плотная и осязаемая, как казенная часть у орудия.

— Заводы подняты, а заводам что давать в руки? Куропаткин против японцев — икону, а мы — знамена, голые знамена?

— Созвано междупартийное совещание, чтобы эсеры, крестьянский союз, железнодорожники...

Крепкий приземистый человек, мерно колебля рукой, будто раскачивая язык колокола, ритмически, самозабвенно говорил:

— Бюро комитета заседать будет без пе-ре-ры-ва. Бюро комитета...

Кузьма увидал, как подошел к комитетчику тот бородатый и вдруг выкрикнул:

— Бел-летристика! — покушение с жалкими средствами, а могло б выйти восстание. Вам предлагали пулеметы, вам предлагали оружие. Что сейчас? — Пики-самоковки!

Он не мог выразить все, что хотел, и, в отчаянии махнув рукой, выбежал.

К Кузьме подошел другой из комитета, тот, что ярко запомнился, ассиро-вавилонянин с надгробья царей. Подозрительно пронзил сквозь стекла глазами, спросил: «Вы Кузьма Вереда?» Получив ответ, чуть помедлил, потом сказал: «Я по вашему делу получил письмо из Киева, зайдемте поговорим».

У Кузьмы одно волнение перебилось другим. Когда очутились в клетушке, глаз на глаз, срываясь с голоса, он прошептал: «Это от Рута письмо?» — у него промелькнуло, что Пашеньки уже нет в живых.

Человек с черной бородой еще пронзительно глянул и с брезгливой горечью произнес:

— Быть может, и содержание письма вам известно, так что я избавлен от неприятной обязанности его вам приводить? Мы потребуем от вас только ответа: кому именно переданы вами пакеты, оставленные вам на хранение покойным Десницким?

— Тот пакет пропал?.. — Кузьма непритворно и как-то так неуклюже был потрясен, что комитетчик подумал: «Этот человек не лжет». Он сказал:

— Расскажите, как было дело.

Комитетчик сел на окно, и тотчас на сером небе, заключенном в решетку мелких стекол, вычернел сутулый

его силуэт. Кузьма стал рассказывать, как спрятал конверт в пустую печку под кирпичи, как ключ отдал Пашеньке, невесте Десницкого, на глазах Рута, уезжая по его поручению в Москву.

— Вот эта упомянутая вами невеста Десницкого, вместе с Рутом, и обнаружила под кирпичами один пустой конверт, — сказал комитетчик. — А Рут свидетельствует, что тщательная укладка кирпичей и вся ненарушенность окружения перед печкой навели его на мысль, что похищение совершено было сознательно и с тем расчетом, чтобы до срока пакета никто не хватился. Срок же был — день выступления и разбития инженерных войск. День гибели Десницкого от умело рассчитанной атаки миргородцев в устроенной ими засаде на базаре. Место засады помог, несомненно, определить точный маршрут восставших, приложенный в числе прочих доверенных вам бумаг в вышеупомянутом конверте. Что же вы скажете в свое оправдание?

— Ничего не скажу, ровно ничего.

Кузьма с ужасом думал о том, что пережила Пашенька, если это похищение сделал дядько Вереда. А кому же еще?

— Само время разъяснит это дело, — сказал он комитетчику, — я же готов явиться когда и куда скажете на допрос.

Кузьма, выйдя с конференции, пошел не домой, а далеко за город, за заставу. Шел долго, минуя домишки предместий, поднялся в гору, запутался в каких-то высоких заборах. При луне, большой и тяжелой, низко нависшей над остроконечным дрекольем забора, местность была как рериховская инсценировка древней Руси. И чудились за частоколом старцы-волхвы.

Кузьма пробрался в широкий просвет между досками и невольно шагнул назад: гора в двух шагах обрывалась, и по тому, как не скоро звякнули, разбившись о землю, ледышки, ринувшись из-под ног в глубокий провал, можно было судить о его глубине. Внизу спал город, то тут, то там подмигивая запоздавшими огоньками.

И вдруг впервые, как чувствовал недавно завод перед печью Мартена, Кузьма почувствовал весь этот город живым существом, и таким, за которое он отвечает. Он ведь знал, какими болезнями болен город, какие тайные силы готовятся к взрыву.

Сейчас, стоя над ним, необычным под матовым светом луны, без забивающего мысли шума, он его видел каким-то упрощенным планом, над которым стояли туманом не ночное дыханье земли и воды, а проекции мысли и чаяний населявших его: войск, властей, людей партии, мечтателей, обывателей.

Кузьма чувствовал, не видя глазами, как мерзнут у генерал-губернаторского дома часовые, как в казармах спят мертвым сном солдаты, с тем чтобы, встав с зарей утренней, протянуть до зари вечерней подневольную лямку, — так, войдя в привычный хомут, лишенная выбора, потерявшая зрение, тянет свою бочку убогая водовозка.

Огромные заводы, не смягченные дремой, жестко насторожили свои черные трубы, чтобы по гудку приковать на свое место живого дополнителя машины — рабочего.

Лефортово, с купами старых деревьев, с массивными комодами корпусов, полными детей и юношей, судьбой обреченных стать особой породой людей — военной,

и противопоставление военным — штатские или, по-солдатски, «вольные», вихрастые, длинноволосые — пиджаки, рубахи, очки, бороды, — населявшие этажи, чердаки и подвалы больших улиц, переулков и тупиков.

И в ушах встал живой гул конференции и отдельные выклики:

— Разве мы войско? Винтовки держать не умеем.

— И не учись — нет винтовок!

— Пики-самоковки!..

— Авантюра, не восстание!..

А защитники, искушенные книгами, цифрами, отвечные теоретики, громоздили в ответ знакомые абстракции:

— Неотвратимая сила событий диктует сама резолюцию: развитие массовых митингов, вызов стычек между полицией и казаками.

— Вызвав стычки, выдвинуть боевую дружину.

— Способ борьбы подскажет сама борьба.

— Без ружей?

— Заводы наделают железных дубин из прутьев решеток, накуют кинжалы...

И кто-то, сдается — писатель, тряся волосами, сверкая очками, твердит уныло, как дятел, от борта сюртука отводя то правую, то левую руку:

— У них пулемет, у нас — бел-лет-ристика!

Так пережитое на конференции вставало ночью над городом пронзительней и подробней, чем в зале. И захватила острая боль за погибель огромного дела, которое волею судьбы и на его руках лежало доверчиво, как ребенок. Дело, которое еще на днях можно было защитить, сейчас неминуемо будет растерзано. Боль была большая, и, как всякая боль больше самого челове-

ка, причиняя разрывающее страдание, вместе с ним принесла сознанию чувство освобождения, выход из малого круга жизни своей в необъятный круг жизни общей.

Личного оскорбления за подозрение в предательстве Кузьма не чувствовал, думая, что все само объяснится. Удивляло как несообразность, что и Рут мог сомневаться. Впрочем, и это было неважно перед поглощающей мыслью: быть конференции двумя днями раньше, Шумко бы себя не убил и полки с пулеметами и оружием пошли бы не с властями, а против властей!

Не знали, что им сметь, чего не сметь. Вот уложат первых и лучших — узнают: без крови в старину город не строили...

И с кого спрашивать? Умереть все были готовы... Да, умереть, но не *убивать*. И Кузьма назвал последнее, самое главное, что держало его в двоедумцах, чего сам пред собой не хотел он узнать: если стать хозяином жизни, надо уметь убивать просто и расчетливо, как надо для дела. Да, тот молодой, твердый и злой верно сказал: «Как стальной механизм режет сталь, отбрасывая негодную «прибылую часть» за то, что мешает в отливке желаемой формы». Да, ввести кровь в бюджет.

Сталь режет сталь, человек — человека.

Заострились предсмертно обе проблемы: или скупо уйти в свое я и сложность его вырастить в целый мир, или малым винтиком — в готовое, бесспорное целое, нужное всем. Или я — человек, или дробь человечества? Обманывать себя нельзя: *одновременность* несбыточна. Кузьма слишком знал, что никакое *мы* проблемы полновластного, дерзкого *я* не решает, не может решить, а лишь только зачеркивает.

Но сейчас, в том волнении всех чувств, похожем на вдохновение, после которого неизбежен немедленный и живой результат, он не мыслил, он чувствовал мысли и чувством решал: если восстание не удастся, он, как стоявший у судьбы его, еще не испорченной, еще несшей удачу, он за него и ответит. Ведь это он, придя вместе с солдатами, рядом стоял с комитетчиками и не смог, не сумел силе их противопоставить свою силу и знание.

Он не защитил.

Шумко не вынес своей слабости и застрелился; он, Кузьма, если вынес, то обязан найти убеждающий всех ответ. Какой ответ? Тот, что подсказан тем, молодым? Систему такой твердости, чтобы ей стать опорою, костяком, архитектурою дела. Систему, в которой кровь введена будет в *бюджет.*

У Кузьмы было чувство как у юноши, над которым посвящающий переломил шпагу и провел ею непроходимую черту между вчерашним отроком и сегодняшним рыцарем. Только сам избрал он себе посвящение. Но отныне знал: вся личная жизнь до последнего пустяка будет строиться в зависимости от этого нового, главного.

Отодрав с силой огромную глыбину снега, промерзшего с камнем и щебнем, Кузьма двинул ее в пропасть, и когда, тяжко вякнув, она вдребезги рассыпалась в глубине, он, усмехнувшись, подумал: «Над прошлым точка».

Уже светало, когда Кузьма подходил к своему дому. На Мещанской улице его принял знакомый быт: суетня вокруг мелких лавчонок, ларей, баб, вышедших с пирогами, уже началась. Окончилась ранняя, и усердные богомольцы раскупали баранки и ставили свечи в ча-

совенке, водруженной усердием окраинных лабазов на самой середине улицы, с луковками куполов такой густой синьки, что от цвета их делалось весело. Как два стража укатанных будней, высились водопроводы красных башен заставы.

Кузьма вошел к себе в подчердачник и как камень упал на постель. Отошли мысли, но тяжкий кошмар овладел его сознанием. Ему чудилось, что он поставлен связанный, как египетская мумия, с долотом в руках перед печью Мартена и надо ему продолбить замазанное глиной отверстие, чтобы выпустить сплав в подставленный к чану желоб. Но ноги его, ноги египетской мумии, ему невозможно раздвинуть и не поспеть отскочить самому. Он бьет молотом, и с каждым ударом он знает, что не успеет отпрыгнуть, что огненный сплав ему брызнет в лицо. И все-таки, повинуясь какой-то силе, не собственной воле, одна рука держит долото, другая бьет молотом — та-так.

Кузьма вскочил. В дверь настойчиво и уже, верно, долго стучали, и голос Стеши, надрываясь, кричал: «К вам из Киева. У-ставайте!»

Кузьма стремительно вышел. В передней над своим чемоданом стояла Пашенька. Стриженая, похудевшая, похожая на мальчика. От прежнего только серые, от черных ресниц как углем подведенные глаза.

Первое, что сказала Пашенька, не здороваясь, держа Кузьму обеими руками за плечи, привстав на цыпочки, взволнованным шепотом, хотя никого кругом не было:

— На тебе больше нет подозрений! Рут все разъяснил здешним. — И еще тише, со слезами, проступившими на глазах: — А няне и дяде ты, Кузьма, прости, довольно с них и того, что я навеки их покинула.

Взволнованный Кузьма молча смотрел на Пашеньку. Печальным и новым было ее осунувшееся лицо.

— Брат мой, — сказала Пашенька, — у меня, кроме тебя, близких в мире теперь нет никого.

Кузьма Пашеньку ни о чем не расспрашивал. Понемногу она сама рассказала про ближайшее... как уходила, не попрощавшись со своими, про Дмитрия, как лежал он между ларями, пока не наскочил пикет подобрать. Хоронить не дали, и могила его неизвестна.

Кузьма был растроган и странно смущен: скажи ему сейчас Пашенька, что готова стать его женой, он уже не был бы счастлив. Чувство к ней стало спокойно и только братское. Оттого ли произошла эта перемена, что Пашенька изменилась, или иная была причина, самому было неясно. Но в Пашеньке уже не было обещанья какой-то богатой и новой жизни. Это ощущенье в нежданной, почти враждебной силе отошло, помимо сознания, к непонятному облику Серафимы. В легкой усмешке Пашеньки была тишина и одна ушедшая в себя отрешенность.

И она, сразу чувствуя перемену в отношении к ней Кузьмы, печально сказала:

— Ах, не выпрыгнуть мне из себя... То, бывало, казалось — весь мир, ветру навстречу, пройду. А вот легли на сердце двое покинутых и один убитый, и уже нет меня. Теперь и мне за какое бы хорошее дело лечь...

И, вспыхнув, что проговорилась, замяла, перевела речь.

Убитость Пашеньки чувствовалась во всем. Она утром еле вставала, еле жила, и хромало здоровье. Кузьма предложил ей, пока еще можно, перебраться в

поселок, в дом покойного доктора к старой Фекле. Пашенька с радостью согласилась и даже оживилась, что ей предстоит забота держать дом наготове, чтобы можно было укрыть в нем того или иного беглеца.

Кузьма провожал Пашеньку к санитарному поезду, который согласился довезти ее до завода. Ехать до дому он с нею не мог, потому что записался в боевую дружину и спешно обучался за городом стрельбе.

Уже попрощавшись, Пашенька вернулась, положила Кузьме на плечи обе свои похудевшие в болезни руки и с какой-то новой, материнской заботой сказала:

— А может быть, и тебе лучше ехать со мной? Прости, я всю тебе правду, как перед смертным часом... Ведь у тебя нет того твердого знания, что тебе надо делать, как было у Дмитрия, ни бесповоротности выбора, как у Рута. Тебе, может, лучше стать доктором, как твой названый мечтал, и мало ли еще для какого нужного дела жить? Брось самолюбие, Кузьма, — пока не знаешь *наверное*, надо гибель свою отложить.

— В таком случае надо так же твердо знать, ради чего отложить, — уклончиво ответил Кузьма.

Кузьме не хотелось говорить Пашеньке о том, что он пережил той ночью, стоя над обрывом, накануне ее приезда. Совсем новое чувство жизни, которое он теперь в себе носил, было слишком дорого ему и непередаваемо словами. И еще потому не тянуло говорить с Пашенькой, что ясно видел он: жизнь ее вся в прошлом, а у него только становится на новые рельсы.

Кузьма промолчал и тогда, когда Пашенька поцеловала его долгим прощальным поцелуем, глянула пытливо в глаза, быть может ожидая какого-то особенного слова. Он ушел домой с чувством вины. Но разбираться

было некогда, наутро все личные чувства захлестнулись событиями.

Наутро улицы Москвы вдруг ощетинились баррикадами, и с птичьего полета могло показаться, что город сошел с ума, отбросил серьезные дела и пустился играть в «бирюльки». Сухарева башня одна, облупленная, в бессменных лесах, равнодушно и обычно, как корова, глядела своим глазом-часами на необычную жизнь улиц. Улицы же встали дыбом.

Когда Кузьма читал у Толстого о том, как Пьер Безухов бродил по Москве, ему казалось, что те ощущения и обстановка — неповторимые, отошедшие в рассказ вещи, и бывало досадно, что все интересное уже перешло в литературу, а жизнь вобралась в какой-то заводной механизм. И сейчас не верилось, что пружина сломана, что завод стал.

Но вот Тверская пустынна, провис над городом зловещий, безмолвный день. Не торгуют. Колокольня Страстного монастыря, цвета давленой земляники, всю свою жизнь созывавшая к долгим монастырским службам, обнаружила вдруг коварство: не привычный гул почтенных колоколов укрывала она сегодня — бесовскую трескотню пулеметов. А молодые монашки из келий от долгих служб и слепящих глаза заказных вышивок легкими тенями убежали к проклятым забастовщикам и студентам, строившим баррикады. Это им пронесли монашки, под черной полой облаченья, отварную свежепросольную осетрину. Наваждение, наваждение...

Кузьма таскал вместе со всеми столбы, лестницы, ворота и сани. Было трудно и весело валить вагон конки и под «дубинушка, ухнем» класть его огромным бегемотом поперек улицы. Отбежав, все, как дети, лю-

бовались баррикадою и приискивали, что еще хорошо навалить.

— Бирюльки!

И правда, война началась как игра. Военные власти никто еще объединить не сумел. Всем все было внове, в самый первый раз. И так как тактику приняли партизанскую — дружинники налетали вдвоем, втроем, впятером. Подстерегали, тайком меняли место — Кузьме вспомнились детские игры — «казаки-разбойники» — с заводскими. Он, смеясь, косолапо целил непривычной винтовкой в стоявших на Страстной колокольне наводчиков, он, играючи, следил за исполнением несложных правил: нападать из-за угла, стрелять с крыш, ускользать, утомлять врага непрерывностью нервного напряжения.

— Баррикад не защищать! — командовали дружинники, перебегая с одного тротуара на другой, вызывая злой азарт у пулеметчиков на колокольне, которые, сообразив наконец тактику врагов, всё верней брали прицел и одного по одному, будто с выбором, «сымали» людей, сновавших за грудой «бирюлек».

Вот студент, пригнувшись от натуги, волочит фонарную лестницу; студенту кричат: «Упрел под махиной? Бросай в кучу!»

Студент грохнул с себя лестницу плашмя к баррикаде и только отошел полюбоваться ансамблем, как ловкая пуля жигнула прямо в голову, и вот уж студент на снегу. Распался сам собой рот, сверкнули зубы в фонтане хлещущей красной крови.

В перерывах между залпами и увозкою раненых говорили о последних событиях и ссорились так, будто ссора могла эти события изменить.

— Отчего взяли училище Фидлера?

Эсдеки винили эсеров, зачем они, когда конспирация ослабела, загнали туда боевые дружины. Ядовито отвечали эсеры...

В другом прикрытии, между забором и дверью, похвалялись своими дружинниками невесты и сестры:

— Вообразите, их власть уж престиж! В столовой в их угол так прямо и тычут: дескать, боевая дружина.

— А слыхали намедни курьез? Подошли в угол две классные дамы и, только подумать, что просят: устраните нашу начальницу, только, ах, пожалуйста, без обид!

Кузьма был со всеми, — участник первого боя и в то же время пристальный историк, подчиняясь какому-то подсознанию, он для неведомой еще себе цели отмечал в памяти каждый пустяк.

Сейчас, по просьбе начальника боевой дружины, он с докладом пошел в комитет и, задержавшись в ожидании нужных людей, сел на окно. Из районов то и дело подоспевали делегаты. В бюро, как было объявлено, заседали непрерывно, хотя объединенной власти все еще не было. Кузьма с изумлением отмечал: восставшие еще не понимают, что уже одним тем, что восстали, они стали хозяева. Нет, восстав, люди продолжали бояться ответа, пролития крови, своей совести. Да, *совесть* держала сильнее всего; взбунтовавшись против старого, все еще в *старом* каждый искал утешения и опоры, и потому действия были несогласованны и случайны.

Уже решив, что убивать можно, спорили до одури, до бессмыслицы, *когда* именно можно и *сколько* можно.

Выполнив данное поручение, Кузьма хотел уже уходить и направиться прямо на Пресню, куда, собственно, шел с утра, как вошел тот комитетчик, ассиро-вавилонянин, который передавал ему подозрения из-за пропавших на «Фонарике» бумаг. Он первый подошел к Кузьме, протянул руку, крепко пожал ее и сказал, подчеркивая свое доверие:

— Вас мы назначили на Пресню!

Кузьма не поспел задать последних нужных вопросов, как с срочным делом ворвались железнодорожники.

Их лица были красны и безумны, словно они только что кого-то убили. Но вот один заговорил кратко и твердо: страшный смысл его слов поняли все и молчали.

Поняли: вокзал охраняется пустячной командой, а большинство вооруженных солдат спит спокойно в двух вагонах, стоящих на пути.

— Разрешите направить на них, товарищи, груженый поезд... Они разом в лепешку. В ле-пешку.

Говоривший слово со смаком был голубоглазый железнодорожник. Говоря, он ударял короткопалой правой рукой о другую.

— От нас крышка им на пути, а уж вы, боевая дружина, хватите огнем по тем, что от крушения уцелеют.

— Важное дело, чтоб нам, товарищи, одновременно, — подтвердил другой, рябоватый широкий кондуктор и, улыбаясь, прибавил: — И в хвост, значит, и в гриву!

Кузьма застыл на своем окне, ожидая, что скажут комитетчики. В уме стояло: посмеют ли? И еще: если б *посмели*.

Железнодорожники ждали с нетерпеливой уверенностью в одобрении своего плана. Им была совершенно очевидна вся выгода дела и необходимость решения. Но сами они не смели решиться — от прочной привычки, от доверия к новой власти.

Комитетчики мучительно смешались. Молчали. Наконец один с померкшим от волнения лицом сказал через силу:

— С революционной этикой не согласно нападать на солдат, себя еще не проявивших враждебно.

— В белых перчатках революцию делать? — яростно бросил через головы бородатый; он Кузьме показался знаком. Это был тот самый, что на конференции кричал, чтобы ему дали *конкретную* часть взамен конспирации.

В ответ не один, уже все отвечали:

— И революцию надо делать *этично*.

Резолюция комитета была: «Отвергнуть предложение железнодорожников — нападение на сонных солдат».

Кузьма задержался в комитете до ночи. Когда он вышел, улицы были черны. Всего освещения на перекрестках — пламя костров; за ними площади были пусты и нежданно громадны, и казалось опять, что это не явь.

Темнота, безмолвие, где-то дыхание подстерегающих друг друга засад. Не видишь, но чувствуешь: горят глаза, и напряжение многих воль как тугая резина — вот натянется, разорвется, хлестнет криком, бегом, воем. Вот все ближе настигает толпа, шуршат свежесшитые знамена, и чей-то голос, гимназически юный, торжественно цитирует из «Слова о полку»: «Земля тутнет, реки мутно текуть;... ...Стязи глаголют».

Вот перешли площадь, вздохнули облегченно. Над огнями костров распластались знамена. Пронзительный свист резнул воздух, будто хлестнул длинный бич, и сказали, поясняя незнавшим:

— Сиреной дружина призывает дружину.

— Тоже соглашение: свистковое.

Ночью баррикады уже не казались бирюльками. Не видать было, где кончаются многоэтажные нагромождения, и казалось — идут они выше домов. Кострами освещены были только низы баррикад, и, твердо очерченные в контурах, торчали вперемежку: извозчичьи сани, ворота, труба. Вокруг костров гурьбою топтались мальчишки и кричали в пространство, дразня языком: «А ну, попади!»

Из тьмы хватил залп. Один, словно нарочно, как воробыш, запрыгал на ножке, помахал руками, упал. Другие ударились врассыпную. Куда-то легко пронеслись драгуны, тяжко прогромыхала артиллерия. Войска забили устья переулков, и, как выстрел, рванул крик: «Пли!»

Бежали.

А спрятавшись за хорошим прикрытием, спорили, спорили: кто за трехлинейные винтовки, кто за браунинг?

И укорял дружинник другого, что из-за каких-то дураков целую партию проворонили. Приставал: конспиративны винтовки или не конспиративны?

Ответа не последовало. На прикрытие наскочил эскадрон. Конский топот, как всплеск волн, яростным валом разбившихся о скалу, вдруг стих. Драгуны спешились, щелкнул залп.

Студент-медик, который собрался защищаться от укоризны дружинника, рванулся подать помощь ране-

ному и сам сел на снег. Вспыхнувшая головешка костра осветила белый, вдруг заалевший сугроб.

— Се-мя гря-ду-щего се-ет...

Как живое существо, подняли голоса слова песни и, держась за нее, ринулись на драгун. Пронзила воздух сирена; ахнуло грозно орудие: гудя и урча, как огромная пьяная птица, пролетел низко снаряд.

Вдруг Кузьма увидал крупную фигуру Серафимы. Она куда-то пробиралась с чемоданчиком, закрываясь от яркого пламени костра.

Раньше чем она отвела свою руку от лица, Кузьма по одной фигуре узнал ее и окликнул. Она улыбнулась своей широкой бабьей улыбкой:

— А я на Пресню, послал Красный Крест.

V. ПРЕСНЯ

Когда наутро Кузьма пересекал Садовую, идя на Пресню, уже все бульвары оплетены были проволокой и ряд за рядом пересечены баррикадами. Казалось, готовилась цирковая скачка с препятствиями для каких-то гигантских неведомых зверей, и всюду толпились любопытные, осматривая следы вчерашних боев.

Странно удивляло, что при необычайности событий лица были всё те же, которые встречались изо дня в день в пассажах, в театрах, на площадях или перед университетом, — студенты, котелки, дамы с большими муфтами. Может быть, все они чувствовали сложные и необыкновенные вещи, но речи их были незначительны и обычны. Вздор этих речей вяз в ушах. Всех громче пищали барышни своим кавалерам:

— Ах, не правда ли, мы вроде как участники недавней панорамы Плевны? Всё будто нарочно, и совсем не ужасно, что пули...

— А по-моему, вовсе не Плевна, а Москва после разграбления французами, и вот мы как Ростовы...

— Только обе враждующие стороны говорят, к сожалению, по-русски.

— Бегите! Драгуны!

Бежали с визгом и смехом до ближайших прикрытий в такой тесной давке, что в переулках люди, как зайцы, прыгали вверх, чтоб размяться. На широкой улице полиция жгла баррикады. Спешившиеся драгуны уже стояли у пламени, растерянные от внезапности нападения, от неуловимости дружинников. Кроме того, листовки проникли и к ним: твердость многих была поколеблена или вовсе разбита. И сейчас могли они, только напившись пьяным-распьянó, брать на прицел.

Кузьма с волнением узнал знакомый отряд боевой дружины, вдруг появившийся из-за бульвара. Несмотря на мороз, все шли в пальто нараспашку, так что похоже было, будто школьники вперемежку высыпали на улицу наспех додраться в снежки. Через минуту веселье дружинников объяснилось. Им удалось, не внушая подозрения полиции, подойти близко к драгунам. Подойдя, они выхватили подвешенные на ремнях под мышкой винчестеры и, разъясняя секрет накинутых враспашку пальто, открыли огонь.

Кузьма разорвал рукав полушубка о проволочные заграждения, ловко миновал оградительную цепь и стал пробираться к Пресне. С невольным волнением он думал, что Серафима уже там.

У Пресни пока было тихо. Все так же на крутой горе стоял древний белый храм с приделами, только купол и кресты, обычно тускло золотевшие, уходя в дымное от близких фабричных труб небо, сейчас горели как жар.

От паперти по накатанной дорожке, лежа на санках животом, с горы съехал мальчишка. За ним не последовало ничьих больше саней, и сам он не отважился повторить. И первый-то раз, видать, съехал для форсу, побившись на бабки об заклад.

Стоя у церкви, нельзя было и подозревать, что фабрика — вот она тут, сейчас под горой. Крут был подъем и так вдруг обрывался, что санки с мальчиком большим скачком перебросились на отлогий раскат до самого низу, откуда глазела вверх на гору многоочитая, широко застекленная, до четырех этажей возведенная, красного кирпича «мануфактура».

Пресня — особый городок в городе. Зоологический со слоном и тигром, с ветвисторогим оленем, летом гуляющим на воле, открывал поселок. Рядом с Зоологическим ширилась улица, ровная и большая, носившая старую кличку — Пресненский мост.

Зелены здесь пруды. Холмы с церквами. Грузины, Провалы, старинный Камер-Коллежский вал.

Зимой крепки льдом пруды и пушисты от снега. Здесь конский бег, любимый купечеством, здесь на горе фабрика необыкновенного фабриканта, на свой счет поднявшего лучшую боевую дружину. Именуют фабриканта рабочие дружески — Николай Павлович.

Здесь Москва-река на закате перламутром и матовой мутью роднится с какой-то итальянской рекой, а

огоньки противоположного берега кажутся огоньками кочевья, оттого что на горизонте не видно лесов.

Улицы — узкие кривоулки, дома не коммерческие и не барские, а больше дома «для себя» и тихого квартиранта с канарейкой, с непритязательным бальзаминчиком на окне — провинциальный городок.

И если б не ход событий, а стилист режиссер придумывал бедствия этому мирному царству, то к кисее занавесочек, к соленьям-вареньям, к переливчатому шелку повязок второгильдейских купчих бедствие шло бы стихийное: наводнение, трус или пробег по улицам из клеток сорвавшихся тигров.

Словом, меньше всего шло к этому месту как раз то, что здесь приключилось, — гражданское междоусобие. Но именно его возвещало цоканье пулеметов с стройной кудринской колокольни, годами сзывавшей своим постным звоном на канон св. Андрея Критского соседних бабушек из огромного вдовьего дома, что на площади.

Сейчас в ответ пулемету боевые дружины метнули огонь из засад: крыш, углов, чердаков. Поднялась трескотня. Воробьи без числа, не умея взлетать на тупых мелких крыльях как ласточки, тесной стаей взмывались, и оседали, и снова взмывались, а бабушки, как воробьи, — то с колен, то на колени перед заступницей...

Бабушки вдовьего дома — бедные вдовы чиновников, в коричневых платьях, почтенные, со званием «сердобольных» — носили большие кресты на широких коричневых пелеринах. От жестокого залпа, им попавшего в окна, заползали бабушки к себе под кровать, чихали от пыли и плакали.

Кузьма сообразил, что Серафима должна перевязывать раненых где-нибудь в глубине фабричного поселка, и пошел прямо к столовой. Он изумлялся как чему-то, живущему помимо сознания в его существе, беспричинному чувству радости, с детства забытому, которое им овладело, непрошеное и незваное, при этой мысли.

Идти было по длинной аллее к зданию, так присевшему в глубине, что сразу не найти было дверей за необыкновенной толчеей. Здесь формировались боевые десятки, отсюда отправлялись в участки раздобыть хоть немного оружия.

Сформированные, шагавшие в ногу, эти штатские сборные люди с винтовками, с походкой вразвалку Кузьме показались кучей охотников-дебютантов, и странно было видеть, что при них нет собак.

В столовой в дальнем углу Кузьма действительно увидал Серафиму. Она ела щи из общей миски с другими сестрами милосердия. Лицо ее было совсем новое, щедрой детской радостью лучились глаза. Она отрывалась от еды, чтобы жадно ловить приносимые вести. Она была пьяна буйной сменой небывалых впечатлений.

— Сестра милосердия, какое счастье! — бессмысленно радовался Кузьма, недоумевая, как случилось, что женщина из «экспозиции с драконом» ему стала такой волнующей. Сердце билось, и, боясь, как бы лицо не выдало его чувств, он сделал вид, что не может пробраться, и остался стоять у дверей. Впрочем, через минуту он был уже непроизвольно задержан на своем посту вбежавшим рабочим, которого сопровождала толпа.

Рабочий с винтовкой совсем вне себя кричал:

— Ну, ей-богу, товарищи, мы у солдат пушку отбили, ей-богу... — Он домахивал слова руками, торопясь рассказать, и все повторял: — Самое, самое пушку отбили! Атаковали у Зоологического, отогнали их, чертей... они и бросили.

Зашумели:

— Ужель пушку? Без прикрытия?

— Прикрытие утекло-о, — визганул женский голос.

— А пушка-то где?

— То-то, что нету... — вдруг опомнившись и только сейчас дойдя мыслью до того, что было после краткого торжества, сказал понуро рабочий.

— Уж и так мы ее, уж и этак — нипочем не стреляет. Черт ее зарядит, мы не обучены. Думали на себе укатить, ведь обида бросать пушку-то? Пружились, дергали, мать честна, — уперлась, что вдовая. Так завозились, чуть с ею не влипли. Солдаты дело смекнули, обернулись.

— Ну и что?

— Ну и снова отбили ее, пушку-то.

— Э-эх, горе-артиллерия!

Теперь Серафима увидала Кузьму. Быстро подошла и, не скрывая радости, сказала, беря крепко за руку:

— Сейчас у нас тихо, пройдемтесь...

Они закоулками, пригибаясь от пуль, держась стен и заборов, вошли в сад фабрики Николая Павловича. Сверканием снега, синим небом над ним и яркою новою стройкой — фабрика была как картина, модная в ту зиму на выставке.

Трескотня ружей умолкла. То ли шло новое подкрепление, то ли иное раздумье нашло — но из города не стреляли, из Пресни не отвечали.

Молчали и Кузьма с Серафимой, смотрели друг другу в глаза: было очень серьезно. Оба знали, что берут навсегда в свою жизнь этот вот миг затишья в неравной борьбе, этот снег, это небо, крепкий яблонный воздух. Еще знали, что хотя видятся всего третий раз, но уже угадали, уже верят, что они, может, враждебные, но так же необходимые один другому, как радость, чтоб жить. И то, что встретились здесь, за общим делом, сразу выжгло все, что их разделяло, что еще недавно всякое сближение делало невозможным. Сейчас невозможное, как по волшебству, стало свершившимся.

— А где ваш дядя? — спросил, улыбаясь, Кузьма, вспомнив пучеглазого, необыкновенногоЕрголышку.

— Дядя с двумя малярами и другими «пахарями» — братом милосердия в Замоскворечье. А вы говорили...

— Я говорил, что дядя чудесный человек. Он пленил меня... еще когда позировал на дракона. Бедняга дракон — в темнушке без экспозиций, — небось крысы проели.

Засмеялись. Вдруг, не сговариваясь, взялись за руки и что духу сбежали вниз с горки, с разбегу въехав в сугроб. Вышли седые, румяные. Кузьма снял шапку и стал обивать снег с Серафиминой кофточки.

Внезапно, крадучись, чуть причавкивая, зацокали пулеметы — сначала дальние, потом ближе, потом самые ближние.

Кузьма вымолвил:

— Вам — на перевязку, мне — рыть окопы.

Минуту помедлили, оглянулись, чтобы запомнить на всю жизнь, до самой смерти то место, где испытали предчувствие большой любви, которое больше, лучше,

чище самой любви. Потом стремглав, через закоулки, сливаясь с заборами и стенами, пробежали в столовую.

Окруженные со всех сторон, без орудия, накануне гибели, под грохот атаки, обреченные слушали спешные лекции по окопному делу. И как в религиозно-философских или иных поощряемых собраниях, и тут какие-то чудаки чиркали карандашами в блокноте. Однако рыть окопы все-таки не пришлось — промерзшую землю лопаты не взяли.

За один день вставшие дыбом баррикады обратили Пресню в крепость, но сообщение с городом в ней не прекращалось. Горбатый мост, небольшой и открытый, соединял две улицы. Около моста находилась калитка, через которую попадали в город. Сейчас из города шли недобрые вести о том, что баррикады разрушаются, что остыл у горожан пыл водружать за ночь новые, как было в первые дни. Войска побеждали, город сразу изнемог, едва пришла весть, что Петербург не поддержит. За последний день в колебавшихся батальонах окончательно восстановлена дисциплина, и солдаты, решив, что они просто были обмануты, готовились с яростью «усмирять». По Николаевской, не бастовавшей, дороге ехал лейб-гвардии Семеновский полк.

В эти полные, тугие, незабываемые дни Кузьма встретился на Пресне с Рутом. Это было в промежутках бомбардировок, когда оба наспех перехватывали горячий чай в столовой. Неожиданно Рут обрадовался, вспыхнули легким румянцем театрально бледные щеки. Он тоже был не тот, а какой-то новый. Охваченный раскрывшимся человеческим общением, Рут сказал Кузьме:

— Я хочу с вами поговорить, пройдемтесь.

Он вел сношения с городом, что было крайне ответственным делом. Выйдя из столовой, они пошли вместе, обходя опасные дозоры.

Опять оба в безлюдье, под морозным небом, как месяц назад. Люди, почти не говорившие друг с другом, чужие по складу и вместе с тем связанные особым пересечением судьбы.

— Не правда ли, — улыбнулся Рут, — мы с вами могли бы один другого убить или, напротив того, быть убитыми друг за друга, но не проводить долгие годы, чтобы бриться у того же парикмахера, брать друг у друга взаймы, взаимно дружески клеветать?

Кузьма сказал:

— Да, второй раз мы с вами, Абрам Рут, перед смертельной опасностью смотрим на эту луну и через близких людей породнены самой жизнью. Но скажите мне: почему вы не воспринимаете меня, как я вас? Ведь в какое бы несчастное стечение обстоятельств вы ни попали — я дам голову на отсечение, что вы предателем быть не можете, хотя видал вас столько же, сколько вы меня? А вот вы так легко меня обвинили!

— Мне представили обвиняющие вас факты, и, по моим убеждениям, я был должен с ними считаться. Сам же я про вас не подумал ни минуты.

— Однако сюда дали знать?

Рут стал прежний, непроницаемо обособленный:

— Говорю вам, мне *представили факты,* и я должен был только с ними считаться.

— Сколько бы ваше личное впечатление с этими фактами ни расходилось?

— Я личными впечатлениями пренебрегаю всегда,

И, улыбнувшись опять нежданной, нежнейшей улыбкой, Рут, протягивая руку, сказал Кузьме:

— Но ведь это только для дела, для себя же...

Кузьма перебил:

— И дело не механизм. Я узнал здесь, на Пресне, такое... словом, если до сих пор я мучился от своего, как определили вы, двоедумства, то сейчас, здесь, я исцелен. Здесь, когда мы, окруженные войсками, обреченные, можем жить такой изумительной жизнью, нельзя не поверить, и я верю, что может быть такая полнота содержания, которая, как вера, движет горами. И вот нужно идти только к ней. Полнота — разрешение всякого дуализма: личности, общества, теории, практики. Смотрите: естественно, любовно, сама собой возникла у нас иерархия, выделились начальники, судья, словом — явилось все то, чего не могло быть, пока теоретизировали, а не жили.

— Вы упускаете здесь одно, — возразил Рут, — все охвачены здесь сознанием кратковременности изумительной нашей республики. На несколько дней у кого не хватит величия и характера. Но практик знает и то: едва закрепит сегодняшнее управление суд и быт, те же люди начнут есть друг друга. Пресненская идиллия подобна роскошным по раскраске однодневкам, мотылькам, муравьи же окраской много скромнее. А государству, без которого устроение жизни до времени невозможно, муравьи ближе мотыльков.

Рут вдруг оборвал, опять улыбнулся, сказал:

— Оставим слова, времени мало, заберем поглубже необычайный опыт этих дней. Только один вопрос... — краснея и с усилием Рут спросил: — Где сестра ваша Пашенька?

Кузьма страшно обрадовался, что вдруг Рут, как обыкновенный человек, может краснеть и обнаруживать свое увлечение.

— Она в заводском поселке, в моем доме. Когда все уляжется, милости просим. Она будет вам рада...

Рут померк. Он глянул на Кузьму с гневом, который вмиг напомнил тому лекцию Вюсте в клубе автомобилистов.

— Вы ошиблись, — сказал он, — и ради будущего лучше отрезать сразу: сколь бы мне женщина ни была дорога, я должен и работать и умирать один.

— Вы должны быть прежде всего полным человеком, чтобы делать свое дело, — прервал Кузьма.

— Есть люди, которые именно для своего дела должны себя опустошить — дело само их заполнит. И еще вот: никто не смеет касаться сокровенного решения воли и подсекать уже одним соблазном пересмотра чужой отказ от личности. Ведь это значит самую стихию жизни делать объектом наблюдений, ведь... это преступнее, чем убить.

Кузьма хотел спросить Рута, не эта ли именно мысль вызвала в нем тогда гнев на Вюсте — за то, что тот не мог, ища в «истинах» Истину, щадить какую бы то ни было стихию. Но Рута отозвали, а больше говорить им вообще не пришлось. Стало не до разговоров и каких бы то ни было личных дел. Все кипели в котле. Дни налились тугие, заполненные неслыханным делом — вдохновением, похожим на одно непрерывное открытие Робинзона.

То надо было готовить боевые десятки к выступлению, то создавать план обороны из противоречивых сведений, приходивших через лазейку у Горбатого мо-

ста, то разрешать задачи стратега, без контроля, без точки опоры, на один свой страх посылать на успех и на гибель. Но ответственность множила силы.

— Солдаты у ворот!

Прятали в подвалы женщин и детей, а сами, с винтовками, с пиками, палками, с чем попало, неслись на защиту.

И вдруг жестокое, древнее торжество: вражеский конный разъезд сам попался в ловушку. Вместо атаки — крик ужаса, храп коней, увязших в проволочном заграждении, хитро протянутом вровень с землей. Едва выбравшись, пятная путь кровью, бешено настегивая раненых лошадей, умчался разъезд.

Но было и так: перед баррикадами у Зоологического казаки дрогнули и медлили стрелять. Кузьма близко видел их красные, словно пьяные лица. Но по глазам увидал: нет, не пьяны. В глазах была мысль, была мука и еще что-то... Он знал что: готовность, если мука продлится, внезапно ее не вынести, освирепеть и палить без огляда.

«Как ростовцы...» — пронеслось в голове, и вся кровь зажглась тоже бешеным до зверства желанием — не дать!

Кузьма вскочил на баррикаду, гремя, руша и сбросив кому-то винтовку. Держась обеими руками, лез все выше до верха. Оттуда стал говорить казакам, что в рабочих, в братьев, в таких же своих родных людей, стрелять невозможно.

Кузьма был безоружен, говорил ясно, просто, громко. Говорил слова разящие, слова того стремительного захвата, от которых нельзя не дрогнуть в ответ. А дрогнуть — отступить.

И казаки отступили. Один за другим рванули коней, и каждый, скрывая волненье под насупленной бровью, отъехал гордо, как горец.

Кузьму сдернули с баррикады, протащили в прикрытие. И вовремя: враждебный сигнальщик, в злобе на промах, кому-то махнул — чавкнули с двух сторон пулеметы.

В этой предельной сгущенности жизни было богатство от сближения замысла и результатов, потому что действительность стала тем чудом факира, когда зерно через минуту посадки дает вдруг и цвет и плод. Разнообразие применений энергии, воли, ума порождало гениальность — и, как брошенные в воду не умеющие плавать под угрозою утонуть, — люди плыли.

В приземистой столовой шло непрестанное движение, толклась толчея. С постов приходили, уходили, спорили, отстаивая маузеры против револьверов, передавали дежурным оружие. Дежурные шли к мостам, на секретные посты, на вышку, на гору близ Москвы-реки. Возник собственный суд, своя необходимая иерархия, во главе которой стал неутомимейший из организаторов.

И все-таки к концу недели наступило утомление. Нечеловеческую энергию подрезало сомнение в целесообразности дальнейшего сопротивления. К войскам подошло петербургское подкрепление. Дубасов замыслил решительный удар. Силы упали, патронов не было. Поддержки никакой — гибель неминуема.

И все-таки Пресня, в кольце пожаров и враждебных войск, даже последние эти дни прожила сказочной жизнью.

Несколько улиц, несколько сот вооруженных обывателей — стали семьей. Пали раздоры. Общее дело обсуждали эсеры, эсдеки, беспартийные...

В эту неделю на окраине Москвы с обыкновенными домами, обывателем, дорожившим периной и пирогами, и кучкой революционеров, давно не имевших приюта и паспорта, предвосхищены были отношения людей в том далеком золотом веке, о котором мечтал только автор утопий.

Пали будни. Раздвинулись рамки личного: огромное дело легло на руки, как дитя, не забитое мелочью и компромиссом. Дело стало волей и выполнением, служением и экстазом. Не разорванное, не расчлененное в частях дня, оно было как безумный полет по степи, когда, слившись с конем в единое существо, мчится с ним всадник в синеве и просторе без края.

Не выражаемая словами, по всем тупикам, кривоулкам, домам — прошла молниеносная работа, не мысли — всего существа. Средостение пало, пали неравенства. Сожитие обывателей сменила коммуна утопических чаяний. Как по щучьему велению, взамен вытряхнутого, старого, вступило содержание новое, — нет, вступила сама новая жизнь. И Кузьма увидел воочию: одной жизни дана власть гармоническим сложением сил создавать новую реальность. Так гению организующим прозрением из векового кропотливого и разрозненного труда дано совершать открытия.

Вокруг многоочитой, красно-кирпичной «мануфактуры» шел бой. Под солнцем стояла она, как залитая яркой кровью. А к полудню войска навели орудия на спальни рабочих. От первого снаряда звенящим водопадом просыпались стекла. Люди кинулись в подвалы,

где тотчас изнемогли от нестерпимой жары парового отопления.

Кузьма не однажды отметил крупную фигуру Серафимы, которая по-бабьи, коромысло с ведрами через плечо, носила укрывшимся пить в подвал. Сам же он заодно с уцелевшими дружинниками, забрав последние патроны, метался то на разведку за Пресненскую заставу, к Камер-Коллежскому валу, то, взяв «пяток», шагал к Пресненскому мосту.

Сгоревшее здание, как декорацию, держали на черных обугленных столбах арки, легкие мосты уцелевших балок, переплеты окон. Над головой в несметном количестве, как деловые пчелы, жужжали пули. Наконец последние патроны вышли, и винтовки в руках дружинников стали безвредными палками. Стемнело. Пламя пожаров ночью сделалось злым и багровым, и на фоне его обугленными призраками сновали в смятении рабочие.

Обессиленные, обезоруженные люди замерли. Само дыханье, казалось, у них было обобрано и кем-то брошено в пасть орудий. Эти орудия, яростно охнув, послали снаряды в деревянный корпус «мануфактуры», и ответным им вздохом легко рухнул на землю весь кружевной остов арок, переплетов, стропил.

Вражеская артиллерия уже стояла на Горбатом мосту.

Эту последнюю ночь никто не мог спать. Ее провели вместе, говорили, молчали, братались. Каждый стал каждому ближе кровных.

Когда на рассвете Кузьма собрался на последний обход, его догнала Серафима, окликнула, сказала:

— Хочу вместе.

В глазах ее было такое древнее, бабье такое любовное беспокойство, что Кузьма взял ее за руку и, уже не защищаясь от нее, повторил:

— Да, будем вместе.

Из столовой с последнего заседания вышел генштаб, все еще продолжая спорить, хотя большинством постановлено было: ликвидировать дело и всем искать на свой страх выхода. Пламя, в сером жидком рассвете, стало переходить в гигантские черные дымовые перья. Едкая гарь отравила воздух, и рабочие машинально, одними сухими губами, посеревшие от нечеловеческого напряжения всех чувств, словно заклинания или молитву, перечисляли названия материалов, горевших на складах: смола, гарпиус, канифоль...

К Кузьме и Серафиме подошел Рут, сказал:

— В генштабе мнения разделились. Меньшинство осталось при том, что ликвидировать нельзя, пока не заметены следы и рабочие не стали на работу. Но это глупость, это романтика. Ради будущего надо спасаться.

— Что может быть лучшего, чем здесь было? Что прекрасней того, что здесь узнано? После этого хоть умереть...

— После этого и жить, — сказал Рут.

Подошли дружинники с известием, что есть нежданный свободный проход. Все вместе, через заборы переулков и Среднюю Пресню, направились в город.

1927

ПРИМЕЧАНИЯ

«СОВРЕМЕННИКИ»

«Современники» — второй роман О. Д. Форш — открывает собою ряд произведений советской литературы, изображающих выдающихся деятелей духовной культуры прошлого. «Замечательно написала О. Форш «Современники» — Ал. Иванов и Гоголь. В Москве скоро пойдет пьеса Сергеева-Ценского «Лермонтов». Недавно прочитал очень приятный эскиз о Ал. Полежаеве, кажется — Огнева, и, наконец, «Кюхля»; как бы Вы объяснили эту «оглядку» на больших людей прошлого?» — писал А. М. Горький 9 января 1927 года Д. А. Лутохину (М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 30, М., Гослитиздат, 1956, стр. 6) и снова возвращался к этой мысли в письме к С. Н. Сергееву-Ценскому 28 марта 1927 года: «Как это значительно: Тынянов написал роман о Кюхельбекере, пишет о Грибоедове, О. Форш написала о Гоголе — Иванове, Огнев пишет роман о Полежаеве и т. д. Теперь Вы дали Лермонтова» (там же, стр. 15).

Видя в новой книге О. Форш выражение одной из плодотворнейших тенденций исторической беллетристики, Горький в то же время чрезвычайно высоко оценил индивидуальное своеобразие писательницы, значительность, глубину и богатство идей, заключенных в ее романе. «„Современники" значи-

тельнейшая вещь, на мой взгляд. И — богатая мыслями, каждая из коих — тема большой книги», — писал он О. Д. Форш («Звезда», 1945, № 2, стр. 103).

О. Форш раскрывает неразрывную связь духовной культуры с интересами революционно-освободительной борьбы народных масс и с передовыми идеями современности. Только художник, связывающий свою работу с задачами преобразования жизни, способен создать нечто великое в своей области. Именно поэтому в центре повествования и стоит образ А. А. Иванова — образ художника, понимающего свой труд как «личное душевное дело жизни» и одновременно — как самоотверженное служение всемирно-историческим задачам развития человека и человечества.

Сюжет «Современников», так же как и в первом романе О. Форш, построен на громадном документально-историческом материале. Однако соотношение между реально-историческими фактами и вымыслом здесь существенно иное. Писательница гораздо свободнее обращается с историческим материалом, группируя и деформируя его в соответствии с собственным идейно-художественным замыслом и совершенно отказываясь от скрупулезной точности в хронологии и последовательности реальных событий.

В главах, действие которых происходит в Риме (I—XII), О. Форш сознательно сгущает, концентрирует исторические события и факты внешней биографии Иванова, происходившие на протяжении четырех лет — в 1845—1848 годах, — так, будто бы все они совершились за один неполный год — во второй половине 1847 и в первые месяцы 1848 года. Вымышленный сюжет, стремительно развивающийся на протяжении нескольких месяцев, перемежается с реально-историческими сценами и эпизодами разных лет: «высочайший приезд» Николая I в Рим (декабрь, 1845); приезд к Ал. Иванову его младшего

брата-архитектора Сергея (март, 1846); смерть римского папы Григория XVI и избрание нового папы Пия IX (июнь, 1846); народные восстания в Болонье, в Ливорно и Генуе, в Мессино и Реджио, происходившие на протяжении 1847 года (главным образом осенью этого года); приезд Герцена в Рим (декабрь, 1847); революционные события в Ломбардии, Неаполе и в Риме, вынудившие Пия IX даровать «куцую конституцию» (февраль — март, 1848). Речь идет пока о фактах и событиях, непосредственно включенных в сюжетное действие, не считая тех отступлений в прошлое, которые даются в воспоминаниях и разговорах героев.

Это сознательный прием, а не «фактические ошибки» романиста. Сведенные на гораздо более коротком отрезке времени, события как бы набегают одно на другое, пересекаются и перекрещиваются, создавая впечатление бурной стремительности исторического движения, которое врывается в уединенный, почти отшельнический быт художника и в его сознание. Достигнутый этим приемом напряженный драматизм повествования раскрывает в романе духовную драму Иванова.

К этому следует прибавить, что в изображении внутренней жизни великого живописца О. Форш еще свободнее обращается с хронологией. В речах и диалогах Иванова 1847 года использованы его письма и суждения самых различных лет, начиная с 1831 года до тех мыслей и взглядов, которые сложились у него лишь к последним годам жизни. Еще важнее то обстоятельство, что хронологические сдвиги коснулись главного идейного перелома, определившего направление и характер духовного развития Иванова: на этот раз в 1847 год вдвинуты факты и события внутренней жизни художника более поздних лет — конечные результаты идейных исканий Иванова, которые выработались и сложились в 1850—1858 годах. Уже к 1847 году О. Форш относит, например, тот кризис религиозного миро-

воззрения, который привел художника к сознанию невозможности завершения картины «Явление Христа народу» так, как она была задумана. В III и IX главах романа Иванов говорит об этом с той ясностью и определенностью, с какой на самом деле он высказывал подобные суждения лишь в 1857 году в своем письме к А. И. Герцену и в лондонских беседах с ним (см.: А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. XIII, М., изд. АН СССР, 1958, стр. 323—328).

То же можно сказать и о художественном замысле Иванова, наметившемся в обширном цикле его рисунков, эскизов и композиций на евангельские и библейско-мифологические сюжеты. В романе возникновение этого замысла — его общей идеи — отнесено тоже к 1847 году. На самом деле *первые* рисунки и эскизы, относящиеся к нему, были сделаны Ивановым, по свидетельству его брата Сергея, лишь в 1849—1850 годах, а замысел в целом сложился и был осмыслен как «новый путь для искусства» еще позднее.

Во всем этом сказывается стремление писательницы так сгустить жизнь, настолько сблизить причины и следствия, внешние события и их духовные результаты, чтобы со всей впечатляющей наглядностью обнаружить перед читателем связь явлений общественной жизни с тончайшими процессами духовного развития художника. Трагизм судьбы Иванова и обаяние его личности, *направление* его идейной эволюции и внутренний смысл его духовной драмы О. Форш воспроизвела в романе с исключительной верностью и глубиной. Она исходит из того понимания идейно-творческого развития Иванова, которое сразу после его смерти было выработано, независимо друг от друга, Герценом и в особенности Чернышевским.

В 1858 году Чернышевский писал в «Современнике» о знаменитой картине «Явление Христа народу»: «Его картина представлялась ему произведением переходного периода в его соб-

ственном развитии. Она была начата, когда понятия его об искусстве были далеко не таковы, как в последнее время его жизни. Совершенно бросить огромную картину, стоившую стольких трудов, поглотившую столько любви и жизни его, он не мог — она была уже почти совершенно кончена. Он решился только переделать ее, сколько было возможно» (Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч. в 15 томах, т. V, М., Гослитиздат, 1950, стр. 336). В каком направлении работала творческая мысль Иванова после кризиса прежних «понятий его об искусстве» и о жизни, Чернышевский в подцензурной статье мог разъяснить лишь в самой общей форме. По его свидетельству, Иванов стремился продолжить «многолетнюю работу над развитием своих понятий о том, каков должен быть характер искусства по духу нынешнего времени» (там же), мечтал служить искусству, которое «стремится преобразовывать жизнь» и тем самым «возвратит себе значение в общественной жизни, которого не имеет теперь» (там же, стр. 339).

При личном знакомстве Чернышевский увидел в Иванове «интерес к понятиям, которые совершенно противоположны направлению «Переписки» Гоголя»: «Иванов являлся человеком, по своим стремлениям принадлежащим к небольшому числу избранных гениев, которые решительно становятся людьми будущего, жертвуют всеми своими прежними понятиями истине — и, приблизившись к ней уже в зрелых летах, не боятся начинать свою деятельность вновь с самоотверженностью юноши» (там же, стр. 337, 338).

О. Форш в «Современниках» таким именно и показала Иванова.

Главное смысловое зерно романа заключено в идейно-творческом споре между двумя крупнейшими русскими художниками середины прошлого века — А. А. Ивановым и Н. В. Гоголем. Спор этот открыто завязывается в III главе и проходит

через всю книгу: это спор между «ближайшими» людьми, потому что оба бьются над одними и теми же вопросами, связанными с судьбою искусства своего времени. Но это спор непримиримый, потому что духовное развитие вчерашних единомышленников, изображенное в момент серьезного идейного кризиса, на переломе творческого пути обоих, идет в противоположных направлениях.

Гоголь уже разуверился в возможности силою искусства, его духовным воздействием на людей преобразить жизнь. Отказавшись от великих задач преобразования действительности, он пришел к признанию того, что человек «не хозяин» на земле, и тогда единственное, что остается доступным, это — личное самоусовершенствование, смирение и «спасение души». Религиозный фанатизм губит в нем художника — «он от поставленных жизнью, съедавших Иванова вопросов поспешно уехал прочь, молиться ко гробу господню». Именно потому, что он отвернулся от современности и ее требований, — его «слово, недавно зацветавшее под пером, стало вдруг... как колода».

Образ Гоголя противопоставлен в романе Иванову как доказательство того, что писатель, отвернувшийся от современности и ее передовых идей, неизбежно утрачивает художественную силу, даже если это человек гениальный, обрекая себя на безвыходную трагедию творческого бессилия. Оба художника гибнут трагически, не осуществив лучших своих замыслов и стремлений. Но Иванов гибнет под ударами внешней силы, затравленный общественными «верхами» самодержавно-крепостнической России, гибнет как человек, не примирившийся с уродливыми условиями социальной действительности, как художник в расцвете творческих сил, надорвавшийся под гнетом тупого равнодушия и пошлости «власть имущих». Гоголь умер как художник задолго до своей физической смерти, по-

тому что отступился от великих общественно-преобразовательных задач искусства, отдав свою душу во власть отживших, ложных представлений.

Такое истолкование творческой трагедии Гоголя в последнее десятилетие его жизни имеет реально-исторические основания. Но ее изображение в «Современниках» слишком прямолинейно: живое, противоречивое, сложное развитие писателя дано в романе несколько односторонне и схематично. Мрачная, почти зловещая фигура обезумевшего от душевных страданий, бесконечно одинокого, да еще пришибленного «дьявольским самолюбием» и «проблемой пола» человека заслоняет ту душевную мощь и внутреннее богатство, которые сказались в творчестве гениального писателя и определили его великое значение в истории русской и мировой культуры. Здесь, по-видимому, сказалось неизжитое влияние символизма, того истолкования духовной драмы Гоголя, которое давалось критиками и писателями этого направления.

В результате вся история личных отношений Иванова и Гоголя, в частности их «размолвки» в 1846—1847 годах, получила в романе весьма неточное, упрощенное освещение. Психологические мотивы этого столкновения были сложнее и тоньше, чем это изображено О. Форш. Размолвка началась раньше, чем у Иванова возник «проект» поступления Гоголя в секретари к князю Г. П. Волконскому. Гоголь рассердился вовсе не из одного «бешеного самолюбия», а из-за того, что Иванов обратился с просьбой о помощи к «сильным мира сего» вопреки советам Гоголя и, по его убеждению, во вред себе. Кроме того, Гоголь считал, что его статья «Исторический живописец Иванов» в «Выбранных местах из переписки с друзьями», к моменту возникновения «проекта» Иванова уже находившаяся в печати, будет гораздо более действенной и радикальной помощью художнику, чем писание «гениальным пером»

отчетов в официальные инстанции. Ведь статья должна была воздействовать на общественное мнение, а практические результаты такого воздействия Гоголь в этот период сильно преувеличивал. Примирение между ними тоже произошло совсем не только благодаря этой статье, которую Иванов прочел впервые почти через год после ее выхода в свет, а опять-таки значительно раньше: за несколько месяцев до того, как Иванов получил от автора эту статью, Гоголь извинялся за резкие письма и получил от Иванова ответ, исполненный самой горячей дружбы и признания, что только в личном общении с ним, с Гоголем, его «душа не устает». В письмах к другим лицам Иванов называет Гоголя «нашим общим другом и учителем» (октябрь, 1847). Впечатление от статьи только окончательно разъяснило и завершило дело.

Что касается идейного расхождения между ними, то в 1847 году о нем не было и помину, поскольку сам Иванов тогда оставался еще на позициях «восторженного мистицизма и своего рода эстетического христианства» (А. И. Герцен. Собр. соч., т. XIII, стр. 326); пересмотр взглядов начался позднее, когда личное общение с Гоголем прервалось из-за отъезда последнего в Иерусалим и затем в Россию. Еще и в середине 1848 года, прочитав наконец книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», Иванов недоумевал: «За что это на него так нападают — там есть превосходные места» (М. Боткин. А. А. Иванов. Его жизнь и переписка. СПб., 1880, стр. 251). А самому Гоголю он пишет о своих надеждах, что путешествие к святым местам вдохновит его и в его «будущей книге художник из ничтожества и предмета печатной колкой насмешки вынесется в деятеля общественного образования» (там же, стр. 252). Самую горячую сердечную привязанность к Гоголю Иванов сохранял до самой его смерти, даже и тогда, когда сам встал на путь идейных исканий, противоположных

Гоголю. Думается, прав Чернышевский, считавший, что дело здесь не в идейном разрыве между друзьями, а в том, что «Иванов прожил несколько долее Гоголя, и у него достало времени, чтобы увидеть свою ошибку, отказаться от нее и сделаться новым человеком» (Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч., т. V, стр. 340).

Поскольку О. Форш сконденсировала истоки и результаты многолетнего процесса духовного развития Иванова в пределы одного года и отнесла его идейный перелом к периоду личного общения с Гоголем, получилось, что истинной подоплекой размолвки между двумя великими художниками были идейные разногласия, и примирение между ними могло быть только внешним. Такая «деформация» материала в угоду авторской мысли, как бы ни была эта мысль глубока и верна по отношению к главному герою романа, сказалась отрицательно на изображении Гоголя. Ускорив события идейного перелома Иванова и слишком резко противопоставив ему Гоголя, О. Форш отступила от историзма в изображении великого писателя, осветив его фигуру односторонним и мрачным искусственным светом. Так мстит за себя слишком прямое и свободное вторжение художественного вымысла в материал реально-исторической жизни.

Вымышленные образы и вымышленный сюжет «Современников» на первый взгляд поражают набором атрибутов романтического стандарта: отравление жены ядом, оказавшееся отравлением души самого убийцы; любовь и ревность маленькой Гуль, ее коварный план разоблачения возлюбленного-убийцы с помощью маскарада; внезапная любовь Багрецова к Бенедетте (и одновременно к делу освобождения Италии) и столь же внезапное охлаждение; самоубийство Бенедетты, потрясенной коварством Багрецова; десятилетнее мрачное одиночество Багрецова с любящей и нелюбимой женой и, наконец,

вычурно обставленное его самоубийство. Это нагнетание романтических эффектов в судьбе Багрецова при полной бессодержательности его душевной жизни причудливо контрастирует с образами исторических героев романа, у которых обыденность и бедность внешних событий сочетаются с крайней напряженностью и богатством внутреннего мира.

Этот контраст и связывает вымышленных героев романа с его общим идейным замыслом. Инфернально-романтические штампы сюжета иронически снижены и переосмыслены в повествовании, потому что они оказываются неразрывно связанными с внутренней бедностью характера Багрецова, с его творческим бесплодием и душевной пустотой. Его запоздалый «демонизм» и измельчавшее печоринство рождены не действительными противоречиями общественной жизни, от движения которой Багрецов оторван происхождением и воспитанием, а в дальнейшем — личной неспособностью найти себе дело по силам, — они рождены его изощренным и бессильным подражанием литературным образцам предшествующей эпохи.

Советскими исследователями было уже справедливо замечено, что образ Багрецова по-новому развивает тему, поставленную О. Форш в «Одеты камнем» в образе Русанина (см.: П. Громов. Герой и время. Л., «Советский писатель», 1961, стр. 233). Трагедия Багрецова — это тоже трагедия безличности, отсутствия индивидуально-творческого отношения к жизни. Если Русанин загубил природные творческие задатки подчинением их сословно-классовым предрассудкам и интересам, то у Багрецова они убиты в зародыше уродливым воспитанием, развившим воображение за счет естественного опыта чувства и практического участия в жизни. Заполняя воображением внутреннюю пустоту, маскируя перед самим собою и людьми ничтожество натуры, бездушие и безличность, Багрецов всю

жизнь «выдумывает себя»; в этом смысле он является ближайшим предшественником горьковского Клима Самгина как в исторической жизни, так и в литературе.

Хотя в «Современниках» рисуются люди и события середины прошлого века, вся проблематика и идейный пафос романа обращены к современности — к решению тех вопросов, которые стояли перед советским искусством в 20-е годы, вызывая споры и разногласия среди художников и писателей. По словам самой О. Форш, роман был откликом на «остро стоящий вопрос: может ли искусство жить оторванным от современности и чем тогда ему питаться?» И не случайно в ближайшие годы после создания «Современников» сама О. Форш все решительнее обращается к темам и материалу современной ей действительности в своих произведениях конца 20-х и начала 30-х годов.

Роман «Современники» впервые опубликован — М. — Л., Госиздат, 1926.

Печатается по тексту: Сочинения в четырех томах, т. I, М., Гослитиздат, 1956.

Все подстрочные примечания в тексте принадлежат редакции.

Стр. 7. *Флакон Борджиа.* — Борджа — испанский дворянский род, переселившийся в XV веке в Италию; наибольшую известность приобрели Родриго Борджа (1431—1503), ставший папой римским под именем Александра VI (1492—1503), и его дети — Чезаре (ок. 1476—1507) и Лукреция (1480—1519). Чезаре Борджа стал правителем Романьи и добивался объединения Италии под своей властью, не пренебрегая никакими средствами, используя подкуп и предательства, тайные убийства и отравления.

Есть сумерки души во цвете лет — неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «1831-го июня 11 дня».

Стр. 8. *В декабре... будет в Рим высочайший приезд.* — Приезд Николая I в Рим состоялся 13 декабря 1845 года.

Стр. 10. *...в именинный обед... в погодинском саду...* — Речь идет об именинах Н. В. Гоголя, праздновавшихся 9 мая 1840 года, в Москве, на Девичьем поле, в саду М. П. Погодина, у которого в то время жил писатель. В числе гостей были А. И. Тургенев, М. Ф. Орлов, М. Ю. Лермонтов, П. А. Вяземский, М. Н. Загоскин, К. С. Аксаков и др. Лермонтов читал Гоголю отрывки из поэмы «Мцыри» (см.: «История моего знакомства с Гоголем». — С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 4 томах, т. 3, М., Гослитиздат, 1956, стр. 149—388).

Стр. 16. *Рабус* Карл Иванович (1800—1857) — русский живописец-пейзажист; был связан дружбой и перепиской с многими деятелями русской культуры, в частности с А. А. Ивановым, особенно ценившим его широкую образованность.

Стр. 21. *Гюльпен* — учитель музыки в Академии художеств.

Стр. 26. *Шодерло де Лакло* (1741—1803) — французский писатель и политический деятель, прославившийся романом «Опасные связи» (1782; на русский язык переведен в 1804—1805 гг.).

Стр. 30. *Гальберг* Самуил Иванович (1787—1839) — скульптор. У О. Д. Форш его фамилия приведена неточно. Источник эпиграфа к главе II установить не удалось.

Овербек Иоганн Фридрих (1789—1869) — немецкий живописец, писавший фрески и картины на религиозные темы, подражая искусству раннего итальянского Возрождения.

Стр. 31. *...слухи о планах «Юной Италии».* — Тайная революционная организация «Молодая Италия» была основана в Марселе под руководством Мадзини в 1831 году. К сере-

дине 40-х годов «Молодая Италия» развернула по всей стране широкую сеть подпольных организаций, сыгравших важную роль в подготовке революционных событий 1847—1848 годов.

Стр. 32. *...«великий Карл», с его никем еще не покрытым успехом «Последнего дня Помпеи»* — Брюллов Карл Павлович (1799—1852); свою самую большую картину, «Последний день Помпеи», закончил в 1833 году; картина выставлялась в Милане, в Париже, наконец летом 1834 года — в России, и всюду имела шумный успех.

Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791—1830) — знаменитый русский художник, один из основоположников реалистической пейзажной живописи. В Италии жил с 1818 года до самой смерти.

Камуччини Винченцо (1771—1844) — итальянский живописец и мозаичист, последний представитель итальянского классицизма.

Графиня Самойлова... — знаменитая светская красавица Ю. П. Самойлова, портреты которой Брюллов писал неоднократно.

Стр. 33. *...«Русалка» Моллера аккурат в меру «Сусанны» Лапченко...* — Моллер Федор Антонович (1812—1875) — русский художник, друг А. А. Иванова и Н. В. Гоголя. Созданные им в 1840—1841 годах портреты Гоголя относятся к числу лучших изображений писателя. Лапченко Григорий Игнатьевич (1804—1876) — русский художник из крепостных графа М. С. Воронцова, ученик профессора А. И. Иванова и близкий друг его сына А. А. Иванова, с которым он одновременно приехал в Италию (1830) и в первые годы имел мастерскую в одном доме. «Сусанна и старцы» — наиболее значительная картина Лапченко, вскоре после завершения которой художник почти полностью ослеп (1833).

Стр. 35. *Иордан* Федор Иванович (1800—1883) — известный русский гравер, впоследствии профессор и ректор Академии художеств. В 30-е и 40-е годы жил в Италии. Федором Антоновичем назван в романе по ошибке.

Стр. 36. *Бруни* Федор Антонович (1799—1875) — русский художник, видный представитель академического направления. Его «Медный змий» (1825—1841) — огромное многофигурное полотно; находится в Русском музее в Ленинграде.

...кардинал Маццофанти, всем известный старичок-полиглот... — Меццофанти (Маццофанти) Джузеппе (1774—1849) — профессор Болонского университета, знавший несколько десятков языков, в том числе и русский. По свидетельству П. В. Анненкова, Гоголь любил его пародировать (см.: «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года». — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960, стр. 47—132).

Ведь вот и Жуковский не стыдясь говорит про картину. Мне Чижов передал. Порицает размер: кому, говорит, продать да куда повесить? — Здесь использовано письмо А. А. Иванова к Ф. В. Чижову от сентября 1842 года, приведенное в книге Михаила Петровича Боткина (1839—1914), жанриста и исторического живописца, горячего почитателя и биографа А. А. Иванова (см.: М. Боткин. Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка, 1806—1858. СПб., 1880, стр. 152. В дальнейшем указывается только: М. Боткин, стр.). Чижов Федор Васильевич (1811—1877) — деятель славянофильского направления; с Ивановым встречался в Риме в 1842—1843 годах. Его воспоминания, впервые опубликованные П. А. Кулишем в 1856 году (см.: «Записки о жизни Н. В. Гоголя», тт. I—II, СПб.), О. Форш использует в романе неоднократно.

Стр. 40. *...отныне среди русских питторов есть «кавалер золотой шпоры»!* — В письме к отцу А. А. Иванов сообщал весной 1841 года: «Каневский, как католик и только, успел про-

лезть к папе, написал с него портрет и на этих днях получил орден Золотой шпоры» (М. Боткин, стр. 135).

Каневский Ксаверий Ксавериевич (1804—1867) — живописец.

Стр. 42. *Вьельгорский* Иосиф Михайлович (1816—1839) познакомился с Гоголем в Риме в 1838 году; умер от чахотки 2 июня 1839 года на руках у Гоголя. Под впечатлением этой смерти написаны Гоголем «Ночи на вилле».

Стр. 43. *Макиавелли* Никколо ди Бернардо (1469—1527) — итальянский политический мыслитель и писатель.

Стр. 44. *Савонарола* — фанатичный монах, обличавший продажность и развращенность римских пап, за что был сожжен на костре инквизиции в 1498 году.

Кампанелла Томмазо (1568—1639) — итальянский мыслитель, один из самых ранних представителей утопического социализма; автор диалога «Город солнца».

Касти Джованни Баттиста (1724—1803) — итальянский поэт, автор «Галантных новелл» (1793) и сатирических поэм в октавах («Говорящие животные», 1802, и др.). В 1778 году посетил Россию и в «Татарской поэме» (1782) создал злую сатиру на Екатерину II и русское дворянство.

...Григорий — предобродушный папа? — Григорий XVI (1765—1846), вступил на папский престол в 1831 году.

Стр. 47. *Тенерани* Пьетро (1789—1869) — итальянский скульптор. Гоголь часто заходил в его мастерскую, чтобы полюбоваться его статуей «Флора». Этой статуей восхищался также и А. А. Иванов.

Эпиграф к главе III взят из повести Н. В. Гоголя «Невский проспект» (1835).

Волконская Зинаида Александровна (1792—1862) — княгиня, московская красавица, поэтесса, певица, композитор; в 20-е годы имела в Москве литературный салон, в котором

бывали Пушкин, Чаадаев, Мицкевич, Веневитинов и др. В 1829 году уехала в Италию и перешла в католичество. Гоголь познакомился с нею в Риме в 1837 году.

...добрая Черткова... — Черткова Елизавета Григорьевна (1805—1858) — жена историка и археолога А. Д. Черткова; при кончине И. М. Вьельгорского не присутствовала, так как незадолго до этого уехала из Рима. До своего отъезда, как об этом сообщает В. Н. Репнина в своих воспоминаниях, «Черткова вместе с Гоголем нежно ухаживала» за безнадежно больным Вьельгорским (см.: В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя, т. III, М., 1895, стр. 191).

Стр. 51. *Исаак Сирианин* — один из отцов церкви VII века. Сохранилось сто тридцать три его поучения под общим заглавием «Монашеское правило».

Стр. 52. *Перуджино* Пьетро (1446—1523) — итальянский художник эпохи Возрождения, учитель Рафаэля.

Стр. 54. *Галаган* Григорий Павлович (1819—1888) — русский общественный деятель и писатель, занимавшийся этнографическим исследованием Украины.

Стр. 55. *«Тайная вечеря»* — одно из наиболее известных произведений Леонардо да Винчи (1452—1519), роспись в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие, сохранилась в сильно поврежденном виде.

...вы узнаете скоро из моей новой книги. — Речь идет о книге «Выбранные места из переписки с друзьями», замысел которой возник у Гоголя еще весной 1845 года (см. письмо к А. О. Смирновой от 2 апреля 1845 года. — Н. В. Гоголь. Полное собр. соч., т. XII, М., изд. АН СССР, 1952, стр. 472—473). Однако к осуществлению его Гоголь приступил лишь летом 1846 года.

Грязным двором, ведущим к изящному строению, останется точно лишь первый том... — Здесь перефразировано суждение Гоголя об отношении первого тома «Мертвых душ» к после-

дующим, ненаписанным томам, высказанное в письме к Жуковскому от 26 июня 1842 года: «Она (первая часть «Мертвых душ». — *А. Т.*) в отношении к ним все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах» (Н. В. Гоголь. Полное собр. соч., т. XII, стр. 70).

Вспомните хотя бы чтение «Ревизора» на вилле Волконской. — Публичное чтение Гоголем «Ревизора» состоялось в Риме у З. А. Волконской летом 1841 года. Подробности об этом чтении взяты О. Форш из воспоминаний Ф. И. Иордана (см. его «Записки». — «Русская старина», 1891, №№ 3—12; отдельное изд. — 1918 г.).

Стр. 56. — *Да ведь Шаповалову не худо и собрали...* — Публичное чтение «Ревизора» автором было организовано в пользу художника-мозаичиста Шаповалова (Шаповаленко) Ивана Савельевича (1817—1890) в связи с тем, что Общество поощрения русских художников лишило его пособия, и он оказался в крайне бедственном положении. Шаповалов — выходец из крестьян, был в четырнадцать лет отправлен в Италию и стал учеником А. А. Иванова. Гоголь покровительствовал ему как земляку.

Стр. 57. *Да если б появилась такая моль, которая съела бы экземпляры «Ревизора», я бы благодарил судьбу.* — Здесь использованы некоторые мысли и выражения из письма Н. В. Гоголя Н. Я. Прокоповичу из Парижа от 25 января 1837 года (Н. В. Гоголь. Полное собр. соч., т. XI, стр. 84).

Стр. 61. *...ежедневно диктовал Анненкову «Мертвые души».*— В мае — июне 1841 года Анненков Павел Васильевич (1813—1887), незадолго до того приехавший в Рим и поселившийся в одном доме с Гоголем, под его диктовку переписывал первые шесть глав «Мертвых душ» (см.: «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года». — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960, стр. 47—132).

Стр. 62. От слов *«Ночь первая...»* до слов *«все это передо мною...»* — цитата из наброска Н. В. Гоголя «Ночи на вилле» (1839).

Стр. 66. ...*«бесовски сладкое чувство... а только слышишь, как звенят голубые колокольчики...»* — неточная цитата из повести Н. В. Гоголя «Вий» (1835).

Стр. 67. ...*Смирнова-Россет... воспетая самим Пушкиным...* — Смирнова Александра Осиповна (1809—1882), урожд. Россет, познакомилась с Пушкиным в 1828 году и часто встречалась с поэтом до своего отъезда за границу в 1835 году. Ей посвящено стихотворение Пушкина «В тревоге пестрой и бесплодной» (1832).

Стр. 69. *Симеон-столпник* (356—459) — один из великомучеников христианского аскетизма, изобретатель того рода подвижничества, которое получило название столпничества.

Стр. 70. Эпиграф к главе IV взят из письма А. А. Иванова к отцу из Рима, октябрь 1836 года (М. Боткин, стр. 97).

Казанова Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор «Истории моего побега» (1788) и «Мемуаров» (1791—1798) на французском языке, где столкновение с инквизицией, заключение в венецианской тюрьме и побег используются в интересах саморекламы.

Челлини Бенвенуто (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир и писатель, автор двух трактатов (о ювелирном искусстве и об искусстве ваяния) и широкоизвестной книги «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции».

Стр. 71. ...*вместе читали Штрауса.* — С известной книгой немецкого историка и теолога Давида Фридриха Штрауса (1808—1874) «Жизнь Иисуса» А. А. Иванов впервые познакомился лишь в 1851 году.

...*несправедливый поклеп профессора Егорова...* — В годы

учения в Академии художеств А. А. Иванов занимался в мастерской профессора А. Е. Егорова (1776—1851). Когда Иванов представил ему домашнюю программу на тему «Блудный сын», профессор отрывисто бросил: «Не сам», заподозрив, что работа выполнена учеником с помощью отца, Андрея Ивановича Иванова (1776—1848) — живописца, профессора Академии художеств.

Стр. 77. *«Камуччини сказал: бегущие старцы ни в коем случае не допустимы. Я их выбросил...»* — неточная цитата из письма А. А. Иванова в Общество поощрения художников от 2 августа 1831 года (М. Боткин, стр. 21). Речь идет об эскизе Иванова «Сусанна и старцы», выполненном в 1831 году.

Стр. 78. *...присланных из Рима копий с «Братьев Иосифа», с «Самсона и Далилы»...* — Речь идет о карандашных эскизах с плафона в Сикстинской капелле, выполненных А. А. Ивановым в первый год его пребывания в Риме.

«...Я работаю, чтобы удовлетворить вечно недовольный глаз мой, а не для снискания чего-либо» — неточная цитата из письма А. А. Иванова к сестре из Рима, декабрь 1831 года (М. Боткин, стр. 27).

«Христос в вертограде» — первоначальное название картины А. А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине» (1834—1835), имевшей большой успех в Италии и в России.

Стр. 79. *Оленин* Алексей Николаевич (1763—1843) — русский археолог и художник; с 1811 года — директор Публичной библиотеки; с 1817 года — президент Академии художеств, сторонник официального академизма в искусстве.

Стр. 80. *...что говорит о картине критика «Северной пчелы»...* — Имеется в виду статья в газете «Северная пчела», 1836, № 228 — «Беглый взгляд на нынешнюю выставку Академии художеств».

...о мнении Кукольника... — Мнение Н. В. Кукольника

(1809—1868) о картине «Явление Христа Марии Магдалине» было высказано им в статье «С.-Петербургская выставка в императорской Академии художеств» («Художественная газета», 1836, № 9—10).

«Как жаль, что меня сделали академиком! Мое желание было никогда не иметь никакого чина...» — цитата из письма А. А. Иванова к отцу, октябрь 1836 года (М. Боткин, стр. 98).

Стр. 82. *Северная Коринна.* — Северной Коринной названа З. А. Волконская по имени греческой поэтессы Коринны (V век до н. э.) — ученицы Пиндара, победившей его в поэтических состязаниях.

Эпиграф к главе V взят из драмы М. Ю. Лермонтова «Испанцы» (1830).

«Царица муз и красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений» — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Княгине З. А. Волконской» (1827).

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт, в 1829 году написал стихотворение «Княгине З. А. Волконской на отъезд в Италию».

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — поэт, критик и публицист славянофильского лагеря.

Козлов Иван Иванович (1779—1840) — поэт, в 1825 году написал стихотворение «З. А. Волконской».

Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт, посвятил З. А. Волконской ряд стихотворений («Элегия», «Италия», «Моей богине»).

Адам Мицкевич был с ней связан восторженной дружбой... — По свидетельству П. А. Вяземского, Адам Мицкевич (1798—1856) «с самого приезда в Москву был усердным посетителем и в числе любимейших гостей» салона З. А. Волконской. Их дружеские отношения сохранились и после отъезда Волконской из России. Ей посвящено стихотворение Мицкевича

«На греческую комнату в доме Зинаиды Волконской в Москве» (1827).

Стр. 87. *Марс* — псевдоним знаменитой французской трагической актрисы Анны Буте-Монвель (1779—1847).

Стр. 89. *«Звездой полуденной и знойной...»* — неточная цитата из «Куплетов на день рождения княгини Зинаиды Волконской» (1828), сочиненных коллективно Е. А. Баратынским, П. А. Вяземским, И. В. Киреевским, Н. Ф. Павловым и С. П. Шевыревым.

Стр. 90. *«Как знал он жизнь, как мало жил!»* — строка из элегии Д. В. Веневитинова «Поэт и друг» (1827).

Стр. 95. *...едва иноземец Барбаросса посягает на права городов...* — Фридрих I Барбаросса (ок. 1125—1190) — основатель так называемой Священной Римской империи, совершил ряд завоевательных походов в Италию и в 1155 году был коронован римским папой императорской короной.

Стр. 99. *Ставассер* Петр Андреевич (1816—1850) — русский скульптор, жил в Риме с 1841 года. Источник эпиграфа к главе VI установить не удалось.

Стр. 102. *...жаль, что Гоголь на днях едет в Неаполь!* — Гоголь приехал в Неаполь 19 ноября 1846 года и прожил там до 11 мая 1847 года. В Риме он был осенью 1846 года всего несколько дней — 12—14 ноября; встречался ли он в эти дни с Ивановым — не установлено.

Стр. 104. *...На Воробьевых горах при закладке храма Спасителя...* — По первоначальному проекту, созданному К. Витбергом, храм Христа Спасителя предполагалось построить на Воробьевых горах. Но этот план был признан неосуществимым и место, намеченное Витбергом, неудобным. Храм был сооружен в 1837—1883 годах по проекту архитектора К. А. Тона.

Стр. 105. *Фома Кемпийский* (1380—1471) — немецкий богослов и мистик, автор книги «Подражание Христу» (1441).

Стр. 106. *Соболевский* Сергей Александрович (1803—1870) — поэт, библиофил, один из близких друзей Пушкина.

Геништа Иосиф Иосифович (1795—1853) — русский композитор. Написал на слова А. С. Пушкина романс «Погасло дневное светило», который был исполнен в салоне З. А. Волконской в присутствии Пушкина в 1826 году.

Стр. 107. *«Среди рассеянной Москвы...»* — См. третье примечание к стр. 82.

Стр. 112. *...кидаются исступленные Индии под колесницу Джаггернаута.* — Джаганнатха (Джаггернаут) — один из обликов Вишну в религии индуизма. В июле, во время главного праздника Джаганнатха, его изображение вывозится на 16-колесной колеснице с прикрепленными к ней двумя деревянными лошадьми. Колесницу тащат на канатах толпы богомольцев, а некоторые, наиболее фанатичные из них, бросаются под колеса и гибнут, раздавленные тяжестью колесницы.

Стр. 113. *Толстой* Федор Петрович, граф (1783—1873) — художник, скульптор и гравер, вице-президент Академии художеств.

Стр. 114. *...ругательски ругали Киля...* — Киль Лев (Людвиг) Иванович (1790—1851) — генерал-майор, с 1844 года попечитель русских художников-пенсионеров Академии художеств в Риме. Своей грубостью, высокомерием и непониманием искусства вызвал всеобщую ненависть.

Рамазанов Николай Александрович (1817—1867) — русский скульптор; находился в Риме с 1842 по 1846 год. Его книга «Материалы для истории художеств в России», I, М., 1863, является одним из источников О. Форш, в частности в главе о приезде Николая I в Рим.

Воробьев Сократ Максимович (1817—1888) — русский живописец-пейзажист.

Стр. 115. *Михайлов* Григорий Карпович (1814—1867) — русский художник.

...копировал в монастыре святого Мартина с Рибейры... — В монастыре св. Мартина в Риме находится знаменитая картина испанского живописца и гравера Риберы (1591—1652) «Снятие с креста».

Стр. 116. *Сижу в студии над своей нимфой...* — Речь идет, по-видимому, о статуе русского скульптора П. А. Ставассера «Русалка» (1847) или о наиболее известной его работе — «Сатир и нимфа» (1849).

Стр. 121. *...как у «Юдифи» Аллори с головой Олоферна.* — Имеется в виду картина Христофано Аллори (1577—1621) «Юдифь» в палаццо Питти во Флоренции.

Стр. 123. Эпиграф к главе VII — неточная цитата из письма Н. В. Гоголя к А. А. Иванову из Неаполя от 4 февраля 1847 года (Н. В. Гоголь. Полное собр. соч., т. XIII, стр. 199—200).

«Эликсир сатаны» — роман Гофмана Эрнста Теодора Амадея (1776—1822).

Стр. 124. *...чем Гоголь строжайше, но тщетно его попрекал.* — См. об этом письма Н. В. Гоголя к А. А. Иванову из Неаполя от 12 и 19 декабря 1846 года (Н. В. Гоголь. Полное собр. соч., т. XIII, стр. 156—158, 164).

Стр. 125. *Кривцов* Павел Иванович (1806—1844) — секретарь русского посольства в Италии; в 1840 году был назначен попечителем русских художников в Риме. После его смерти на эту должность был назначен Киль (см. примечание к стр. 114).

...Гоголь должен вступить на службу секретарем при князе Волконском... — См. об этом проекте А. А. Иванова в его письме к Н. В. Гоголю от 22 января 1847 года (М. Боткин, стр. 229—232). Волконский Григорий Петрович (1808—1882) — князь,

долгое время жил в Риме, был попечителем находившихся там русских художников.

Стр. 127. *...молодая дева, знатного происхождения, по внешности полна прелести рисунков Леонардо, полюбила меня горячо.* — Здесь и далее использована запись А. А. Иванова в его записной книжке от 18 сентября 1847 года: «Войдем глубоко в настоящее мое положение: молодая дева, знатная происхождением соотечественница, прелестная, добрая душою, полюбила меня горячо, — простила мне недостатки и уверила меня в моем постоянстве. Если я не отвечу на все это святостью моей жизни, без сомнения буду подлец из подлецов» (М. Боткин, стр. 238). Сравнение улыбки возлюбленной с образами Леонардо да Винчи — в той же записи.

...Иванов верует непреложно, будто Полина Карагина его любит и хочет с ним соединиться. — Имя аристократки, на которой надеялся жениться Иванов, в романе вымышленное. В действительности это была молодая графиня Мария Владимировна Апраксина (ум. в 1887 г.), старшая дочь приятельницы Гоголя Софьи Петровны Апраксиной (1800—1886).

Стр. 135. *Торвальдсен* Бертель (1770—1844) — датский скульптор; в 1797 году поселился в Риме. С 1838 года постоянно жил в Дании.

Эпиграф к главе VIII взят из письма А. А. Иванова к отцу, декабрь 1836 года (М. Боткин, стр. 103).

Стр. 137. *...ждет к себе брата Сергея — архитектора.* — Иванов Сергей Андреевич (1822—1877) — архитектор, пенсионер Академии художеств, приехал в Рим в марте 1846 года. Его приезд к брату не мог совпасть с днем окончательного объяснения и разрыва А. А. Иванова с молодой аристократкой, на которой он надеялся жениться. С семьей Апраксиных Иванов познакомился через Гоголя летом 1846 года, а его намерение жениться относится к июлю — сентябрю 1847 года.

Стр. 145. *...заказ Тона для храма Христа. Я всю душу положил, без конца сделал эскизов, и вдруг... перемена — Воскресение пишет Брюллов.* — В 1845 году Иванов начал эскиз заказанного ему образа «Воскресения Христова» для храма Христа Спасителя, строящегося в Москве. Однако позднее К. А. Тон (1794—1881) передал заказ на этот образ Брюллову.

Эпиграф к главе IX взят из письма А. А. Иванова к Н. В. Гоголю — начало 1848 года (М. Боткин, стр. 247).

Стр. 154. *Над этой нищею толпой...* — Стихотворение Ф. И. Тютчева (1803—1873) процитировано неточно. У Тютчева:

Над этой темною толпой
Непробужденного народа...

Стр. 168. Эпиграф к главе X взят из драмы М. Ю. Лермонтова «Странный человек» (1831).

Стр. 169. *Ламбрускини* Луиджи (1776—1854) — кардинал, министр папы Григория XVI.

Мастаи Феррети (1792—1878) — римский папа с 1846 года (Пий IX). В период революционной ситуации поддерживал национально-освободительное движение в Италии, но затем стал вдохновителем европейской реакции.

Стр. 170. *Джиоберти* (Джоберти) Винченцо (1801—1852) — итальянский государственный деятель, автор книги «О нравственном и гражданском первенстве итальянцев» (1843), главная идея которой — объединение итальянских государств под главенством римского папы.

Д'Азелио Массимо (1798—1866) — итальянский политический деятель, публицист и романист; выступал за создание единого итальянского королевства под главенством Савойской династии.

Стр. 171. *Брунетти Анджело,* известный под именем Чичероваккио (1800—1849), — революционер, один из руководителей

демократического движения в Италии в период революции 1848 года.

Стр. 177. *«Глагол времен — металла звон»* — первая строка стихотворения Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

Стр. 184. *«Будь у египетской Клеопатры кончик носа чуть-чуть длинней — картина мировой истории была б вся иная»* — неточная цитата из «Мыслей» Блеза Паскаля (1623—1662) — французского математика, физика и философа. У Паскаля: «Будь нос Клеопатры короче, вся поверхность земли приняла бы другой вид».

Стр. 186. Эпиграф к главе XI взят из статьи Н. В. Гоголя «Скульптура, живопись и музыка» (1831).

Стр. 189. *Тинторетто* (настоящая фамилия — Робусти) (1518—1594) — итальянский живописец венецианской школы.

Стр. 199. *Балабина* Мария Петровна (1820—1901) — ученица Н. В. Гоголя, с которой он встречался за границей (в 1836 году — в Баден-Бадене; в 1837 году — в Риме) и в Петербурге (в 1839 году). Последняя встреча с Гоголем относится к 1844 году. По свидетельству современников, Балабина горячо интересовалась наукой, искусством и литературой.

Мало вам оплеухи Белинского за «Переписку»? — Имеются в виду выступления В. Г. Белинского по поводу книги Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»: статья в «Современнике» (1847, № 2) и известное «Письмо к Гоголю», распространявшееся нелегально.

Стр. 204. *Гавацци* Алессандро (1809—1889) — итальянский аббат и революционер, один из популярных ораторов демократического движения в Италии во время событий 1847—1848 годов. Источник эпиграфа к главе XII установить не удалось.

Стр. 205. *...писатель, которому повезло встретиться с Ива-*

новым в одну из его счастливых минут... — Имеется в виду И. С. Тургенев, который встречался с А. А. Ивановым в Риме в 1857 году. Далее следует цитата из воспоминаний Тургенева «Поездка в Альбано и Фраскати» (1861).

Стр. 206. *...единственный, с кем «душа не уставала», «ближайший» Гоголь отодвигался все дальше, все враждебнее.* — Здесь использованы некоторые выражения из писем А. А. Иванова к Н. В. Гоголю. Например, весною 1847 года Иванов писал: «В беседах с вами, и только с одними вами, дух мой не утомляется» (М. Боткин, стр. 235). Однако утверждение О. Форш, будто в этот период Гоголь становится Иванову «все дальше, все враждебнее», не подтверждается материалами, касающимися жизни обоих великих художников.

«Как ни закаивался я не писать писем...» до слов *«покорствовал вам во всем»* — неточная цитата из письма А. А. Иванова к Н. В. Гоголю, начало 1848 года (М. Боткин, стр. 247).

Но, в сущности, уже прежней любви между ними быть не могло. — Это утверждение опровергается многочисленными материалами переписки и другими биографическими источниками. Еще до того, как А. А. Иванов прочел статью Н. В. Гоголя «Исторический живописец Иванов» и даже узнал о ее существовании, он выражал в письмах к Гоголю и третьим лицам самую горячую и страстную сердечную привязанность, и Гоголь платил ему тем же. А. И. Герцен в своей статье «А. Иванов», вспоминая первую встречу с ним в декабре 1847 года (после «размолвки» и до прочтения Ивановым статьи Гоголя о нем), свидетельствует: «При первом свидании мы чуть не поссорились. Разговор зашел о «Переписке» Гоголя. Иванов страстно любил автора, я считал эту книгу преступлением» (А. И. Герцен. Собр. соч., т. XIII, стр. 326).

Стр. 207. *...приехавший из Парижа Герцен... доканчивал это*

разрушение всего былого уклада. — Встречи с Герценом в декабре 1847 года не завершали разрушение прежнего религиозного мировоззрения Иванова, а были одним из первых толчков к началу этого процесса. Завершением его следует считать лишь вторую встречу Иванова с Герценом в Лондоне в 1857 году.

Стр. 208. *...заверял Гоголя: «Я к Герцену не иду!» Но он к Герцену все-таки шел...* — Имеется в виду письмо А. А. Иванова к Н. В. Гоголю начала 1848 года: «Я опять испугался людей, чувствую себя несколько расстроенным, и потому боюсь в этом положении являться обществу. Вот почему и к Герцену нейду. Новое политическое состояние Рима требует большого времени, чтобы заметить важные и истинные плоды» (М. Боткин, стр. 247). Это не «заверение» в своей отдаленности от Герцена, а прямой ответ Гоголю на его вопросы в предыдущем письме: «Герцена я не знаю, но слышал, что он благородный и умный человек... Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем политическом и гражданском состоянии Рима, о чивиках и о прочем» (Н. В. Гоголь. Полное собр. соч., т. XIII, стр. 408).

Стр. 211. *...перед ним возник грандиозный храм всего человечества.* — Замысел, условно названный в романе «Храм человечества», возник у А. А. Иванова, по свидетельству его брата С. А. Иванова, вскоре после 1848 года. Рисунки и эскизы, относящиеся к этому замыслу, создавались на протяжении последних восьми лет жизни художника (см.: М. Боткин, стр. 427, 428).

Стр. 213. *Меттерних* Клеменс (1773—1859) — министр иностранных дел и канцлер Австрийской империи, один из столпов и вдохновителей европейской реакции во время революции 1848 года и после ее подавления.

Минто Жильбер (1782—1859) — английский политический деятель.

Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865) — министр иностранных дел Англии с 1830 по 1841 год и затем с 1846 по 1851 год.

Стр. 218. *Галетти* Джузеппе (1793—1873) — глава либерального правительства в Риме в ноябре — декабре 1848 года.

Стр. 223. Эпиграф к главе XIII взят из воспоминаний А. Т. Тарасенкова (1813—1873) — главного врача Шереметьевской больницы в Москве, лечившего Гоголя в последние дни его жизни (см.: «Последние дни жизни Н. В. Гоголя». — «Отечественные записки», 1856, № 12). У О. Форш его фамилия приведена неточно.

Стр. 227. *...после Ерусалима Гоголь был и в Одессе, и в Калуге у Смирновой, и недавно в Оптиной пустыни....* — После поездки в Иерусалим Гоголь приехал в Одессу 14 апреля 1848 года и жил там до 7 мая. Вторично жил в Одессе зиму с 20 октября 1850 года по 26 марта 1851 года. Калугу и Оптину пустынь посетил дважды: в июне 1850 года и в сентябре 1851 года.

Стр. 229. *Хомякова* Екатерина Михайловна (1817—1852) — жена А. С. Хомякова, сестра поэта Н. М. Языкова.

Стр. 232. *Когда отца Матфея нет, он за юбку старушки Шереметьевой держится.* — Отец Матфей — Константиновский Матвей Александрович (1791—1857), ржевский протоиерей; с Гоголем встретился в январе 1852 года в Москве; своим религиозным фанатизмом оказал пагубное влияние на больного писателя, требовал его отречения от театра, от Пушкина и от собственного творчества. С Шереметьевой Надеждой Николаевной (1775—1850) Гоголь познакомился в 1840 году и близко подружился с 1842 года.

Стр. 238. *Корейша* Иван Яковлевич (1780—1861) — московский юродивый, слывший среди дворянства и купечества прорицателем.

Стр. 239. *Шевырев* Степан Петрович (1806—1864) — критик, историк литературы и поэт славянофильского направления; профессор Московского университета.

Стр. 244. Эпиграф к главе XIV взят из писем А. А. Иванова к брату от 14 и 29 мая 1858 года (М. Боткин, стр. 317, 323).

Стр. 245. *...в газете, точно, была непристойная статья о картине Иванова.* — Речь идет о статье В. Толбина «О картине г. Иванова» в «Сыне отечества», 1858, № 25.

...под темным именем неизвестного литератора Толбина, подписавшегося под статьей, скрывались иные вдохновители: художники-враги со своим главой — Бруни. — В письме к брату от 26 июня 1858 года А. А. Иванов сообщал: «Сегодня и я услышал, что с воскресенья появилась обо мне статья в «Сыне отечества», где противоположная партия мне... — Бруни и другие члены Академии — прикрылась именем весьма мало известного и плохого литератора» (М. Боткин, стр. 349—350).

Стр. 246. *...вольные типы фигур Джулио Романо, за которые удалил его от своего двора папа Климент VII.* — Романо Джулио (1499—1546) — итальянский живописец, ученик Рафаэля. Климент VII (ок. 1478—1535) — римский папа с 1523 по 1534 год.

«Принимая в соображение...» до слов *«...в празднествах Венеры»* — неточная цитата из статьи В. Толбина (см. примечание к стр. 245).

Стр. 247. *Поэт... живи один, ты сам свой высший суд!* — слова из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» (1830).

Три события волновали столицу: открытие Исаакия, приезд Александра Дюма и приезд Юма... — Открытие Исаакиевского собора состоялось 30 мая 1858 года. Дюма Александр (отец),

(1803—1870) посетил Россию в 1858 году по приглашению графа Г. А. Кушелева-Безбородко, издателя «Русского слова». В «Современнике» была помещена статья И. И. Панаева, описывающая встречу романиста в Петербурге (1858, № 8). Герцен в «Колоколе» писал: «Со стыдом, с сожалением читаем мы, как наша аристократия стелется у ног А. Дюма» (А. И. Герцен. Собр. соч., т. XIII, стр. 349). О пребывании Юма в Петербурге — «знаменитости по чародейству» — сообщает А. А. Иванов брату в письме от 14 июля 1858 года (М. Боткин, стр. 345).

Стр. 253. *«Бедный отшельник, глубокое одиночество не прошло ему даром»* — неточная цитата из воспоминания И. С. Тургенева об А. А. Иванове («Поездка в Альбано и Фраскати»).

Стр. 254. *Ренан* Эрнест Жозеф (1823—1892) — французский историк религии, семитолог, философ-идеалист.

Стр. 256. *Чистяков* Павел Петрович (1832—1919) — исторический живописец и выдающийся педагог Академии художеств. О. Форш была ученицей Чистякова в девяностые годы и впоследствии посвятила ему специальную работу «Художник-мудрец» (1928).

Стр. 259. *Вспомнил, как Тургенев и Боткин отшатнулись в ужасе...* — Этот эпизод подробно описан в воспоминаниях И. С. Тургенева, рисующих встречу его с Ивановым в 1857 году в Италии, а не в Петербурге. Боткин Василий Петрович (1811—1869) — либеральный критик и публицист.

...писал в Лондон Герцену: «Я утратил ту религиозную веру...» до слов *«...воплотить мое новое воззрение»* — неточная цитата из статьи Герцена «А. Иванов», где передано содержание беседы его с Ивановым в сентябре 1857 года в Лондоне.

Стр. 260. Эпиграф к главе XV взят из письма А. А. Иванова к Ф. В. Чижову, июнь 1848 года (М. Боткин, стр. 250).

...прибегал мальчишка от Боткина... — Вернувшись в Пе-

тербург после 28-летнего отсутствия, А. Иванов поселился у М. П. Боткина (М. Боткин, стр. 293, 328).

Стр. 262. *...на осмотр фотографий с образов князя Гагарина...* — Гагарин Григорий Григорьевич (1810—1893) — художник и археолог, с 1859 года вице-президент Академии художеств.

Стр. 263. *Я вас не допущу в бороде на открытие Исаакия... Ах, это граф Гурьев.* — Эпизод столкновения с графом Гурьевым рассказан в письме А. А. Иванова к брату от 27 мая 1858 года. Тогда же А. И. Герцен по этому поводу поместил две заметки в «Колоколе»: «О бороде А. А. Иванова» (лист 26 от 15 октября 1858 г.) и «Иванова борода и Гурьева лоб» (лист 28 от 15 ноября 1858 г.). Гурьев Александр Дмитриевич (1786—1865) — председатель комиссии по строительству Исаакиевского собора.

Стр. 267. *Сам Стасов уже готовил бойким пером диплом «гения» человеку, столь скромно приходившему учиться в Публичную библиотеку.* — Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — критик и искусствовед, работал в эти годы в Публичной библиотеке; в своих «Воспоминаниях» рассказал о двух посещениях Публичной библиотеки А. А. Ивановым в 1858 году (М. Боткин, стр. 418—424).

На могиле прочтено было предлинное посвящение Вяземского... — Стихотворение П. А. Вяземского (1792—1878) «Александру Андреевичу Иванову» было написано 30 июня 1858 года и напечатано 5 июля в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (1858, № 145) с примечанием редактора: «Стихотворение это было написано за два дня до смерти А. А. Иванова, который скончался, не узнав о его существовании». В день смерти художника (3 июля 1858 г.) Вяземский написал еще одно стихотворение: «На смерть А. А. Иванова». О. Форш цитирует первое из них.

«ГОРЯЧИЙ ЦЕХ»

«Горячий цех» не является историческим романом в точном смысле слова. Хотя события первой русской революции, отраженные в романе, имеют грандиозное историческое значение, они для его автора не только «историческое прошлое», которое воссоздается лишь в результате тщательного изучения материалов и документов. Эпоха первой русской революции лежит в пределах личной биографии О. Д. Форш, события ее — на памяти автора, они воспроизводятся на основании виденного и пережитого в пору уже зрелой, сознательной жизни писательницы. В ее творческом развитии — это поворот к темам современности, практически-творческое осуществление мысли, которую она развивала в предыдущем своем романе: подлинное искусство не может жить в отрыве от современности, потому что оно питается только ею.

Жизненный материал, составляющий сюжет романа, непосредственно связан со временем его создания. В революционных событиях конца грозового 1905 года О. Форш занимает та же проблематика, осмыслению которой посвящены были лучшие произведения советской прозы 20-х годов. Проблемы стихийности и сознательности, всенародного размаха революции и организующей, руководящей роли партии, сложность всестороннего преобразования жизни в условиях отсталости, унаследованной страной от веков крепостничества и застоя, проблемы формирования личности нового человека и новой морали в противоречивых условиях ожесточенной и кровавой борьбы за переустройство мира, рождение в массах чувства человеческого достоинства, чувства хозяев жизни, взявших в свои руки творчество истории, — это тот круг вопросов, художественному осмыслению которых посвящены романы А. Серафимовича и Д. Фурманова, А. Фадеева и М. Шолохова

о гражданской войне. Они же стоят в центре внимания О. Форш в «Горячем цехе».

Восстание на броненосце «Потемкин» и его революционизирующее влияние на массы тогдашней сухопутной армии, только что пережившей позор Русско-японской войны; революционные выступления в частях киевского гарнизона осенью 1905 года и их подавление как следствие стихийности массового возмущения солдат и слабости руководства со стороны партийного подполья, наконец декабрьское вооруженное восстание в Москве, уличные баррикадные бои, героическая стойкость Красной Пресни — все эти исторические события воспроизведены в романе с безупречной точностью. От прямого вторжения вымысла в историю, от перегруппировки событий, хронологических сдвигов и смещений, которыми О. Форш так свободно пользовалась в «Современниках», здесь она совершенно отказывается. Но еще важнее другое: автору удается осветить с новой стороны неповторимое своеобразие русской буржуазно-демократической революции, которую возглавить и привести к победе мог только пролетариат.

Картина декабрьских событий в Москве открывается в романе эпизодом возмущения солдат в Спасских казармах за несколько дней до начала общего вооруженного восстания (второй Ростовский гренадерский полк поднялся и обезоружил своих офицеров 27 ноября 1905 г.). Захватив пулеметы и личное оружие, ростовцы посылают своих делегатов к «комитетчикам», рассчитывая получить директивы и указания, куда направлять революционную энергию и решимость полка. «С выступлением надо бы подождать, пока будут сагитированы и другие части», — отвечают им руководители. А через неделю возмущение полка было задушено бездействием, и тех же ростовцев «в искупление вины» посылают уже на усмирение, на разгон рабочего митинга. «Мы не сумели использовать

имевшихся у нас сил для такой же активной, смелой, предприимчивой и наступательной борьбы за колеблющееся войско, которую повело и провело правительство», — писал в статье «Уроки московского восстания» В. И. Ленин (В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., т. 11, стр. 148), видевший в этом одну из причин его поражения и проявление «шаблонности и мертвенности» представлений, «жалкого педантизма» руководителей, не способных подхватить и развить инициативу масс. К этой ленинской мысли, собственно, сводится внутренний идейный смысл эпизода в Спасских казармах, как он освещен и обрисован в «Горячем цехе».

Дальнейшая картина стихийного разворота восстания, возникновения уличных баррикад, «партизанской» тактики боевых дружин раскрывается в романе как подтверждение и доказательство другой мысли той же ленинской статьи: «Перемену в объективных условиях борьбы, требовавшую перехода от стачки к восстанию, пролетариат почувствовал раньше, чем его руководители». Поэтому они и «оказались в декабре похожими на того полководца, который так нелепо расположил свои полки, что бо́льшая часть его войска не участвовала активно в сражении. Рабочие массы искали и не находили директив относительно активных массовых действий» (там же, стр. 147).

Вдумчиво и серьезно раскрывая трагические противоречия великой борьбы, О. Форш не ограничивается, однако, анализом практических и духовных причин поражения восстания. Главный идейный пафос романа — в утверждении положительного опыта, выработанного в ходе всенародной борьбы, и в первую очередь тех духовных завоеваний, к которым она привела. Не случайно кульминацию сюжета составляют картины уличных боев и обороны Пресни — картины, словно бы озаренные лучезарной радостью духовного раскрепощения человека, вовле-

ченного в активное созидание новых форм жизни, в революционное творчество масс.

Две последние главы — «Бирюльки» и «Пресня» — несут в себе разрешение тех противоречий, которые казались неразрешимыми главному герою романа. Кузьма Лукьянов-Вереда мучается «двоедумством»: «гипертрофия социального чувства» (так определяет это его свойство приемный отец — доктор Вереда) зовет его на путь революционной борьбы за дело рабочего класса, а стремление к индивидуальному развитию толкает его продолжать образование, искать личного призвания и самоопределения в жизни. Это противоречие выступает в романе не только как результат личных обстоятельств героя — выходца из среды потомственных пролетариев, «графьев сварочного цеха», и в то же время — воспитанника интеллигентской среды, выросшего под сильным влиянием старого врача. За случайной двойственностью личной биографии О. Форш видит более широкое и общее противоречие. Интересы всестороннего и полного развития индивидуальности, поиски самостоятельной мысли, захваченной познанием сложности богатства мира, представляются Кузьме несовместимыми со служением делу своего класса. Революционная борьба требует всего человека со всеми его помыслами и стремлениями; здесь, считает Кузьма, надо отдать себя «чужому налаженному механизму, как рабочую силу», отказавшись от всего, что прямо и непосредственно не связано с текущими задачами борьбы. При всем героизме, цельности, душевной чистоте такие люди, как Дмитрий Десницкий или Абрам Рут, — это все же герои самоотречения, создавшие «себе и другим, во имя высшей справедливости, уклад нового мрачного аскетизма». «Только Десницкий всего себя отдает делу солдат. Рут — делу партии. Личной жизни и «проблем» у обоих уже не было».

По мысли О. Форш, такая позиция героического аскетизма не только сужает возможности духовного обогащения и полноты индивидуального развития, но заключает в себе немалую опасность для самого дела революции. Люди такого склада становятся внутренне ограниченными, неспособными к творчеству; они умеют лишь догматически, педантично выполнять решения и директивы той организации, которой отдали свою волю и жизнь.

Мысль о том, что пренебрежение интересами духовного развития личности таит в себе серьезную опасность для будущего революции, что для осуществления ее задач необходимо максимальное развитие творческих сил и способностей каждого, О. Форш вкладывает в уста Ерголышки — чудаковатого сектанта от символизма. Эта мысль глубоко задевает Кузьму. Но он видит смехотворную наивность и фальшивость тех камерных, крошечных «революций духа», которые устраивают «Новые пахари» методами любительского спектакля в дурном декадентском вкусе. Поэтому Кузьма еще больше утверждается в мысли, что тут необходим выбор: «или скупо уйти в свое я и сложность его вырастить в целый мир, или малым винтиком — в готовое, бесспорное целое, нужное всем. Или я — человек, или — дробь человечества? Обманывать себя нельзя: одновременность несбыточна». Это живое противоречие, превращенное в сознании героя в мертвую и неразрешимую антиномию, получает разрешение в последних главах романа.

Не «малым винтиком» входит Кузьма в «чужой налаженный механизм», требующий полного отказа от собственной мысли, совести и воли, он становится деятельным, инициативным и свободным участником революционного творчества масс в исключительных условиях героической, хотя и обреченной на разгром, «Пресненской республики», где создаются новые,

невиданные самодеятельные формы демократии и взаимоотношений между людьми, предвосхищающие «отношения людей в том далеком золотом веке, о котором мечтал только автор утопий». Здесь-то и открылось герою, что «одной жизни дана власть гармоническим сложением сил создавать новую реальность», что в массовом и всеобщем преобразовании действительности люди преобразуют и самих себя, что интересы практического и духовного раскрепощения масс, взявших в свои собственные руки «власть творить историю», неразрывно связаны с интересами душевной полноты и творческого подъема сил отдельной личности, так что одно без другого существовать не может. Так преодолевается «двоедумство» героя. В практике массового революционного творчества открывается полнота жизни — «разрешение всякого дуализма: личности, общества, теории, практики».

Художественное утверждение духовных завоеваний всенародной революционной борьбы, завоеваний, которые снимают и разрешают противоречие между чувством и мыслью, словом и делом, личным и общественным, вырабатывая нравственную цельность и полноту человека будущего, — таков идейный итог романа «Горячий цех».

Впервые «Горячий цех» опубликован — Л., Издательство писателей в Ленинграде, 1927. Первая часть романа была опубликована в журнале «Звезда», 1926, № 6 (ноябрь — декабрь).

Печатается по тексту: Сочинения в четырех томах, т. I, М., Гослитиздат, 1956.

Стр. 275. *...после коронации и кровавой Ходынки...* — В дни коронации Николая II на Ходынском поле в Москве было

устроено 18 мая 1896 года массовое гулянье с раздачей дешевых «царских подарков». В результате преступной халатности царских властей во время гулянья произошла давка, в которой погибло около двух тысяч человек.

Стр. 276. *...даже в «Московских ведомостях» было прописано...* — «Московские ведомости» — одна из старейших русских газет, начала издаваться в 1756 году. С 1905 года стала одним из главных органов черносотенной реакции.

Стр. 282. *Как высокий Будда...* — Будда — мифический основатель буддийской религии в древней Индии; культ Будды восходит к VI—V векам до н. э.

Стр. 293. *Матюшенко* Афанасий Николаевич (1879—1907) — один из руководителей восстания матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 14 июня 1905 года. После сдачи броненосца находился в эмиграции. В 1907 году после нелегального возвращения в Одессу был выдан провокаторами и расстрелян.

Стр. 294. *Вакуленчук* Григорий (1877—1905) — матрос броненосца «Потемкин», большевик; 14 июня 1905 года был смертельно ранен старшим офицером Гиляровским при попытке предотвратить расстрел матросов, отказавшихся от принятия гнилой пищи. В ответ на убийство Вакуленчука матросы начали стрелять в офицеров, что и явилось началом вооруженного восстания на броненосце. Похороны Вакуленчука в Одессе превратились в грандиозную политическую демонстрацию.

...«Потемкин» сдан Румынии, а экипаж распылился. — Лишенные возможности продолжать борьбу из-за отсутствия на броненосце угля, воды и продовольствия, восставшие матросы сдали «Потемкина» румынским властям, а сами сошли на берег.

Стр. 299. *...Порт-Артур нам глаза продрал...* — Русско-япон-

ская война началась 27 января 1904 года нападением на крепость Порт-Артур, принадлежавшую России. В результате ряда поражений сухопутной армии, вызванных бездарностью командования, Порт-Артур оказался отрезанным от сухопутных войск и героически выдержал осаду японцев с моря с июня по декабрь 1904 года, пока изменивший родине генерал Стессель предательски не сдал крепость неприятелю. Военный крах царизма под Порт-Артуром был, по оценке В. И. Ленина, признаком крушения всей политической системы самодержавия.

Стр. 308. — *Вот головным идет броненосец «Ростислав», рядом «Три святителя», вот «Синоп»... А «Георгий-Победоносец»...* — названия четырех кораблей черноморской эскадры, направленной на усмирение восставшего броненосца «Князь Потемкин-Таврический». 17 июня эскадра встретилась с «Потемкиным». Один из броненосцев эскадры — «Георгий-Победоносец» — присоединился к «Потемкину».

Стр. 317. *...журналу «Новый путь» пришли на смену «Вопросы жизни».* — «Новый путь» — реакционный литературно-философский журнал, выходивший в Петербурге в 1903—1904 годах; «Вопросы жизни» — под редакцией Н. О. Лосского и с участием Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова и других — тоже реакционный литературно-философский журнал; выходил в Петербурге в 1905 году вместо закрытого «Нового пути».

Стр. 318. *Бодлер* Шарль (1821—1867) — французский поэт, предшественник декадентов.

Стр. 324. *...столпу государства Сергею Юльевичу.* — Речь идет о председателе совета министров с октября 1905 года по апрель 1906 года Витте Сергее Юльевиче (1849—1915) — одном из организаторов подавления революции 1905 года.

— *Акт портсмутского договора...* — Портсмутский мирный договор с Японией был подписан 5 сентября 1905 года в Портс-

муте (США) со стороны России главой делегации С. Ю. Витте и Р. Р. Розеном, со стороны Японии — Дюраро Комурой (министром иностранных дел) и Така Хирой.

Стр. 326. *С Порт-Артуром попрощался,*
Получив большущий нос... —
цитата из русской народной песни «Дело было под Артуром». Автор неизвестен.

Стр. 328. *«Мочидлоберова Иосифа письмо».* — Имеется в виду «Письмо Иосифа Мочедлобера» и связанное с ним «Воззвание», опубликованное в рабочей газете «Социал-демократ», 1905 года, 18 августа, № 12, Женева. Распространялось также в виде прокламации РСДРП под заглавием «Письмо солдата».

Стр. 331. *Братья, поверьте, победа за нами,*
Правда, как солнце, сильна... —
цитата из стихотворения неизвестного автора «Девятое января».

Стр. 367. *— Это вы по Михайловскому...* — Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — публицист, литературный критик, позднее — теоретик либерального народничества, сторонник теории «субъективной социологии», согласно которой историю творят выдающиеся личности.

Стр. 382. *— Дума... оказалась совсем не прекрасной, а всего-навсего лишь «булыгинской».* — 6 августа 1905 года был опубликован закон об учреждении Государственной думы и положение о порядке выборов. Булыгинской названа по имени министра внутренних дел А. Г. Булыгина, которому царь поручил подготовить проект закона. Дума не имела законодательных прав и была лишь совещательным органом; избирательные права получали только помещики, капиталисты и небольшая часть зажиточного крестьянства. Большевики проводили тактику бойкота Булыгинской думы, и она была до завершения выборов сметена нарастанием революции.

Стр. 383. *Грянула всеобщая железнодорожная забастовка...* — Забастовка, объявленная Союзом железнодорожников, началась 7 октября 1905 года на Московско-Казанской железной дороге; 12 октября бастовало уже 14 железных дорог. Забастовка железнодорожников явилась началом Всероссийской политической стачки.

...вышел на белом листке одинокий столбец — ма-ни-фест. — Речь идет о манифесте 17 октября 1905 года, где царь под давлением Октябрьской всероссийской стачки обещал «гражданские свободы» и «законодательную» думу. Манифест был политическим маневром самодержавия, вынужденной уступкой для перестройки сил и нового наступления реакции. Сразу после выхода манифеста активизировалось движение черносотенцев.

Стр. 386. *...смакует пресловутую курицу, ту самую, что вожделел за него Генрих Четвертый.* — Имеется в виду историческое предание, которое приписывает французскому королю Генриху IV (1553—1610) следующие слова: «Я постараюсь, чтобы самый бедный крестьянин мог есть мясо каждую неделю и, сверх того, иметь каждое воскресенье курицу в горшке своем».

Стр. 389. *Я жду призыва, ищу ответа...* — первая строка из стихотворения А. Блока, входившего в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1901—1902).

Стр. 392. *...наподобие Петербургского совета, стал правительством.* — Петербургский совет рабочих депутатов возник как объединенный стачечный комитет во время Всероссийской политической стачки: 13 октября рабочие избрали на фабриках и заводах своих представителей для руководства стачкой — из них и составился Совет рабочих депутатов. Советы издавали свои постановления, распоряжения и приказы, явочным порядком вводили демократические свободы, восьмичасовой рабочий

день и т. д., становясь органом революционной власти. Из-за того, что меньшевики получили в Петербургском совете преобладание, он так и не стал органом вооруженного восстания, не поддержал декабрьское восстание в Москве и даже не сумел помешать переброске войск из Петербурга для его подавления.

Стр. 409. *«Дневник писателя»* издавался Ф. М. Достоевским в 1873—1881 годах. Здесь имеется в виду фантастический рассказ «Сон смешного человека» (1877).

Стр. 410. *В грядущем-то, в утробном благоустроении, персонаж тот возьмет да и возжелает послать все гармонии к черту!* — Эта мысль с большей определенностью, чем в «Дневнике писателя», выражена Ф. М. Достоевским в «Записках из подполья» (1864).

Стр. 412. — *Сейчас будет чудо Сикстинской мадонны, выпрямляющей Глеба Успенского.* — Имеется в виду очерк Глеба Успенского «Выпрямила» (1885), где душу героя — учителя Тяпушкина, «сломанную» и подавленную впечатлениями социальной несправедливости, «выпрямляет» могучее эстетическое воздействие древней статуи — Венеры Милосской, хранящейся в Луврском музее в Париже. Картина Рафаэля «Сикстинская мадонна», находящаяся в Дрезденской галерее, упомянута в этой связи по ошибке.

Стр. 418. *...вышла новая книжка «Правды» с произведением Семена Юшкевича и почему-то Анатолия Франса...* — «Правда» — ежемесячный социал-демократический журнал, посвященный вопросам искусства, литературы и общественной жизни; выходил в Москве в 1904—1905 годах главным образом при участии меньшевиков. В ноябрьском номере за 1905 год был напечатан рассказ С. Е. Юшкевича (1868—1927) «Эли».

Роман Анатоля Франса (1844—1924) «На белом камне» печатался в 8, 11 и 12 номерах журнала за этот год.

Стр. 419. *«Русь»* — ежедневная либеральная газета, издававшаяся А. А. Сувориным. Выходила с декабря 1903 года, была закрыта 2 декабря 1905 года.

«Сын отечества» — ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге с 1862 по 1900 год. С ноября 1904 года была возобновлена и приняла либеральное направление. Закрыта 2 декабря 1905 года.

«Новая жизнь» — первая легальная большевистская газета, выходила в Петербурге с 9 ноября по 3 декабря 1905 года. Официальным редактором числился поэт Н. М. Минский, издательницей — актриса М. Ф. Андреева.

«Свободный народ» — политическая, общественная и литературная газета, орган партии кадетов; выходила в Петербурге в декабре 1905 года.

«Наша жизнь» — ежедневная либеральная газета, выходила в Петербурге с ноября 1904 по июль 1906 года.

«Начало» — ежедневная меньшевистская газета, выходила в Петербурге с 13 ноября по 2 декабря 1905 года.

...манифест объединенных революционных организаций, где предлагается народу не допускать уплаты долгов по займам. — 2 декабря 1905 года было конфисковано восемь газет за напечатание так называемого «Финансового манифеста», подписанного Петербургским советом рабочих депутатов, ЦК РСДРП, Крестьянским союзом и др. Манифест призывал к свержению царского правительства, к отказу от уплаты налогов и других казенных платежей и т. д.

Стр. 420. *«Нива»* — иллюстрированный еженедельный журнал, выходил в Петербурге с 1870 по 1917 год.

Стр. 425. *Знайте же, вечная женственность ныне...* — цитата из стихотворения «Das ewig weibliche (слово увещательное к морским чертям)» (1898), принадлежащее В. С. Соловьеву (1853—1900), философу-идеалисту и поэту, идеи кото-

рого были приняты символистами как основа их мировоззрения.

Стр. 433. *Созвали общегородскую конференцию.* — Общегородская конференция большевиков в Москве состоялась 5 декабря 1905 года в помещении реального училища Фидлера. Было решено предложить Московскому совету рабочих депутатов объявить 7 декабря всеобщую стачку с тем, чтобы перевести ее в вооруженное восстание.

Стр. 434. *Куропаткин* Алексей Николаевич (1848—1925) — генерал, с 1898 по 1904 год — военный министр царского правительства. В Русско-японскую войну 1904—1905 годов был главнокомандующим сухопутными, а затем всеми вооруженными силами России на Дальнем Востоке.

Стр. 436. *...рериховская инсценировка древней Руси.* — Имеются в виду картины русского художника Рериха Николая Константиновича (1874—1947) на сюжеты древней Руси.

Стр. 446. *— Отчего взяли училище Фидлера?* — Реальное училище Фидлера у Чистых прудов — постоянное место большевистских митингов и собраний — было 9 декабря 1905 года окружено войсками. Участники митинга отказались сдаться и забаррикадировали помещение изнутри. Тогда здание подвергли артиллерийскому и пулеметному обстрелу и разгромили.

Стр. 462. *Дубасов замыслил решительный удар.* — 11 декабря 1905 года московский генерал-губернатор П. Н. Дубасов (1845—1912) послал три телеграммы — председателю совета министров Витте, военному министру и министру внутренних дел с просьбой о помощи против восставшего пролетариата Москвы, а также звонил царю. По личному распоряжению Николая II в Москву был послан лейб-гвардии Семеновский полк под начальством полковника Мина. Одновременно в Москву были переброшены воинские части из Твери и Западного края,

поскольку их можно было подвезти по единственной не бастовавшей тогда Николаевской железной дороге.

Стр. 465. *...большинством постановлено было: ликвидировать дело и всем искать на свой страх выхода.* — Решение прекратить вооруженное сопротивление с тем, чтобы сохранить уцелевшие революционные силы, было принято 19 декабря 1905 года Московским комитетом партии и Московским Советом рабочих депутатов.

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННИКИ

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

Часть первая

Часть вторая

Ольга Дмитриевна Форш

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, т. 2

Редактор М. Белоусова
Художник Л. Хижинский

Художественный редактор Л. Чалова
Технический редактор Л. Лукина
Корректор Г. Шер

Сдано в набор 18/VII 1961 г. Подписано к печати 11/XII 1961 г. Бумага 70 × 108 1/32 — 16,125 печ. л. = 22,09 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 20,418 + 1 вкл. = 20,454 л. Тираж 110 000 экз. Заказ № 355. Цена 75 к.

Гослитиздат, Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26